ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА „ЛИТЕРАТУРА и НАУКА“

К. І. Хранèвичъ.

ОЧЕРКИ НОВѢЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Юноша. — Балуцкій. — Сенкевичъ. — Конопницкая. — Тетмайеръ. —Грушецкій.—Свентоховскій. — Пржибышевскій.— Пашковскій.

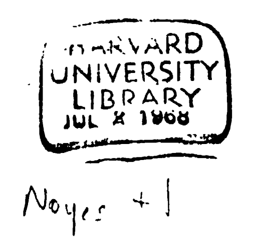


С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ товарищества «Литература и Наука» (СПБ., 2-ая рота, домъ 2). и Типо-Литографіи А. Э. Винеке, Екатерингофск. пр. 15.

1904.

Типо-Литографія А. Э. Винеке, Екатерингофскій проспектъ, 15.



ОЧЕРКИ

НОВѢЙШЕЙ ПОЛЬСКОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ.

Вступительныя замѣчанія.

Лѣтъ двадцать тому назадъ у насъ были въ большомъ ходу фельетонныя жалобы на тусклость и жидковатость нашей беллетристики, совершенно спасовавшей будто бы предъ запросами времени, оказавшейся не въ силахъ отразить въ себѣ духъ эпохи и вырисовать фигуры ея представителей. Нарождаются, молъ, новые люди — гремѣли наши аристархи —налетаютъ «новыя птицы» съ новыми пѣснями, а изящная литература топчется на одномъ мѣстѣ, не давая ровно никакого отвѣта на страстные запросы общества: гдѣ мы и кто мы, куда идемъ, что можемъ? и т. д. Стали затихать эти нападки съ того приблизительно времени, какъ выросъ во весь ростъ А. П. Чеховъ, и окончательно прекратились послѣ восхода новѣйшей звѣзды—М. Горькаго. Едва ли нужно доказывать, что эти нападки вообще были мало основательны и несправедливы, а постоянно повторяемые въ тупою настойчивостью оказались способными вывести изъ себя даже такого благодушнаго писателя, какъ покойный В. М. Гаршинъ. Въ статьѣ о художественныхъ выставкахъ (въ «Сѣверн. Вѣстн.» за 1888 г.) покойный беллетристъ, осуждая присяжныхъ критиковъ за ихъ не по разуму суровое отношеніе къ художникамъ и картинамъ, обронилъ два-три рѣзкихъ, но справедливыхъ слова и по адресу тогдашней литературной критики, чуть ли не со временъ Бѣлинскаго повторяющей одинъ и тотъ же неизмѣнный похоронный при-

пѣвъ, подъ который развилась и расцвѣла наша литература второй половины прошлаго вѣка.

И Гаршинъ былъ совершенно правъ. Правда, въ 80-хъ годахъ навѣки замолкли Тургеневъ и Достоевскій, но зато не умолкалъ мощный, захватывающій голосъ великаго писателя земли русской, къ которому съ страстнымъ вниманіемъ прислушивалась не одна Россія. Уже имя одного этого писателя, немолчно провозглашавшаго «любви и правды чистыя ученья», казалось бы, должно было заставить критику перестать «кивать украдкой на Петра». Но тутъ былъ совершенно правильный разсчетъ: вѣдь публика могла тогда подумать, что моська совсѣмъ не сильна...

А между тѣмъ —много ли дѣльнаго сказала критика за то время, когда русскій романъ завоевалъ себѣ первое мѣсто въ обще-европейской литературѣ? И—если на то пошло—на кого больше въ правѣ быть въ претензіи русскій читатель —на свою ли изящную литературу, дававшую ему минуты высокаго художественнаго наслажденія, или на критику, дававшую только «оцетъ съ желчію смѣшенъ», отъ котораго приходилось отворачиваться? Послѣ Добролюбова наступаетъ полное вырожденіе критики, постепенно уступающей свое мѣсто куцой рецензіи. Цѣлая плеяда крупныхъ талантовъ 70-хъ и 80-хъ годовъ остается въ полномъ пренебреженіи со стороны литературной критики; произведенія ихъ, несомнѣнно, читаемыя публикой (въ этомъ можно убѣдиться не только по количеству изданій, но по статистикѣ библіотекъ, изрѣдка попадающей на газетные столбцы), для критики остаются какимъ-то заколдованнымъ кладомъ, до котораго она не хочетъ или боится прикоснуться. Нечего и говорить, что при такихъ условіяхъ русскій читатель лишенъ надежды въ близкомъ будущемъ получить полный и связный обзоръ литературы за вторую половину XIX вѣка, этого интереснѣйшаго періода нашей общественной жизни, а рядомъ съ нею и нашей письменности: одному человѣку не подъ силу измѣрить и изслѣдовать этотъ величественный, но совершенно дѣвственный боръ, гдѣ и тропы-то хорошей еще не протоптано.

Въ этомъ отношеніи между нашей литературой и польской приходится наблюдать полный контрастъ. Дѣйствительно, польскіе писатели не могутъ пожаловаться на недостатокъ вниманія со стороны критики: здѣсь, можно сказать, каждый Гансъ имѣетъ свою Гретхенъ. Если на горизонтѣ блеснула искра настоящаго, неподдѣльнаго дарованія — можете быть увѣрены, что она будетъ занесена въ критическій бюлетень съ подробнымъ анализомъ ея свойствъ и особенностей; если же появилась новая звѣзда и заняла опредѣленное мѣсто,— на нее наведены десятки трубъ астрономовъ-критиковъ, слѣдящихъ за ея ходомъ и дающихъ о немъ отчетъ сейчасъ же, такъ сказать, по горячимъ слѣдамъ, не прибѣгая къ отговоркѣ, столь любимой у насъ, что для объективной, молъ, оцѣнки еще не наступило время. И, правду сказать, отъ такой скороспѣлости не остаются въ обидѣ ни авторы, ни читатели. Для художника это гласное вниманіе къ его работѣ служитъ ободряющимъ стимуломъ къ самоусовершенствованію, вливаетъ новое вдохновеніе. Что касается обыкновеннаго читателя, то пусть каждый судитъ по личному опыту, насколько интересно и полезно бываетъ сопоставить личное впечатлѣніе, полученное отъ того или другого художественнаго произведенія, съ приговоромъ присяжнаго критика — предполагается (хотя далеко не всегда такъ бываетъ)—тонкаго и справедливаго цѣнителя. Является потребность провѣрить свое впечатлѣніе, снова прочесть ту или иную вещь, вдуматься въ ея мысль, а это, конечно, еще ближе привязываетъ читателя къ литературѣ.

Само собою разумѣется, что при такихъ счастливыхъ условіяхъ значительно облегчается появленіе на свѣтъ цѣлостныхъ обзоровъ литературы за извѣстные періоды. Не нужно говорить, что развитіе польской литературы до Мицкевича включительно очень полно разработано какъ въ отдѣльныхъ монографіяхъ, такъ и въ обширныхъ курсахъ. За этой работой не забыты, однако, и текущія явленія, и къ услугамъ любителей литературы имѣются обзоры новѣйшаго періода ея, которые если и можно въ чемъ-либо упрекнуть, то только не въ недостаткѣ полноты. По истеченіи перваго

двадцатилѣтія со времени катастрофы 1863 года, которая для поляковъ сдѣлалась эрой новѣйшаго лѣтосчисленія, г. Хмѣлевскій занялся установкой баланса новѣйшей польской литературы. «Zarys najnowszej literatury polskiej», постоянно дополняемый авторомъ, выдержалъ уже четыре изданія, чему обязанъ главнымъ образомъ своей библіографической полнотой. Что касается собственно критической части книжки, то она была не сильна, а русскому, напримѣръ, читателю приходилось просто привыкать къ критическому масштабу Хмѣлевскаго, часто поражавшему какой-то странной наивностью. Дѣло въ томъ, что чуть ли не въ каждомъ писателѣ критикъ хочетъ видѣть моралиста въ томъ или другомъ направленіи, а въ каждомъ беллетристическомъ произведеніи непремѣнно скрытую тенденцію—то сатирическую, то морализирующую. Если, напримѣръ, герой романа или повѣсти дружно живетъ съ своей женой, то этого совершенно достаточно г. Хмѣлевскому, чтобы главный смыслъ этого произведенія сводить къ прославленію семейныхъ добродѣтелей, опоэтизированію ихъ; если, наоборотъ, герой склоненъ пошаливать, кутнуть съ друзьями, метнуть штоссъ — г. Хмѣлевскій видитъ въ повѣсти безпощадную сатиру на разнузданность, расточительность, безпорядочность дворянства иля зажиточнаго мѣщанства (смотря по тому, къ какому сословію принадлежало кутящее лицо изъ повѣсти). Словомъ, отъ глазъ критика какъ-то ускользалъ человѣкъ, а осталась отвлеченная формула: если никакихъ отклоненій отъ нея не усматривалось—повѣсть регистрировалась въ разрядъ моральнодидактическихъ произведеній; если персоналъ не укладывался въ формулу, а тѣмъ болѣе шелъ ей наперекоръ—повѣсть заносилась въ сатирическій реестръ. Пользуясь этимъ пріемомъ, г. Хмѣлевскій разставилъ новѣйшихъ польскихъ писателей строго по ранжиру, однихъ одесную, другихъ ошуюю. Конечно, индивидуальныя черты писателей, уставленныхъ нога въ ногу, плечо къ плечу, какъ солдаты, должны были потускнѣть въ казенномъ и сухомъ «рапортѣ» критика. Такое впечатлѣніе производила вторая часть книжки критика, посвященная разбору произведеній каждаго пи-

сателя въ отдѣльности. Болѣе свободна была отъ этихъ недостатковъ первая часть, излагавшая смѣну литературныхъ направленій и теченій послѣ 1863 года («przekonania i dążności»), гдѣ дана довольно отчетливая картина возрожденія польской умственной жизни на пепелищѣ катастрофы. За всѣмъ тѣмъ г. Хмѣлевскому принадлежитъ та безспорная заслуга, что онъ далъ самое полезное примѣненіе своей обширной начитанности и помогъ удержать въ памяти все, что явилось болѣе замѣчательнаго въ польской письменности, какъ въ области изящной литературы, такъ и всѣхъ отраслей науки.

Хотя при новыхъ изданіяхъ своихъ очерковъ г. Хмѣлевскій дополнялъ ихъ свѣдѣніями о текущихъ явленіяхъ литературы, но эти добавочныя вставки были мимолетны, поверхностны; цертръ тяжести оставался за двадцатилѣтіемъ 60 и 70 гг. Такимъ образомъ послѣднее двадцатилѣтіе XIX в. составляло открытое поле для критической экскурсіи, которую и предпринялъ г. Вильгельмъ Фельдманъ, выпустившій объемистое изслѣдованіе подъ заглавіемъ: «Wspolczesna literatura polska, 1880—1901» (Warsz. 1903).

Написанная блестящимъ, живымъ слогомъ, книга г. Фельдмана открываетъ занимательную панораму движенія польской литературы (исключительно изящной) въ послѣднее двадцатилѣтіе, ознаменовавшееся расцвѣтомъ трехъ крупнѣйшихъ представителей польской художественной литературы (Сенкевича, Пруса и Оржешко) и нарожденіемъ и созрѣваніемъ цѣлой группы новыхъ талантовъ большаго и меньшаго калибра, именъ которыхъ мы пока перечислять не станемъ. Г. Фельдманъ—критикъ съ горячимъ темпераментомъ, все принимаетъ близко къ сердцу, на всякое явленіе чутко откликается, все время говоритъ взволнованнымъ тономъ. Хотя и у него, какъ у Хмѣлевскаго, писатели разставлены по ранжиру, но сдѣлано это съ большею свободою, безъ строгостей фельдфебельскаго равненія, да и мѣрка критической оцѣнки берется болѣе широкая, безъ привнесенія правилъ буржуазной морали. Наконецъ, г. Фельдманъ удѣляетъ небольшое вниманіе и біографическому элементу, чего вовсе не дѣлалъ г. Хмѣлевскій.

Однако и въ книгѣ г. Фельдмана есть странности, которыя невольно будутъ бросаться въ глаза всякому, кто знакомъ съ польской литературой, такъ сказать, изъ первыхъ рукъ. Прежде всего польскій критикъ хочетъ выдать себя за кудесника, который на три аршина подъ ногами въ землѣ видитъ. Поэтъ, положимъ, или беллетристъ обмолвились не совсѣмъ ясной фразой — г. Фельдманъ видитъ тутъ глубокій затаенный смыслъ, на изъясненіе котораго имъ посвящается страница-двѣ сивиллиныхъ фразъ, очень затѣйливо подобранныхъ, но совершенно туманныхъ. Затѣмъ другая слабость критика—навязывать писателю преднамѣренность литературной дѣятельности, съ точки ли зрѣнія общественной программы, или извѣстной эстетической теоріи. Есть немалое пристрастіе и въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ представителей новѣйшаго періода литературы. Будучи горячимъ поклонникомъ всѣхъ оригинальностей модернизма, г. Фельдманъ съ захлебываніями восторга говоритъ о представителяхъ самоновѣйшаго литературнаго теченія, хотя бы вся оригинальность сводилась къ акробатическимъ колѣнцамъ, въ которыхъ нѣтъ ни красоты, ни тѣмъ болѣе смысла. Что же касается представителей старой литературной школы, то о нихъ процѣживается сквозь зубы двѣ-три небрежныхъ, скупыхъ похвалы, всегда неохотно и свысока. Для примѣра укажемъ потокъ неумѣренныхъ восхваленій Выснянскаго, доходящихъ до куріоза, и рядомъ съ этимъ — сравнительно сдержанныя одобренія Прусу или Оржешко.

Слѣдя за ростомъ новѣйшей польской литературы, мы съ особеннымъ удовольствіемъ встрѣтили появленіе книги г. Фельдмана, дѣлающаго подсчетъ ея успѣховъ и завоеваній, достигнутыхъ въ послѣднее двадцатилѣтіе. Во многихъ отдѣльныхъ случаяхъ намъ приходится остаться при своемъ личномъ мнѣніи, не раздѣляя увлеченій г. Фельдмана, но въ томъ общемъ выводѣ, что литература польская развивается, идетъ впередъ, не перестаетъ въ общемъ крѣпнуть и хорошѣть, мы вполнѣ солидарны съ польскимъ критикомъ.

Наша литература далеко не бѣдна переводами съ польскаго, и большинство именъ, вознесенныхъ поляками на свой

Олимпъ, достаточно знакомо и русскому читателю. И въ ежедневныхъ, и въ ежемѣсячныхъ изданіяхъ мы, то и дѣло, встрѣчаемся съ именами Жеромскаго, Тетмайера, Грушецкаго, Реймонта, Вейссенгофа, Пржибышевскаго и другихъ молодыхъ поэтовъ и беллетристовъ, переводимыхъ усердно, хотя и не всегда умѣло, не говоря уже о современныхъ писателяхъ болѣе ранняго поколѣнія, которые вышли и «полными собраніями». Что касается болѣе или менѣе полныхъ литературныхъ характеристикъ польскихъ писателей, то онѣ появляются не часто и при томъ какъ-то случайно. Предпринимая болѣе систематическій обзоръ движенія польской литературы за послѣднюю четверть XIX в., мы предполагаемъ подробно остановиться на тѣхъ писателяхъ, которые наиболѣе охотно читаются русской публикой.

Безспорно, послѣдняя четверть XIX в. была особенно плодотворной для польской литературы, не запаздывавшей отмѣчать разнообразную смѣну настроеній въ польскомъ обществѣ, слѣдившей за ломкой старыхъ и народеніемъ новыхъ идеаловъ, приносившей струи новаго воздуха отъ западныхъ, сѣверныхъ и одного восточнаго сосѣдей, набрасывавшей едва опредѣлявшіяся фигуры новыхъ людей, а главное—постепенно выдвинувшей на первый планъ полный неизвѣданной глубины психологическій матеріалъ на мѣсто господствовавшаго раньше бытового. Наконецъ, на исходѣ вѣка распускаются первые бутоны декадентства и нео-романтизма. Присмотримся ближе къ этой эволюціи.

Къ началу 80-хъ гг. еще полнымъ свѣтомъ горѣла слава Іосифа-Игнатія Крашевскаго, плодовитѣйшаго романиста, выпустившаго столько книжекъ, сколько шляхтичу средняго умственнаго уровня не прочитать за всю жизнь. Это былъ занимательный, незлобивый повѣствователь, отдавшій весь жаръ своей души польской самобытной старинѣ, изображенной имъ въ безчисленныхъ комбинаціяхъ съ одинаково теплымъ чувствомъ. Если случалось старику касаться новѣйшихъ теченій, народившихся не въ Польшѣ, а пришедшихъ извнѣ, напримѣръ, хотя бы зачатковъ женской эмансипаціи, то онъ предавалъ ихъ самому суровому порицанію, не щадя

густо подобранныхъ темныхъ красокъ. Вообще въ области всякихъ идей Крашевскій былъ сторонникомъ той золотой середины, которая годится, гдѣ хотите, но только не въ области изящной литературы. Рядомъ съ нимъ если не властительствовалъ надъ умами, то, во всякомъ случаѣ, пользовался значительнымъ престижемъ Сигизмундъ Милковскій (болѣе извѣстный подъ своимъ псевдонимомъ — Теодоръ Томашъ Ежъ), кидавшійся во всѣ стороны въ поискахъ за какой-нибудь общественной язвой, чтобы заклеймить ее своимъ презрѣніемъ, потомъ давшій рядъ повѣстей изъ жизни южныхъ славянъ и закончившій посредственными историческими романами (теперь Ежъ ничего не пишетъ). Видной затѣмъ величиной въ беллетристикѣ считался Захарьясевичъ, который долго и напряженно работалъ надъ созданіемъ себѣ хотя бы плохенькой славы, да такъ ея и не добился. Онъ имѣлъ слабость браться за такъ называемыя общественныя темы, но плохо онѣ давались ему, да и трактовалъ онъ ихъ какъ-то съ опаской, крадучись и оглядываючись: прогрессъ-то прогрессъ, но ужъ очень медленный, «съ соблюденіемъ строгой постепенности», какъ любятъ выражаться въ нашихъ департаментахъ, а, главное, созидаемый на началахъ трудолюбія, выростающій изъ щепетильнаго исполненія каждымъ своего долга въ той скорлупѣ, куда посадила его судьба, сотканный изъ мѣщанскихъ добродѣтелей, великимъ поклонникомъ которыхъ былъ Захарьясевичъ. Однимъ словомъ, прогрессъ на почвѣ умѣренности и аккуратности, чего, кажется, еще никто нигдѣ не проповѣдывалъ. Меньшей извѣстностью пользовался, чѣмъ бы заслуживалъ того по размѣру своего таланта, львовскій сатирикъ Янъ Лямъ, безъ всякой пощады хлеставшій политиканствующее галицко-польское общество, жившее фразой и мелкими интригами, въ которыхъ оно видѣло серіозное общественное дѣло. Сатира Ляма не стяжала широкаго общественнаго значенія, такъ какъ у этого писателя было малое поле зрѣнія и ему приходилось иногда браться за обличеніе такихъ мелочей, которыя гроша ломанаго не стоятъ. Съ сосѣднимъ округомъ австрійской Польши, краковскимъ, вѣдался Михаилъ Балуцкій.

Если упомянуть еще о Сигизмундѣ Качковскомъ, который впрочемъ, молчалъ цѣлыхъ 20 лѣтъ и лишь въ 1879 г. нарушилъ это молчаніе повѣстью «Graf Rak», то списокъ dii majores польской беллетристики къ 80-му году будетъ законченъ. Намѣчался, впрочемъ, крупный талантъ Э. Оржешко заставляли говорить о себѣ Г. Сенкевичъ и Болеславъ Прусъ, выпустившіе свои первые разсказы, но полный расцвѣтъ ихъ дѣятельности относится уже къ позднѣйшему времени. Что̀ касается второстепенныхъ писателей этого періода, то имъ предстоитъ смутный удѣлъ почить въ энциклопедическихъ лексиконахъ «въ сжатомъ видѣ», превратившись изъ живыхъ людей въ характерную библіографическую формулу.

Лирическая поэзія представляла поле запустѣнія. Старческимъ, дряблымъ голосомъ допѣвалъ свои пѣсни Леонардъ Совинскій, послѣдній изъ эпигоновъ романтизма, часто переходившій въ брюзжаніе, недовольный всѣмъ новымъ, что̀ онъ видѣлъ вокругъ себя, пробовавшій усладить свой взоръ картинами титаническихъ страстей, великихъ видѣній и мечтаній, въ которыхъ, однако, болѣе всего даетъ себя чувствовать дряхлость фантазіи и слабосиліе мысли поэта. Совинскому вторило еще нѣсколько такихъ же невѣрныхъ голосовъ, не будившихъ ничьего вниманія, несмотря на многія усилія. Что̀ касается Асныка, который возрастомъ былъ лишь лѣтъ на семь моложе Совинскаго, то лучшая часть его литературной дѣятельности приходится уже на позднѣйшее время, да и по мотивамъ своей поэзіи онъ принадлежитъ къ новѣйшему поколѣнію. Остается, наконецъ, область драматическаго творчества. Въ этой области можно назвать очень много почтенныхъ именъ, можно привести очень много хорошихъ и интересныхъ пьесъ, питавшихъ три главнѣйшихъ польскихъ сцены, но это было больше совершенство формы, вырабатывавшейся по западно-европейскимъ образцамъ, чѣмъ содержанія: серіозныхъ психологическихъ или общественныхъ темъ въ тогдашнихъ пьесахъ видимъ еще мало.

Въ общемъ, польская литература въ періодъ послѣ 1863 г. даже до половины 70 г. не дала чего-либо особо выдающагося. Польская критика потеряла счетъ, добывая все новыя

причины этого явленія, хотя дѣло объясняется довольно просто. Катастрофа должна была оставить глубокій слѣдъ въ настроеніи польскаго общества. Послѣ крайняго нервнаго напряженія естественно наступила реакція, обществомъ овладѣла апатія и уныніе, у всѣхъ невольно опустились руки. Но не въ нравахъ этого бойкаго, живого народа позволить овладѣть собой на долгое время мрачнымъ мыслямъ. Панъ Заглоба, какъ извѣстно, даже въ мрачномъ Радзивилловскомъ подземельи, гдѣ ничего не осталось ждать, какъ казни, не могъ отстать отъ своей привычки пошутить, а вѣдь польскій народъ весь въ Заглобу, и къ нему вполнѣ можно примѣнить слова рыцаря Скржетускаго о Заглобѣ: «Этого человѣка всегда можно узнать по его фантазіи!» И въ самомъ дѣлѣ, поляки довольно быстро стряхнули съ себя меланхолію и затѣяли такую оживленную общественно-публицистическую свалку, что теперь, хотя и недавно это было, разобраться въ ней потребовало бы не мало времени и труда. Естественно возникшій вопросъ — куда теперь идти и какой путь избрать — подѣлилъ поляковъ на множество враждебныхъ партій, не дававшихъ другъ другу никакой пощады; лихорадочно искали девиза, съ которымъ бы согласились всѣ; выкидывали чуть ли не ежегодно все новыя знамена; ожесточенно искали виноватыхъ; не долго разбирая, терзали людей смиренныхъ, что̀ подвернулись случайно въ горячую минуту; словомъ, проявлено было со всѣхъ сторонъ много горячности и пыла. Когда всѣ, нѣсколько уставшіе, успокоились, оказалось, что общественная атмосфера значительно поочистилась. Пора было отъ словъ и споровъ перейти къ дѣлу.

Эта пора принесла и нѣкоторые положительные результаты. Въ общественномъ настроеніи укрѣпилась бодрость, для которой фундаментомъ послужило слѣдующее соображеніе выдающагося польскаго публициста новѣйшей эпохи А. Свентоховскаго. «Не на внѣшнихъ только основаніяхъ политической самостоятельности — писалъ онъ — утверждается бытіе народовъ; а потому народъ, который политически пересталъ существовать и который вслѣдствіе этого началъ со-

мнѣваться въ своемъ бытіи, если онъ, тѣмъ не менѣе, развилъ свои духовныя силы и способности до высочайшей доступной ему ступени, если его умственный капиталъ содержитъ въ себѣ цѣнные для цивилизаціи элементы, — этотъ народъ въ правѣ въ каждую минуту сказать о себѣ съ утѣшеніемъ и гордостью: «Я мыслю, — значитъ, я существую». «Молодая» Польша и приняла для себя этотъ девизъ: «Cogito, ergo sum». На что же направилась ея мысль, ея думы?

То поколѣніе, которое выступило на поприще дѣятельности съ начала 80-хъ гг., выросло подъ впечатлѣніемъ разочарованія, овладѣвшаго «отцами» въ виду неосуществившихся надеждъ въ 60-е годы. Разочарованные «отцы» старались внушить идущему на смѣну поколѣнію, что позитивизмъ въ наукѣ, утилитаризмъ въ практической жизни — вотъ основы программы, внѣ которой нѣтъ спасенія. Программа эта имѣла нѣкоторыя видоизмѣненія въ Варшавѣ, Краковѣ и Львовѣ, но сущность оставалась одинаковою: всякій полетъ духа считался крайне вреднымъ, а благословлялся трезвый практицизмъ. Однако нигдѣ еще не бывало такъ, чтобы «дѣти» съ слѣпымъ послушаніемъ стали исполнять программу, завѣщанную отцами. Не замедлилъ обнаружиться разладъ между «отцами и дѣтьми» и въ Польшѣ. Окрѣпнувшій къ 80 гг. капитализмъ (въ Привисляньи фабрично-заводскій, въ Галиціи земледѣльческій), сопровождавшійся параллельнымъ возрастаніемъ пролетаріата, далъ мыслямъ молодежи направленіе совсѣмъ не въ ту сторону, куда тянули ее отцы. Со стороны молодежи начинаетъ выростать протестъ противъ клерикализма, узкаго націонализма и пр., нарождаются въ Краковѣ два изданія — «Nowa Reforma» (1882 г.) и «Przyszłość» (1883 г.) съ программой не вполнѣ ясной, но безспорно оппозиціонной. На настроеніе впечатлительнаго молодого поколѣнія не безъ вліянія остаются струйки, просачивающіяся въ Польшу отъ сосѣдей.

Конечно, никто не въ состояніи съ точностью опредѣлить хронологически, когда именно совершился этотъ внутренній переломъ въ настроеніи польскаго общества, когда прилетѣли «новыя птицы», зазвучали «новыя пѣсни». Уже въ пѣсняхъ

Асныка мы слышимъ нѣкоторые новые общественные мотивы, которые впослѣдствіи такой широкой волной разлились въ поэзіи Маріи Конопницкой. Александра Свентоховскаго считаютъ въ публицистикѣ насадителемъ и главнымъ проповѣдникомъ позитивизма, противъ котораго впослѣдствіи началась реакція, между тѣмъ и въ беллетристикѣ и въ драматическихъ произведеніяхъ этотъ оригинальнѣйшій писатель разрабатываетъ темы, которыми онъ близко примыкаетъ къ новѣйшей генераціи беллетристовъ, провозглашая свѣтлыя общественныя идеи. Сенкевичъ не останавливается навсегда на какой-нибудь опредѣленной тенденціи: онъ-то даетъ отдохнуть народу отъ повседневныхъ мелочей на грандіозныхъ картинахъ плѣнительнаго прошлаго (въ трилогіи, въ «Крестоносцахъ»), то работаетъ въ психологической лабораторіи надъ анализомъ души «героевъ нашего времени» («Безъ догмата»), то развертываетъ громадную панораму быстро несущейся современной жизни (какъ въ «Семьѣ Поланецкихъ»), и таковъ ужъ завидный удѣлъ крупнаго таланта: всегда выходитъ такъ, будто беллетристъ затронулъ какъ разъ именно ту тему, которая въ данную минуту наиболѣе интересуетъ общество. Когда общественные споры слишкомъ сильно разгораются, порождая враждебные до степени злобы лагери, въ качествѣ примирительницы выступаетъ Элиза Оржешко со своимъ мягкимъ, ласковымъ, теплымъ словомъ, но беллетристка поступаетъ такъ не потому, чтобы она стояла на сторонѣ теплохладности, ничтожество которой такъ энергически подчеркнуто въ Апокалипсисѣ, а только потому, что эта милая писательница очень любитъ людей. Живо откликается на волнующія общество темы и Болеславъ Прусъ, всегда, однако, очень осторожный къ моднымъ теченіямъ и увлеченіямъ, любящій оставаться «при особомъ мнѣніи», писатель вдумчивый и проницательный, не дающій увлечь себя побрякушками фразы и мишурой наружной, такъ сказать, просвѣщенности

Въ многочисленномъ ряду второстепенныхъ беллетристовъ можно установить подраздѣленія въ зависимости отъ того, какую тему каждый изъ нихъ облюбовалъ для себя или кого

изъ западныхъ писателей онъ сотворилъ для себя кумиромъ. Такъ, съ начала 90 гг. у поляковъ появился свой собственный Мопассанъ въ лицѣ Сигизмунда Недзвѣцкаго, довольно талантливаго краковскаго беллетриста, возведеннаго въ это званіе польской критикой, конечно, не за что иное, какъ за внѣшнее сходство сюжетовъ нѣкоторыхъ своихъ разсказовъ съ произведеніями знаменитаго французскаго писателя. Въ pendant къ этому можно бы сказать, что у поляковъ есть и своя г-жа Лохвицкая—Габріэля Запольская, извѣстная смѣлостью въ изображеніи самыхъ рискованныхъ сюжетовъ, съ тою, впрочемъ, особенностью, что г-жа Лохвицкая продѣлываетъ это изящнымъ стихомъ, а г-жа Запольская только изящной прозой. Клеменсъ Юнóша вывелъ на сцену изъ глуши селъ и мѣстечекъ послѣднихъ могиканъ мелкаго шляхетства, въ старомодныхъ костюмахъ и съ старомодною рѣчью, а вмѣстѣ съ тѣмъ цѣлое полчище жидовства, самаго настоящаго, съ его грязнымъ лапсердакомъ, мизерной кибиткой и не менѣе грязнымъ и мизернымъ гешефтомъ. Немногіе остатки былого панскаго величія нашли своего умиленнаго фотографа въ лицѣ Іордана (Венявскаго), который послѣ каждой сценки въ старошляхетскомъ размашистомъ вкусѣ считаетъ непремѣннымъ долгомъ тяжко вздохнуть, такъ, чтобы и читатель слышалъ. Совсѣмъ особый уголокъ облюбовалъ себѣ Дыгасинскій, въ молодые годы занимавшійся составленіемъ популярныхъ книжекъ и учебниковъ и лишь подъ старость выступившій на поприще беллетристики (въ 80 гг.); съ безграничнымъ наслажденіемъ онъ рисуетъ польскій пейзажъ, а его герои — волки, зайцы, собаки, которыхъ онъ заставляетъ и любить и страдать. Въ области историческаго романа усердное трудолюбіе проявляетъ Адамъ Креховецкій, востановляющій, впрочемъ, только наиболѣе шумныя событія прошлаго, любящій пальбу и рѣзню. Наконецъ, по мѣрѣ силъ и способностей трудятся довольно густые ряды третьестепенныхъ беллетристовъ, которыхъ долго было бы перечислять; техника слова достигла теперь значительнаго развитія, такъ что произведенія и этихъ беллетристовъ—неглубокія по замыслу—читаются легко при появленіи ихъ въ

фельетонахъ, имѣютъ нѣкоторый успѣхъ и послѣ выхода отдѣльными изданіями, но не будятъ особеннаго вниманія.

Съ начала 90-хъ гг. изъ-за плечей Сенкевича и Пруса начинаютъ вырисовываться нѣкоторыя новыя фигуры, успѣвающія вскорѣ сосредоточить на себѣ все вниманіе читающей публики, жадно прислушивающейся къ отголоску тѣхъ настроеній, сомнѣній и исканій, которыми волнуется и болѣетъ она сама. Измученный повседневной сутолокой жизни, истомленный «заботами суетнаго свѣта», оставляющими ѣдкій осадокъ на днѣ души и вызывающими въ результатѣ ощущеніе пустоты, современный человѣкъ долженъ былъ почувствовать тоску по личномъ счастіи, потянулся за теплымъ дыханіемъ любви, лихорадочно бросился въ поиски за потерянной красотой, но безрезультатны всѣ его усилія: холодно и непривѣтливо всюду, отлетѣла поэзія въ жизни, и ее можно лелѣять только въ мечтахъ. Это настроеніе нашло выразителя въ лицѣ выдающагося изъ современныхъ польскихъ поэтовъ Казиміра Тетмайера, зачисленнаго по этой причинѣ критикой въ категорію пессимистовъ. Крупной фигурой становится въ короткое время талантливый беллетристъ Стефанъ Жеромскій, выводящій на сцену людей съ надломленной натурой — не тѣхъ «свихнувшихся», которыми угощала насъ наша беллетристика 60—70-хъ гг., а людей съ утраченнымъ душевнымъ равновѣсіемъ, изъѣденныхъ рефлексіей; въ противоположность старому правилу, что добродѣтель должна торжествовать, а порокъ терпѣть наказаніе, у Жеромскаго страдающей стороной оказываются люди порядочные, а негодяи и нахалы торжествуютъ, какъ оно, впрочемъ, чаще всего и бываетъ въ жизни. Осенью 1897 г. въ Краковѣ организуется подъ редакціей Щепанскаго еженедѣльникъ «Zycie», группирующій вокругъ себя молодыя силы и объявляющій безпощадную войну всему въ литературѣ и искусствѣ, что̀ носитъ отпечатокъ буржуазнаго вкуса и изношенной традиціи. Не объявляя ни программъ, ни формулъ, эта молодая партія поэтовъ и беллетристовъ собирается руководствоваться въ всѣхъ случаяхъ личными порывами духа, очевидно, находя здѣсь все то, что̀ въ старыя времена назы-

валось истиной, добромъ, красотой... Система интересная, но не новая, такъ какъ еще ап. Павелъ зналъ ее, когда говорилъ о дикаряхъ: «Сіи закона не имуще, сами себѣ законъ суть». Еженедѣльникъ ознаменовалъ свое существованіе тѣмъ, что началъ производить лихорадочную дезинфекцію галицій-ской общественно-литературной атмосферы, пытаясь продѣлать это даже съ атмосферой всеевропейской, но едва самъ не лопнулъ изъ-за чистаго пустяка — недостатка средствъ (подписчиковъ было 560). Отъ этой участи «Zycie» было спасено Пржибышевскимъ, главою польскихъ модернистовъ, взявшимъ осенью 1899 г. кормило этого изданія.

Имя Пржибышевскаго уже за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ, какъ онъ началъ писать по-польски (первыя произведенія свои онъ написалъ, какъ извѣстно, на нѣмецкомъ языкѣ), извѣстно было въ кружкахъ молодежи, произносилось съ упоеніемъ, какъ имя мага и волшебника. Свое литературное credo онъ поставилъ съ рѣзкою опредѣленностью. «Искусство», говорилъ онъ, «не имѣетъ никакой цѣли, оно въ самомъ себѣ есть цѣль, есть абсолютъ, такъ какъ является отпечаткомъ абсолюта—души. А коль скоро искусство представляется абсолютомъ, то оно не можетъ быть заключено ни въ какіе тиски, оно не можетъ быть на посылкахъ ни у какой идеи... Мы не знаемъ никакихъ правъ, ни моральныхъ, ни общественныхъ, не знаемъ никакихъ стороннихъ соображеній, каждый порывъ души является для насъ чистымъ, святымъ, глубиною и тайною, если въ немъ есть мощь. Искусство же тенденціозное, искусство дидактическое, искусство-забава, искусство - патріотизмъ, наконецъ, искусство, имѣющее какую-либо цѣль, моральную или общественную, перестаетъ быть искусствомъ, а становится biblia pauperum для людей, которые не умѣютъ думать или которые настолько мало образованы, что не въ состояніи прочесть соотвѣтствующія руководства; для такихъ же людей надобны странствующіе учителя, а не искусство». Своими полубеллетристическими очерками Пржибышевскій доказалъ, что онъ не на вѣтеръ говоритъ эти слова.

Вліяніе Пржибышевскаго, хотя сказывается въ отдѣльныхъ

случаяхъ на его сверстникахъ, не сдѣлалось еще, однако, стихійнымъ въ польской литературѣ; господствующею остается общеустановившаяся литературная форма, отъ которой большинство беллетристовъ не отрѣшается. Правда, эти беллетристы не создаютъ себѣ той крикливой извѣстности, которая такъ быстро окружила имя Пржибышевскаго, принуждены довольствоваться ординарными симпатіями читателей безъ примѣси восторженнаго идолопоклонства, но едва ли имъ стоитъ огорчаться по этому поводу: такія симпатіи прочнѣе.

Выдвинулъ свое имя Владиславъ Реймонтъ разсказами изъ крестьянскаго быта, въ которыхъ польскій хлопъ обрисованъ безъ всякой идеализаціи, со всею его дикостью, грубостью и жадностью. Шляхта въ послѣднее время почти исчезаетъ изъ польской повѣсти; послѣдними бытописателями шляхетства являются Лясковскій, Северинъ Кондратовичъ и Абгаръ-Солтанъ, въ произведеніяхъ которыхъ, однако, чувствуется книжная начитанность, пересказы стараго матеріала, но почти нѣтъ живыхъ, непосредственныхъ впечатлѣній. Да и не удивительно: центръ жизни перемѣстился въ городъ, на фабрику, въ торговые и промышленные пункты, тамъ и кипитъ жизнь, а старые очаги польской культуры — шляхетскіе загроды — блекнутъ и гаснутъ, покинутые обитателями. Въ новые слои общества вводитъ насъ Артуръ Грушецкій, задающійся цѣлями не только повѣствователя, но и публициста. Къ больному, изнервничавшемуся интеллигенту большихъ городовъ имѣетъ слабость Янъ Стенъ — писатель впечатлительный и вдумчивый, а міръ родовой и денежной аристократіи избралъ своею спеціальностью Вейссенгофъ. Вообще ряды беллетристовъ въ послѣдніе годы пополнились многими подающими надежды силами, перечень которыхъ можно было бы вести еще долго. Еще гуще стали ряды поэтовъ, творящихъ съ лихорадочною поспѣшностью (по словамъ Фельдмана, въ 1901 г. вышло около 80 стихотворныхъ сборниковъ). Количественный прогрессъ — большой, и если разумѣть именно количественную сторону дѣла, то ничего нельзя возражать противъ образной характеристики г. Фельдмана, что въ настоящее время «мо-

гучія волны поэзіи ревутъ съ такой силою, какой мы не видѣли со временъ расцвѣта романтизма».

Вообще въ переднихъ рядахъ польской интеллигенціи идетъ неутомимая работа духа. Поляки всегда отличаются крайнимъ энтузіазмомъ; отпечатокъ его лежитъ и на литературѣ, теперь особенно говорливой и оживленной. Окрѣпнувшая партія «молодыхъ» ищетъ работы своимъ прорѣзывающимся зубкамъ, и недавно Сенкевичу порядочно досталось за то, что онъ осмѣлился неуважительно отнестись къ новѣйшей польской драмѣ: имя заслуженнаго романиста рвали просто въ клочья. Вообще «молодые» рвутся въ бой, который, вѣроятно, вскорѣ разгорится на всей линіи, но предсказать имъ побѣду рискованно: вѣдь и старая школа имѣетъ тяжелыя дальнобойныя орудія... Во всякомъ случаѣ любопытно познакомиться поближе хотя бы съ главнымъ штабомъ съ той и другой стороны, что мы и намѣрены сдѣлать въ дальнѣйшихъ очеркахъ.

Клеменсъ Юноша (Шанявскій).

Въ варшавской прессѣ въ послѣдніе годы все чаще и чаще приходится слышать тревожные голоса польскихъ экономистовъ по поводу того кризиса, который держитъ въ напряженіи, и при томъ очень долгое время, сельское хозяйство со всѣми его отраслями въ этой краѣ. Люди бѣгутъ изъ деревни безъ оглядки—такова, по мнѣнію экономистовъ, одна изъ главнѣйшихъ причинъ упадка и застоя въ сельскомъ хозяйствѣ, приносящаго столько золъ, что просто и не оберешься. Помѣщичій классъ таетъ на глазахъ у всѣхъ. Все, что есть въ этой средѣ способнаго, талантливаго, энергичнаго и предпріимчиваго, бѣжитъ въ городъ и ищетъ приложенія своему труду и дарованіямъ въ другихъ сферахъ дѣятельности. Только человѣкъ, по общему приговору рѣшительно ни на что неспособный, мирится съ ролью сельскаго хозяина; если же за это дѣло берется человѣкъ не безъ дарованій, ему удивляются, о немъ даже высказываютъ непритворное сожалѣніе: вотъ, молъ, человѣкъ способный, а пропадаетъ ни за грошъ, сельскимъ хозяиномъ сдѣлался. Нечего и говорить,—сѣтуютъ экономисты,—какъ гибельно отражается подобный порядокъ на экономической и общественной жизни селъ и захолустныхъ мѣстечекъ. Земля остается въ рукахъ рутинеровъ, мало просвѣщенныхъ и непредпріимчивыхъ, или, что еще хуже, попадаетъ въ руки хищниковъ, обирающихъ ее и разоряющихъ естест-

венныя богатства края. Все потянулось въ городъ, всѣ силы направлены на развитіе фабричной промышленности, дающей хорошіе барыши, при мысли о которыхъ и у сельскихъ хозяевъ невольно слюнки текутъ и глаза разгораются. Получается какой-то безвыходный кругъ: вытягивая соки изъ деревни, обогащаясь и жирѣя на ея счетъ, фабричная промышленность осуждаетъ ее тѣмъ самымъ на застой и прозябаніе. Между тѣмъ люди энергичные, которые могли бы помочь бѣдѣ, сами бѣгутъ изъ дѣдовскихъ угловъ въ центры, стараясь хоть съ боку гдѣ-нибудь примоститься къ той громадной машинѣ, которая только-что принесла имъ столько зла, выкуривъ изъ родной «загроды», а теперь, очевидно, сулитъ такъ много заманчиваго. Въ результатѣ—провинціальная Польша пустѣетъ. Для лѣченія этого недуга рекомендуется обыкновенно рядъ дѣльныхъ и очень толково придуманныхъ мѣръ, которыя всѣмъ были бы хороши, но имѣютъ одинъ довольно существенный недостатокъ: онѣ едва ли осуществимы или, лучше сказать, едвали будутъ кѣмъ-либо осуществлены, такъ какъ для приведенія ихъ въ исполненіе требуется, чтобы сельскій хозяинъ, одушевленный идеей принести пользу деревнѣ, въ теченіе многихъ лѣтъ согласился нести значительные убытки, оплачивать всѣ лежащія на немъ повинности неизвѣстно изъ какого источника (что сельское хозяйство барыша теперь не приноситъ—этого никто не отрицаетъ), питаться, очевидно, только продуктами своего производства, одѣваться и обуваться отъ пасущихся на его нивахъ стадъ—и все это въ надеждѣ, что когда-нибудь, цѣной такихъ самопожертвованій, куплены будутъ для сельскаго хозяйства лучшія и болѣе свѣтлыя времена.

Справедливость требуетъ признать, что честь открытія этого общественнаго явленія, именно эмиграціи интеллигентныхъ силъ изъ захолустьевъ въ центры, принадлежитъ не экономистамъ. Явленіе это подмѣчено уже давно польскими беллетристами и, пожалуй, изслѣдовано съ достаточной широтой, разработано даже въ нѣкоторыхъ деталяхъ. Тутъ, правда, нѣтъ цифръ, нѣтъ статистическихъ таблицъ и процентныхъ отношеній, зато есть широкая и яркая картина.

на которой изображены всѣ подробности экономическаго переворота, начавшагося не со вчерашняго дня: тутъ все въ послѣдовательной перспективѣ — и тяжелая борьба за добываніе насущнаго куска хлѣба, и измѣнившіяся невѣдомо почему отношенія къ землѣ-кормилицѣ, сдѣлавшейся вдругъ изъ матери злою мачихою, и непреклонное упрямство земледѣльца, не сдающагося подъ градомъ ударовъ всей сложной суммы явленій, научно именуемыхъ сельско-хозяйственнымъ кризисомъ, и полная потеря силъ, и — въ видѣ заключительнаго эпизода — бѣгство землевладѣльца изъ родного захолустья въ чужой и непривѣтливый городъ. Эта художественная картина, конечно, ближе сердцу и чувству читателя, чѣмъ даже блестящій экономическій трактатъ, потому что въ ней онъ видитъ не только неумолимое дѣйствіе экономическихъ законовъ, но также горе и страданіе живыхъ людей, которымъ солоно-таки приходится отъ этихъ законовъ. Безспорно, въ нѣкоторыхъ пунктахъ художественное чутье беллетриста подмѣтитъ такія черты этого общественнаго явленія, которыя, не отражаясь въ статистическихъ таблицахъ и процентныхъ отношеніяхъ, ускользаютъ отъ вниманія изслѣдователя. Люди бѣгутъ изъ деревни, прельщаясь барышами индустріи и подхлестываемые вѣчными дефицитами сельско-хозяйственнаго оборота — вотъ выводъ публициста. Дальше этого онъ не идетъ, пускаясь читать длинную нотацію о томъ, какимъ лишеніямъ долженъ подвергать себя хозяинъ, чтобы удержаться на кускѣ своей земли.

У беллетриста, пожалуй, не хватитъ духа читать такую нотацію. Легка ли была, спрашивается, хозяину разлука съ тѣмъ уголкомъ, гдѣ ему

«Любовно травка каждая
Шептала: я—твоя...»

Говорятъ, у человѣка нѣтъ сильнѣе привязанности, какъ къ родинѣ, нѣтъ тяжелѣе страданія, какъ въ мысли о вѣчной разлукѣ съ нею. Какой-то еврей-эмигрантъ, преобразившійся въ Америкѣ изъ Берка въ мистера Борка, серіозно увѣрялъ одного русскаго, что если бы Европу отъ Америки не раздѣлялъ океанъ, то онъ, ни минуты ни колеблясь, по-

шагалъ бы пѣшкомъ изъ Нью-Iорка въ Могилевскую губернiю. Можно себѣ представить, сколько боли приходится испытывать польскому шляхтичу, разставаясь съ землей, къ которой онъ чувствуетъ какую-то кровную привязанность. Такъ должна страдать улитка, когда ее отдираютъ отъ раковины, съ которой она плотно срослась своими щупальцами. Конечно, Варшава и какая-нибудь глушь Подляшья не такъ ужъ далеки другъ отъ друга, чтобы была отрѣзана возможность видѣть «поля, холмы родные», но едва ли принесетъ много удовольствiя чувствовать себя чужакомъ на томъ клочкѣ земли, гдѣ когда-то все было своимъ, даже собственнымъ.

Нѣкоторые изъ польскихъ беллетристовъ новѣйшей генерацiи, не считая интереснымъ сводить счеты съ отживающимъ свой вѣкъ старошляхетствомъ (скажемъ такъ для краткости), обратились въ поискахъ за сюжетами къ новой группировкѣ общественныхъ силъ, сложившейся въ Польшѣ въ теченiе нѣсколькихъ послѣднихъ десятилѣтiй, пошли на фабрику, въ городъ, въ среду коммерческой аристократiи, заинтересовались народившимся классомъ разночинцевъ и т. д. Но и шляхта не осталась безъ друзей и заступниковъ. Давняя связь, существовавшая между польской изящной литературой и своеобразнымъ укладомъ шляхетскаго быта и закрѣпленная нѣсколькими художественными созданiями польскихъ писателей, не была порвана окончательно; нашлись художники, которые занесли на свой холстъ доживающихъ вѣкъ могиканъ шляхетства. Въ ряду этихъ художниковъ-ликвидаторовъ одно изъ видныхъ мѣстъ принадлежитъ Клеменсу Юношѣ, повѣсти и разсказы котораго даютъ въ высшей степени интересный бытовой матерiалъ.

Клеменсъ Шанявскiй, писавшiй подъ псевдонимомъ Юноша, происходитъ изъ извѣстнаго, имѣющаго много развѣтвленiй, шляхетскаго рода герба Юноша; родился 23 ноября 1849 г. Рано оставшись сиротой, Юноша прошелъ трудную школу жизни, извѣдалъ не мало нужды и горя. Образованiе свое онъ принужденъ былъ ограничить лишь гимназическимъ курсомъ; между прочимъ, онъ былъ школьнымъ товарищемъ

другого крупнаго беллетриста Болеслава Пруса. Перемѣнивши школьную скамью на служебную, Юноша быстро разочаровался въ чиновничьей жизни и поселился въ небольшомъ своемъ фольваркѣ Корытницкая Воля, откуда по приглашенію Пруса сталъ сотрудничать въ нѣкоторыхъ варшавскихъ изданіяхъ. Начало литературной дѣятельности Юноши относится къ 1874 г. Переселившись въ Варшаву, Юноша отдался исключительно перу и сталъ сотрудничать чуть ли не во всѣхъ польскихъ изданіяхъ: начавши писать въ «Kolcach», потомъ приглашенъ былъ Сарнецкимъ въ «Echo», затѣмъ завѣдывалъ отдѣломъ корреспонденцій въ «Wieku» и «Roli», въ 1887 и 1888 гг. велъ еженедѣльную хронику въ «Kurjerze Warszawskim», въ послѣднее время принималъ самое близкое участіе въ юмористическомъ журналѣ «Mucha». Въ остававшееся свободнымъ отъ обычной журнальной работы время Юноша началъ писать очерки и разсказы. Первый сборникъ беллетристическихъ произведеній его, изданный въ 1884 г. въ Варшавѣ подъ заглавіемъ «Z mazurskiej ziemi», упрочилъ за Юношей репутацію незауряднаго таланта. Затѣмъ чуть ли не каждый годъ выходило по одному-два сборника; таковы—«Pan Sędzia» (1887 г.), «Przez różowe szkielka» (1888 г.), «Z antropologii wiejskiej» (1888 г.), «Nasi żydzi w miasteczkach i na wsiach» (1889 г.), «Obrazki szare» (1890 г.), «Z zapadlych kątow» (1891 г.), «Syzyf» (1891 г.) и др. Съ 1891 г. начало выходить собраніе его произведеній въ десяти томахъ, но въ вышедшихъ томахъ помѣщена только часть написаннаго,—правда, лучшая часть. Независимо собранія продолжали выходить отдѣльными сборниками разсказы и очерки Юноши; не перечисляя другихъ, назовемъ сборникъ «Przy kominku» и «Powtórne życie»

Юноша работалъ усиленно, по 12 ч. въ сутки не выпуская пера изъ рукъ, и здоровье его начало надламываться; но онъ продолжалъ писать, и изъ подъ пера его продолжали выростать шляхетскіе дворики, укромно запрятавшіеся въ густолиственныхъ садахъ, деревенскій сѣренькій пейзажъ, бѣдныя избушки, покрытыя соломой, жидовскія лавочки,

прилѣпившіяся, точно гнѣздо ласточки, къ неуклюжему каменному дому въ мѣстечкѣ, громадныя и безобразныя корчмы съ широкими выѣздными воротами. Друзья начали совѣтовать ему на время бросить журнальную работу и отдохнуть. Юноша хотѣлъ обождать еще два годика, скопить тысячу-другую; «а затѣмъ,—говаривалъ онъ,—куплю избушку въ селѣ, 10 морговъ земли, надѣну бараній кожухъ, буду сѣять... пахать... ѣздить на ярмарки, балагурить съ жидками... а если выпадетъ свободная минута, буду писать для народа». Ожиданіямъ этимъ не суждено было сбыться; 10 Марта 1898 г. Юноши не стало.

Познакомившись съ писателемъ, взглянемъ теперь на галлерею типовъ, нарисованныхъ его талантливымъ перомъ.

Герои Юноши — сѣренькіе, будничные люди. Мелкопомѣстный шляхтичъ, весь ушедшій въ хозяйственныя заботы, крестьянинъ, копающійся около своей «халупы» (хижины), и юркій еврей, неугомонный и говорливый, вѣчно занятый своими гешефтами и гандлемъ. Юноша не любитъ заглядывать въ высокія панскія хоромы, тамъ ему чувствуется не по себѣ, тамъ онъ не находитъ темы для бесѣды. Но зато въ кругу своихъ излюбленныхъ героевъ Юноша — свой человѣкъ; онъ знаетъ ихъ смѣшныя и слабыя стороны, видитъ сквозь тѣлесную оболочку искру благородства, а иногда и геройства въ ихъ душѣ, прекрасно говоритъ ихъ языкомъ и заставляетъ каждаго съ полною откровенностью разсказать про свою бѣду, подѣлиться горемъ, какое у кого есть, разсказать свои мечты и надежды, иногда не совсѣмъ чистыя и святыя—что-жъ дѣлать! Юноша даетъ намъ человѣка такимъ, каковъ онъ есть, а самъ стоитъ въ сторонѣ, съ подрагивающею на углахъ рта улыбкою...

Общій фонъ жизни, въ сферу которой вводятъ насъ повѣсти и разсказы Юноши, такой же сѣренькій, какъ и его герои. Передъ читателемъ развертывается бѣдное и грязноватое мѣстечко, на половину населенное евреями. Центръ его занимаетъ широкая немощеная площадь, густо унавоженная крестьянскими лошадьми и волами, располагающимися здѣсь тѣсными рядами во время базара и ярмарки;

въ будніе дни эта площадь пуста, по ней лишь безцѣльно бродятъ козлы, да шалятъ жиденята. Вяло и сонно течетъ здѣсь жизнь. На всемъ лежитъ какой-то меланхолическій отпечатокъ. Было время, когда жизнь била здѣсь кипучимъ ключомъ, даже бурлила потокомъ, но теперь все заснуло, и лишь два нѣмыхъ памятника отдаленной старины навѣваютъ тихія грезы о прошломъ: это — магистратская башня и почернѣвшій костелъ съ остроконечной верхушкой. Печально и понуро глядятъ они на обывателя и невольно вызываютъ образы шумной жизни эпохи сеймовъ и конфедерацій, теперь безвозвратно замолкнувшей.

Еще болѣе унылый видъ имѣетъ польская деревня. Посрединѣ широкой равнины, окруженной темной рамкой синѣющихъ въ отдаленіи лѣсовъ, разбросано нѣсколько десятковъ покривившихся хатъ съ соломенными крышами, отороченными зеленымъ мхомъ. Тишина и глушь, почти не видно признаковъ жизни.

Юноша — далеко не перворазрядный художникъ, онъ не обладалъ тонкой кистью, мало заботился объ изящной отдѣлкѣ рисунка, и если мы все-таки часто любуемся его разсказомъ, то причина этого — вовсе не техническая сторона его творчества. Пейзажъ у него всегда выходитъ угловатымъ: съ точки зрѣнія художественной, онъ почти лишенъ красоты, линіи и цвѣта расположены довольно неуклюже, какая-нибудь деталь выступаетъ совсѣмъ угломъ и рѣжетъ въ первое время глаза. И все-таки имъ можно иногда любоваться: такъ много настроенія умѣлъ вложить беллетристъ въ свои неискусно сдѣланныя описанія природы. Нѣтъ изящества, но зато много непосредственнаго чувства. Сѣренькое небо, унылая даль полей, гдѣ-то далеко темнѣющая синева лѣсовъ и вьющаяся тоненькой лентой дорога—эта картина, десятки разъ вырисованная Юношей въ его разсказахъ, выглядитъ какъ-то и криво и косо, но общій хмурый тонъ ея беллетристу удавалось схватить всегда очень вѣрно, и кто бывалъ въ Польшѣ, у того описанія Юноши сейчасъ же вызываютъ въ памяти видѣнныя картины. Жанровыя сценки не въ примѣръ лучше. Отъ нихъ всегда вѣетъ жизнью,

непосредственнымъ знаніемъ среды, которая изображается. У беллетриста чудный разговорный языкъ, оттѣнки рѣчи, свойственные шляхтичу, еврею и крестьянину, переданы ярко, нигдѣ онъ не сбивается съ тона,—въ общемъ это, пожалуй, самая сильная въ техническомъ смыслѣ сторона его произведеній. Большею частью въ дебетъ беллетристу приходится отнести и его фабулу—наивную, избитую, нерѣдко совершенно примитивную. Этимъ недостаткомъ всего болѣе страдаютъ крупныя повѣсти Юноши; въ нихъ нѣтъ ни одной интересной коллизіи, берутся большею частью истрепанныя положенія, страданіе не переступаетъ за предѣлы безропотныхъ слезъ, а что касается любви своихъ героевъ, то беллетристъ не находитъ ничего лучшаго, какъ уложить ее на Прокрустово ложе мѣщанскаго счастья и украсить влюбленныхъ добродѣтелями той же категоріи. Но это, пожалй, еще полъ-бѣды. Къ сожалѣнію, Юноша сверхъ того влилъ въ свои произведенія очень досадную ложку дегтю, сообщающую имъ весьма непріятный привкусъ: это—разныя нравоучительныя сентенціи, которыми дѣйствующія лица поучаютъ себя и своихъ ближнихъ или же которыми—что хуже всего—беллетристъ вдругъ иногда начинаетъ угощать читателя. Приходится пожалѣть, что Юноша не собралъ этихъ сентенцій, по духу и характеру весьма близко напоминающихъ «Письма къ калужской губернаторшѣ» Гоголя, въ какое-либо отдѣльное произведеніе назидательнаго свойства: тогда, по крайней мѣрѣ, ихъ никто бы и читать не сталъ, а повѣсти и разсказы безъ этого дидактическаго элемента много выиграли бы.

Но довольно. Перечисляя недостатки произведеній Юноши, мы вовсе не думаемъ умалять заслугъ покойнаго беллетриста (да будетъ ему легка родная земля!); объ отрицательныхъ сторонахъ повѣстей и разсказовъ его можно говорить вполнѣ свободно, зная, что онѣ съ избыткомъ покроются положительными сторонами творчества, такъ какъ активъ беллетриста—очень крупныхъ размѣровъ.

Тутъ прежде всего предстоитъ рѣшить вопросъ, нашла ли въ повѣстяхъ Юноши хоть какое-нибудь малое отраже-

ніе современная общественная жизнь Польши. Этотъ вопросъ необходимо поставить потому, что еще у свѣжей могилы беллетриста раздавались голоса, будто бы онъ, какъ писатель, стоялъ совершенно въ сторонѣ отъ всякихъ вѣяній времени, будто бы ему были чужды такъ называемые проклятые вопросы, волнующіе общество, будто бы онъ довольствовался ролью простого нравоописателя, не напрягая вниманія, чтобы уловить біеніе общественнаго пульса. По этой-то причинѣ,—говорили тогда,—поляки въ достаточной степени равнодушны къ Юношѣ и вовсе не думаютъ отводить ему мѣста въ томъ пантеонѣ, которому воздается общенаціональное поклоненіе. Что Юноша не такой крупный талантъ, который давалъ бы право на помѣщеніе его въ пантеонѣ, хотя бы только лишь польскомъ,—противъ этого спорить нельзя; будетъ только дѣломъ справедливости сказать, что въ немъ квартируютъ нѣкоторые національные герои, въ сравненіи съ которыми нашъ беллетристъ куда какъ выше и почтеннѣе, и если ужъ дѣлать строгій выборъ, то первому пришлось бы отказать въ мѣстѣ не Юношѣ. Что же касается такъ называемаго общественнаго элемента, то безусловное отрицаніе его въ произведеніяхъ Юноши представляется нѣсколько поверхностнымъ. Это правда, что Юноша совсѣмъ не зналъ шумнаго свѣта, былъ не въ курсѣ тѣхъ вѣяній, которыя въ его время волновали интеллигентные кружки Варшавы, Кракова, Львова. Но нельзя же всю польскую общественную жизнь заключать въ предѣлы трехъ-четырехъ городовъ, а всю остальную территорію считать соннымъ царствомъ, гдѣ въ безпробудный сонъ погружена мысль человѣческая, не откликаясь на отдаленный рокотъ волнующихся центровъ. И именно по отношенію къ польской шляхтѣ нельзя устанавливать такого рѣзкаго разграниченія, потому что шляхта всѣмъ своимъ историческимъ прошлымъ, а особенно сеймовымъ устройствомъ, воспитана и пріучена къ особенной чуткости во всемъ, что касается польской націи и ея интересовъ. Такъ называемая «провинція» въ Польшѣ, правда, очень старомодна, но отнюдъ не мертва въ отношеніи умственныхъ запросовъ, и

развѣ это можно ставить ей въ вину, видѣть въ этомъ ея отсталость? И если правда, что Юноша не въ особенномъ фаворѣ у польской публики, то ужъ не отсутствіе ли этой публицистической струи лишило беллетриста симпатій со стороны сородичей?

Если такъ, то это не бѣда. Вздумай Юноша наполнять свои страницы беллетристическимъ пережевываніемъ тѣхъ искусственно придуманныхъ вопросовъ, которые вспрыгиваютъ на столбцы польской прессы и якобы касаются самыхъ насущныхъ національныхъ интересовъ, онъ внесъ бы въ нихъ только скуку и ничего болѣе. Избѣжавши этой опасности, Юноша, тѣмъ не менѣе, нисколько не закрывалъ глаза на тѣ вопросы, которые выдвигаемы были самой жизнью и за которыми, конечно, слѣдуетъ признать общественное значеніе въ широкомъ смыслѣ этого слова. Его заслуга — что онъ не сглаживалъ и не смягчалъ этихъ вопросовъ, а ставилъ ихъ острымъ угломъ, какъ ставила ихъ и сама жизнь. Шляхта доживаетъ свои послѣдніе дни, бѣжитъ въ городъ, гдѣ неминуемо перерождается, утрачивая свои типическія черты и растворяясь въ морѣ европеизма, старая Польша таетъ и гибнетъ, — вотъ мысль, которую, какъ новый Іона, неизмѣнно повторялъ Юноша въ своихъ болѣе крупныхъ произведеніяхъ. Не безъ боли провозглашаетъ свое грозное пророчество беллетристъ, очевидно, страстно влюбленный въ старину; онъ не можетъ помириться съ утратой самобытности, которая, по его мнѣнію, исчезнетъ одновременно съ опустѣніемъ сельскихъ шляхетскихъ двориковъ, и, видимо, онъ весь на сторонѣ тѣхъ стариковъ, которые убѣждаютъ молодежь не торопиться ликвидировать прадѣдовское занятіе и идти въ поискахъ за счастіемъ на чужбину. Въ рѣчи этихъ стариковъ беллетристъ вкладываетъ столько задушевности, столько горячаго чувства, что не можетъ и сомнѣнія возникать, на чьей сторонѣ симпатіи автора. Вотъ, напримѣръ, предсмертное завѣщаніе, которое пишетъ панъ Янъ (повѣсть «Сизифъ») своимъ сыновьямъ: «Дѣти мои, когда эти слова дойдутъ до васъ, меня уже не будетъ въ живыхъ. Я чувствую, что приближается конецъ моей жизни, смертъ подходитъ скорѣе,

чѣмъ я думаю... Выслушайте голосъ изъ-за могилы и старайтесь сообразоваться съ нимъ, насколько это будетъ возможно. Любите другъ друга и идите рука объ руку, а если найдутся люди, достойные вашей дружбы и уваженія, сплотитесь съ ними, потому что сила въ единеніи. Любите другъ друга и трудитесь насколько возможно сообща. Для земледѣльца и для промышленника въ Ставискахъ (названіе имѣнія) представляется достаточное поприще дѣятельности. Стависки состоятъ во владѣніи нашей фамиліи болѣе двухсотъ лѣтъ; я желалъ бы, чтобы они оставались такъ и впредь. Это имѣніе когда-то было обширныхъ размѣровъ, но постепенно оно было обрѣзано. Дѣдъ мой имѣлъ много, отецъ меньше, а я еще меньше оставляю вамъ. Это сокращеніе, однако, произошло не по нашей винѣ, а по другимъ причинамъ... Я много вложилъ въ имѣніе—трудъ всей своей жизни; старайтесь же удержать его въ своихъ рукахъ, хоть бы цѣною дальнѣйшаго сокращенія его пространства. Есть обязанности, о которыхъ я не считаю нужнымъ напоминать вамъ. Убыль пространства старайтесь вознаградить трудомъ и умѣлымъ веденіемъ дѣла. Быть можетъ, вамъ будетъ легче, нежели мнѣ, а мнѣ приходилось очень трудно...» Да, очень трудно, объ этомъ свидѣтельствуетъ даже такой компетентный человѣкъ, какъ старикъ-еврей Манелесъ, причисляя пана Яна къ тому сорту людей, которые сдѣланы изъ твердой стали. Сошлемся также на пана Онуфрія—центральную фигуру захолустнаго шляхетскаго кружка, выведеннаго Юношей въ повѣсти «Утраченное счастіе». Его горячая проповѣдь дышетъ полной убѣжденностью, и можно быть увѣреннымъ, что если бы даже не наслѣдство, оставленное тетушкой Бѣдульской и такъ поправившее его дѣла, панъ Онуфрій ни за что не разстался бы съ роднымъ околоткомъ, несмотря на всѣ невзгоды.

— «Знаете ли, что я вамъ скажу, ксендзъ Андрей, — обратился однажды панъ Онуфрій къ своему другу, ксендзу Андрею,—нѣмцы вотъ говорятъ, что ubi bene, ibi patria, что значитъ: гдѣ деньги, тамъ лучше всего; но это сущая ложь.

— Въ какомъ смыслѣ вы это понимаете?—спросилъ пана Онуфрія его собесѣдникъ.

— А вотъ... посмотрите-ка вокругъ... Развѣ на свѣтѣ можетъ быть гдѣ-нибудь лучше и прекраснѣе, чѣмъ здѣсь, гдѣ мы родились, гдѣ мы живемъ и гдѣ, наконецъ, послѣ многихъ лѣтъ, Шимонъ зароетъ насъ въ землю?.. Гдѣ найдется лучшее сѣно, лучшая пшеница, вотъ такой усатый ячмень... гдѣ? Я спрашиваю васъ, можетъ ли гдѣ быть? Вы, пожалуй, станете говорить,—много краевъ вамъ пришлось повидать,—вы скажете, ксендзъ, что есть другія страны, прекрасныя, вызывающія восторгъ... Не спорю... Но развѣ можно къ нимъ такъ привязаться? Вѣдь вотъ я, когда пустился въ болѣе далекое путешествіе, чтобы получить наслѣдство послѣ скончавшейся Бѣдульской, — такъ сильно затосковалъ по моей Вулькѣ, что и сказать вамъ не умѣю...

— Вы—поэтъ, какъ я вижу, мой милый панъ Онуфрій.

— Нѣтъ... такъ себѣ... просто обыкновенный шляхтичъ...

— Ну, ну, не отпирайтесь, тутъ нечего стыдиться. Развѣ тутъ есть что-нибудь смѣшное, если кто-нибудь такъ сильно полюбилъ свое родное захолустье?

— Rura paterna! Да, rura paterna, — растроганно говорилъ панъ Онуфрій, — paterna, ксендзъ-пробощъ, что нужно перевести по-польски: черезполосица съ сервитутомъ! Бываютъ, бываютъ невзгоды, нечего скрывать, но съ черезполосицей ли, или безъ черезполосицы, съ сервитутомъ ли, или безъ сервитута, все-таки человѣкъ чувствуетъ себя тутъ своимъ, чувствуетъ себя дома! А, да что тутъ разсказывать! Вѣдь и вы привязались къ своей низенькой плебаніи, къ костелу, къ тому народу, который толпится, какъ только старый Шимонъ ударитъ въ колоколъ. Вы любите все это, хотя и притворяетесь равнодушнымъ! Любите, потому что вы плоть отъ плоти, кость отъ кости нашей... Поэтому и вы поэтъ, какимъ вы меня назвали. Такими ужъ мы, надо полагать, останемся usque ad finem, что значитъ: пока намъ глаза не закроютъ»...

Предвидя близкій крахъ шляхетскаго класса, съ которымъ отойдетъ въ вѣчность колоритная старина, Юноша съ особенной любовью останавливается на изображеніи тѣхъ цѣльныхъ, самобытныхъ характеровъ польскихъ, которые, подобно

зубрамъ, водящимся только въ Бѣловѣжской Пущѣ, встрѣчаются лишь въ глухихъ захолустьяхъ.

Въ изображенiи этого класса (изъ котораго вышелъ и онъ самъ) Юноша, на ряду съ комическими сценами, даетъ намъ цѣлый рядъ картинъ грустныхъ и трогательныхъ. Въ большинствѣ случаевъ темой разсказа является отчаянная борьба шляхтича, выбитаго изъ колеи нивѣсть откуда нахлынувшими экономическимм новшествами, за свой кровный кусокъ земли, къ которому онъ страстно привязанъ. Съ утра и до поздней ночи этотъ шляхтичъ хлопочетъ около родного пепелища, спасая достоянiе предковъ отъ молотка, кричитъ, проклинаетъ все и вся на свѣтѣ. Однимъ словомъ—несчастнѣйшiй человѣкъ съ виду. Не совсѣмъ такъ. Подойдетъ годикъ получше, выпадетъ урожай обильный, цѣны станутъ крѣпкiя, запируетъ околотокъ—морщины на лицѣ шляхтича распрямляются. Сосѣдъ позвалъ на семейное торжество—шляхтичъ забылъ всѣ невзгоды и тревоги; онъ одѣваетъ хорошiй сюртукъ варшавскаго покроя, на славу пляшетъ мазурку, ухаживаетъ за паненками съ мастерствомъ, которому можетъ позавидовать любой столичный щеголь, усы его ухарски закручены кверху, а бесѣда такъ и искрится остроумiемъ, подогрѣваемая то и дѣло осушаемой рюмкой хорошаго вина.

Мы, конечно, намѣтили только общiя черты типа. Изъ разновидностей его укажемъ особенно удавшуюся Юношѣ фигуру пана Онуфрiя (Stracone szczescie). Этотъ панъ, несмотря на немолодые годы и прескверныя обстоятельства, чувствуетъ себя всегда въ отличномъ настроенiи и считаетъ своимъ священнымъ долгомъ поддерживать бодрость духа у другихъ. Его рѣчь, всегда живая и веселая, пересыпается латинскими пословицами, которыя панъ Онуфрiй переводитъ на польскiй языкъ, заботясь при этомъ, какъ онъ самъ заявляетъ, не столько о буквальномъ смыслѣ, сколько о духѣ рѣчи. Заѣзжая къ своему прiятелю-ксендзу поболтать часикъ-другой, панъ Онуфрiй безъ дальнихъ околичностей заявляетъ, что теперь hora canonica, т. е. время, въ которое онъ обычно привыкъ что-нибудь выпить и закусить. Равнымъ образомъ,

заѣзжая по дорогѣ къ молодому помѣщику, живущему со своей сестрой, къ которой онъ питаетъ не только чувство доброжелательства, панъ Онуфрій заявляетъ, что онъ явился какъ servus et amicus, т. е. голоднымъ (поясняется тутъ же), какъ жидъ въ Судный день. Судья, пляшущій подъ дудку своей супруги, готовится уже крикнуть: «Quousque tandem, Catilina», т. е. въ переводѣ пана Онуфрія: не выдержу дальше! и т. д. Но подъ грубоватою наружностью пана Онуфрія кроется горячее сердце, и читатель впослѣдствіи убѣждается, что этотъ чудаковатый старичина гораздо дальновиднѣе, чѣмъ это казалось съ перваго взгляда. Само собою разумѣется, что панъ Онуфрій — фанатическій приверженецъ стараго уклада жизни и къ попыткамъ нѣкоторыхъ шляхтичей и сельскохозяйственную простоту соблюсти, и капиталецъ на фабричномъ производствѣ пріобрѣсти, относится съ горячимъ отрицаніемъ. «Боже милосердый, — восклицаетъ панъ Онуфрій, когда узнаетъ, что сосѣдъ затѣваетъ устроить фабрику.—Чего имъ недостаетъ? Имѣютъ прекрасную землю, которая даетъ вволю хлѣба, имѣютъ лѣса, луга, воды, чего только душенькѣ угодно; имѣютъ крестьянъ — рабочихъ, жидовъ полное мѣстечко, могли бы, кажется, жить-поживать, какъ жили дѣды и прадѣды... Такъ нѣтъ! Всегда имъ чего-то не хватаетъ, всегда капризъ какой-нибудь въ голову взбредетъ».. Но въ хозяйственной области онъ не прочь отъ нововведеній, и когда его упрекаютъ въ отсталости, панъ Онуфрій горячо протестуетъ. «Ввели вы многопольную систему — ввелъ и я ее у себя; стали вы сѣять клеверъ, окопали поля рвами — и у меня есть все это; лошадей я сталъ кормить морковью, вмѣсто пшеницы занялся культурой свекловицы... ну, теперь пощадите, это ужъ все, что я могъ на себѣ вынести. Юбокъ дѣлать не стану... Это сверхъ моихъ силъ... Я называюсь Онуфрій Врещъ, представляю изъ себя хлопотливаго шляхтича — владѣльца обремененнаго долгами имѣнія, но таковымъ и хочу остаться usque ad finem, что значитъ по-польски: пока меня дьяволъ не возьметъ». Очень похожъ на него (только безъ своеобразной латыни) панъ Фульгентъ Дидрейко. «Не кормили меня конфектами, — говоритъ этотъ грубоватый съ

виду шляхтичъ,—ѣлъ я черствый хлѣбъ и не разъ запивалъ его горькими слезами». Закаливши его натуру, невзгоды вмѣстѣ съ тѣмъ размягчили его душу: шляхтичъ беззавѣтно отдался заботамъ о чужой семьѣ и свято исполнилъ присягу, данную эмигрировавшему другу въ минуту разлуки.

Вообще, этихъ самородковъ Юноша рисуетъ мастерски, живо и ярко; весь складъ ихъ понятій ясенъ читателю, а бесѣдой можно заслушаться—не потому, чтобы она была очень умна и глубока, а просто вслѣдствіе ея оригинальности. Возьмемъ небольшой отрывокъ изъ разсказа «Хорошія вѣсти». Въ день именинъ дочери къ шляхтичу-помѣщику съѣзжается кружокъ друзей и сосѣдей. О чемъ поднимается разговоръ у чайнаго стола? Конечно, о томъ, что больше всего интересуетъ гостей — о цѣнахъ на хлѣбъ, о проясняющейся надеждѣ, что можно будетъ продать не въ убытокъ себѣ. Вѣсть эту объявляетъ одинъ изъ гостей, поясняя, что онъ вычиталъ ее изъ газетъ.

— Конъюнктуры... Я хорошо помню, что такъ напечатано... Конъюнктуры флюктуацій курсовъ, при эвентуальности меньшей фреквенціи въ импортѣ...

— Вотъ это вы прочли?

— Вотъ это именно, право, своими глазами прочелъ...

— Ну, и что жъ отсюда?

— А что же? Ясное дѣло, теперь будетъ полегче; вѣдь конъюнктуры флюктуацій... говорится тамъ... при эвентуальности...

— Чортъ бы меня побралъ, если я хоть одно слово тутъ понялъ...

— Вотъ еще, сосѣдъ, захотѣли! Вся мудрость газетныхъ разсужденій о политикѣ въ томъ именно и состоитъ, чтобы ничего въ нихъ нельзя было понять...

— Въ такомъ случаѣ откуда же у васъ, сосѣдъ, такіе утѣшительные выводы и надежды?

— Да потому, что дальше тамъ уже по-польски прибавлено, что цѣны пойдутъ въ гору.

Но тутъ вмѣшивается въ бесѣду старикъ, панъ Лукашъ, и заявляетъ, что онъ газетѣ не вѣритъ, но согласенъ съ тѣмъ, что цѣны пойдутъ въ гору.

— «Что мнѣ газета?—говоритъ онъ. Газета хлѣба не купитъ. А вотъ есть другіе признаки, указывающіе, что дѣйствительно наступаютъ лучшія времена, а эти признаки никогда не обманываютъ.

Всѣ, конечно, интересуются узнать, какіе такіе есть правдивые признаки скораго поднятія цѣнъ на хлѣбъ, и панъ Лукашъ начинаетъ разсказывать.

— Съ тѣхъ поръ, какъ я продаю хлѣбъ, — а продавать его мнѣ приходится уже не первый годъ, — я всегда наблюдаю, какимъ манеромъ носятъ шапки наши покупщики.

— Шапки?

— Да, именно шапки. Каждый еврей, а особенно тотъ, который ведетъ торговлю хлѣбомъ, имѣетъ двоякій способъ ношенія шапки, то-есть или надвигаетъ ее на глаза, или сдвигаетъ совсѣмъ на затылокъ, и это дѣлается сообразно съ цѣнами на хлѣбъ: если цѣны постепенно падаютъ, то шапка надвигается на глаза, такъ что, наконецъ, съѣзжаетъ къ самому носу. Наоборотъ, когда цѣны идутъ въ гору, шапка начинаетъ обратное путешествіе на головѣ, открываетъ лобъ и еле держится на макушкѣ. Можетъ быть, васъ это удивляетъ? Меня—нѣтъ, такъ какъ это вполнѣ естественная вещь. Ни одинъ изъ этихъ купцовъ не можетъ быть, собственно, названъ купцомъ, всѣ они — только посредники, поэтому для нихъ чѣмъ выше цѣны—тѣмъ лучше, такъ какъ они больше могутъ заработать. При этомъ они пускаются съ маленькими капиталами покупать хлѣбъ на корню; когда цѣны низки, они могутъ понести убытокъ, а къ тому же при низкихъ цѣнахъ и у насъ меньше охоты продавать, и обороты меньше, и процентъ фактора меньшій. Вотъ тогда, натурально, шапки надвигаются на глаза, на носъ, а огорченіе — на сердце. Въ противоположномъ же случаѣ шапки идутъ вверхъ».

Кромѣ такихъ характерныхъ признаковъ, по которымъ можно опредѣлить колебаніе хлѣбныхъ цѣнъ, у пана Лукаша есть своеобразные «политическіе барометры», по которымъ онъ предугадываетъ перемѣны политической погоды. Такимъ барометромъ является для него тотъ или другой спросъ на

горохъ, и въ настоящемъ случаѣ панъ Лукашъ заявляетъ, что нужно ждать важныхъ политическихъ событій, такъ какъ нѣмцы сильно интересуются горохомъ и предлагаютъ за него хорошія цѣны. Слушатели опять въ недоумѣніи, какая можетъ быть связь между политикой и горохомъ, и панъ Лукашъ объясняетъ:

— «Припомните-ка 1870-ый годъ, — говоритъ онъ, — который такъ богатъ былъ самыми неожиданными стеченіями обстоятельствъ. Французы тогда потому именно и потерпѣли аварію, что нѣмцы вели политику съ горохомъ, а Наполеонъ безъ гороху. Спросите умнѣйшихъ публицистовъ и государственныхъ людей: что было причиной прусскихъ тріумфовъ? Вы думаете — хорошая организація арміи? Талантливость полководцевъ? Вовсе нѣтъ. Гороховая колбаса одержала побѣду, вотъ оно что, колбаса»!

Знакомясь по произведеніямъ Юноши съ этимъ любопытнымъ міркомъ захолустной шляхты, нельзя не обратить вниманія на одну весьма характерную черту, которая очень рѣзко выдѣляетъ ее въ ряду сборнаго класса землевладѣльцевъ. Что такое землевладѣлецъ новѣйшей формаціи? Это — тотъ же промышленникъ, заботящійся только о поднятіи доходности того промысла, въ который имъ вложенъ капиталъ, интересующійся только размѣрами получаемыхъ прибылей, а во всемъ остальномъ достаточно къ нему равнодушный. Если ему представится новый, болѣе выгодный родъ занятій, онъ безъ сожалѣнія ликвидируетъ свое земледѣльческое хозяйство и направляетъ капиталъ въ ту область, которая сулитъ побольше прибылей. Для землевладѣльца этого типа, какъ говоритъ панъ Онуфрій, ubi bene, ibi patria, — гдѣ денегъ побольше, тамъ и родина; ему все равно — земля ли, скотобойня ли, скупка старья или акціонерная компанія для организаціи ассенизаціонныхъ работъ — лишь бы капиталъ хорошій процентъ приносилъ. Землевладѣлецъ-шляхтичъ не таковъ. Для него земля — родная стихія, воздухъ, которымъ онъ дышитъ и безъ котораго онъ осужденъ на гибель. Если землевладѣльца новой формаціи можно сравнить съ водолазомъ, который опускается въ воду только потому, что ищетъ

«добраго бисера», и спѣшитъ оставить ее, какъ только этотъ бисеръ очутится въ его рукахъ, — шляхтича можно сравнить съ рыбой, которая только въ водѣ и можетъ жить, а будучи выброшена на берегъ, треплется, бѣдняжка, въ предсмертныхъ судорогахъ. Истаго шляхтича вы не прельстите никакими барышами, чтобы онъ добровольно промѣнялъ свое занятіе на другое; онъ будетъ держаться земли до послѣдней возможности, получая два процента, процентъ, даже полъ-процента, наконецъ, довольствуясь только прокормленіемъ себя и своей семьи. Земля ему милѣе, чѣмъ блескъ золота, и только судебный приставъ можетъ заставить шляхтича обратить свои затуманенные печалью глаза куда-нибудь иначе.

Эта исконная, вѣками закрѣпленная связь шляхтича съ землей главнымъ образомъ и служила почвой, на которой выросла польская культура, создались ея своеобразные оттѣнки. Носительница этой культуры—шляхта инстинктивно чувствуетъ, что связь эта постепенно порывается, что культурѣ польской грозитъ опасность быть погребенной, если рушится шляхетскій классъ, и потому изъ послѣднихъ силъ старается бороться, даетъ отпоръ тѣмъ факторамъ, которые разрушительно вліяютъ на существовавшій доселѣ порядокъ. Въ «Сизифѣ» Юноша далъ ярко-нарисованную картину тѣхъ нечеловѣческихъ усилій, которыя принужденъ дѣлать шляхтичъ-землевладѣлецъ, чтобы удержаться на клочкѣ земли, которымъ онъ дорожитъ, какъ завѣтомъ предковъ. Шляхта изнемогаетъ въ этой борьбѣ, и неизбѣжнымъ представляется вопросъ: удастся ли ей выйти побѣдительницей, или же суждено постепенно сойти со сцены и раствориться въ другихъ классахъ общества? Это — вопросъ огромнаго общественнаго значенія для поляковъ, гораздо болѣе серіозный, чѣмъ всякія мелкія интриги галицкихъ и познанскихъ польскихъ клубовъ, которыя пользуются такимъ вниманіемъ польской прессы, и за повѣстями Юноши, гдѣ этотъ вопросъ поставленъ въ его натуральную величину, нельзя не признать извѣстнаго общественнаго значенія. Беллетристъ, правда, не берется за рѣшеніе этого вопроса; ему хочется вѣрить, что столь милая его сердцу шляхта «не сгинѣла» и не сгинетъ,

но утверждать это съ непоколебимымъ убѣжденіемъ онъ не рѣшается. Да это, впрочемъ, и не дѣло беллетриста.

Постоянно имѣя дѣло съ «загоновой» шляхтой, Юноша, конечно, долженъ былъ хорошо изучить и типичную фигуру польскаго еврея-фактора, безъ котораго всякій шляхтичъ не можетъ ступить и шагу. Юноша перебралъ много разновидностей этого типа, и, нужно отдать справедливость беллетристу, всѣ вышли у него одна другой лучше, одна другой живѣе. Нужно замѣтить, что Юноша вовсе не склоненъ хотя бы къ малѣйшей идеализаціи евреевъ; но въ равной степени у него нѣтъ ни малѣйшаго стремленія сгущать краски или произвольно накладывать тѣни. Оттого-то его фигуры такъ ярки и такъ правдивы. Беллетристъ не утаитъ ни одной плутни своего героя, выложитъ всѣ не совсѣмъ чистые его разсчеты и помышленія, и все-таки его еврей — всего только еврей, а не извергъ рода человѣческаго. Юноша описываетъ человѣка, какъ онъ есть, не прикидывая къ нему особенной мѣрки, смотритъ простымъ глазомъ, а не сквозь увеличительное стекло. Даже если это такой несчастный бѣднякъ, какъ напр., «портной» Юдка Зильберкноперъ, и тутъ Юноша останется вѣренъ себѣ: онъ не будетъ проливать надъ нимъ чернильныхъ слезъ, не станетъ набирать жалкихъ словъ, чтобы вызвать сочувствіе читателя къ герою. Онъ со свойственнымъ ему юморомъ разскажетъ сѣренькую жизнь этого человѣка, и этотъ прямодушный разсказъ вѣрнѣе достигнетъ цѣли, чѣмъ самый искусный подборъ трескучихъ фразъ: мы увѣрены, что даже непримиримый врагъ евреевъ не найдетъ въ себѣ другого чувства къ портному Юдкѣ, кромѣ жалости. Достаточно взять слѣдующую картину.

Портной Юдка, послѣ всевозможныхъ неудачъ, сраженный въ конецъ конкурренціей появившагося въ мѣстечкѣ «петербургскаго» портного, принужденъ былъ съ мѣшкомъ на плечахъ переходить отъ деревни къ деревнѣ, отыскивая работу у захолустной шляхты. Разсказъ застаетъ его работающимъ въ одну изъ такихъ экскурсій у мелкопомѣстнаго шляхтича пана Онуфрія. «Въ теченіе нѣсколькихъ дней онъ успѣлъ уже сшить прекрасный салопъ для пани Онуфріевой, пере-

дѣлалъ изъ стараго сюртука кафтанъ паннѣ Бригитѣ, починилъ значительное количество разнаго рода платья и теперь оканчивалъ пальто для самого пана Онуфрія, долженствующее достойнымъ образомъ увѣнчать его труды. За все это въ совокупности Юдка долженъ былъ получить, кромѣ воза дровъ и припасовъ натурой, которые панъ Онуфрій обѣщалъ доставить собственными лошадьми, наличными четыре рубля. Пальто нужно окончить къ сроку—и Юдка бодрствуетъ четвертую ночь къ ряду.

Передъ нимъ на столѣ лежатъ ножницы, горсть пуговицъ, мотка два нитокъ, кусочекъ налѣпленнаго на дощечку воска и берестяная табакерка съ ремешкомъ, наполненная зеленымъ русскимъ табакомъ. По временамъ, когда слезы застилаютъ ему глаза и отяжелѣвшія вѣки безсильно опускаются на глаза, худые пальцы Юдки извлекаютъ изъ табакерки понюшку зеленаго табаку, и бодрость снова возвращается къ нему на время. На глаза навернутся слезы покрупнѣе, смоютъ съ нихъ застилающую ихъ пелену, и они снова быстрѣе слѣдятъ за стежками иглы, шьющей варшавское «файнъ» пальто съ такимъ большимъ воротникомъ, какого не носилъ и самъ сіятельный графъ.

Кромѣ табакерки, на столѣ стоитъ еще бутылочка водки, кусокъ хлѣба, двѣ луковицы и щепотка соли въ бумажкѣ; но Юдка человѣкъ практическій: онъ не станетъ теперь пить водку и ѣсть лукъ, ибо хорошо знаетъ, что часа черезъ два, когда онъ будетъ уже вшивать рукава, а тамъ, на востокѣ, между небомъ и землей, появится блѣдная полоса, а на деревнѣ пропоютъ третьи пѣтухи,—ему что-то нехорошо сдѣлается около сердца...

У него сдѣлается тогда такая страшная слабость, что онъ чуть со стула не упадетъ; въ глазахъ пойдутъ мерцающіе круги, очень красивые круги, красные, зеленые, голубые, золотые, черные съ золотыми пятнышками, а подъ конецъ совершенно черные, они начнутъ быстро соединяться и сольются въ сплошное черное пятно.

Легкая дрожь пробѣжитъ у него тогда по спинѣ, на лбу выступятъ крупныя капли пота, впалая грудь начнетъ тя-

жело работать — и придетъ такая минута, когда ему покажется, что Іегова совершенно обѣднѣлъ и имѣетъ только самую малость воздуха и то, разумѣется, только для богатыхъ евреевъ...

Тогда Юдка встанетъ, выпрямится, смочитъ водою виски, вымоетъ руки, повернетъ голову туда, гдѣ золотистая полоса уже отчетливо отдѣляетъ небо отъ земли, — и сотворитъ краткую молитву.

Затѣмъ Юдка уже съ чистою совѣстью выльетъ нѣсколько капель водки на полъ, а остальное выпьетъ медленно, наслаждаясь каждою каплей напитка, который сразу сообщаетъ живительную теплоту его озябшему, потрясенному ознобомъ организму.

Выпивши водку, онъ съѣстъ маленькій кусочекъ хлѣба съ большимъ количествомъ соли и луковицу, но только одну, потому что такія луковицы не часто попадаются — большія, плоскія, свѣтло-красноватыя съ серебристымъ отливомъ, — такія луковицы могутъ быть истиннымъ украшеніемъ субботней трапезы. По этой причинѣ одна изъ нихъ припрятывается въ запасъ въ глубочайшемъ карманѣ его потертаго халата.

Подкрѣпившись такимъ образомъ, съ красными глазами, съ искусственно вызваннымъ оживленіемъ, Юдка подуетъ въ огонь и помѣститъ въ каминѣ два утюга съ обвязанными тряпьемъ ручками, черные какъ его неприглядная жизнь, и твердые какъ неумолимая необходимость, которая гнетъ его къ землѣ и украшаетъ бороду преждевременною сѣдиной.»

Юдка работалъ всю ночь. Утромъ, проснувшись, хозяйка замѣтила:

— Ишь ты, какой жадный жидъ: все еще сидитъ!

— Бѣднякъ, сударыня, всегда очень жаденъ, — отвѣтилъ Юдка, — но именно поэтому баринъ будетъ одѣтъ на «одпустѣ», какъ самъ сіятельный графъ изъ Вывлоки.

Работа была окончена и Юдка отправился во-свояси, взваливъ на плечи подаренный ему паномъ мѣшокъ картофеля. Ноша эта оказалась непосильной для изнуреннаго

портного. Онъ прилегъ въ полѣ отдохнуть и едва не проспалъ «шабасъ». Къ счастію, по дорогѣ ѣхалъ знакомый шляхтичъ и свезъ его въ мѣстечко. «Часа два спустя Юдка сидѣлъ дома за столомъ; на немъ былъ новый халатъ и остроконечная мѣховая шапка. Бейла, нарядившаяся въ какой-то удивительнѣйшій чепецъ съ цвѣтами и желтыми лентами, клала въ тарелку своего супруга и повелителя кусокъ рыбы, сильно приправленной разнаго рода пряностями. Супругъ же, повелитель и глава своей семьи, размышлялъ о томъ, какъ прекрасенъ этотъ міръ, какъ вкусенъ цимесъ, какъ хороша жизнь и благословенна суббота!» Такимъ примиряющимъ аккордомъ заключаетъ Юноша свой грустный разсказъ о Юдкѣ портномъ.

Всѣ эти Янкели, Ицки, Мордки, Борухи являются лучшимъ созданіемъ творчества Юноши, шедеврами его художественной кисти. Говорятъ, Юноша спеціально изучалъ еврейскій жаргонъ и не мало времени сидѣлъ за талмудомъ. И несомнѣнно, что среди польскихъ беллетристовъ Юноша не имѣетъ соперниковъ въ изображеніи польскаго еврея, этого истиннаго философа деревни, смѣшного въ своей одеждѣ и своихъ движеніяхъ, посвятившаго всего себя ловлѣ гроша и при томъ зачастую въ мутной водѣ, взболтанной его же усиліями, неохотно берущагося за какой бы то ни было трудъ и любящаго пожинать лишь плоды чужой работы. Юноша цѣликомъ пересадилъ его на страницы своихъ разсказовъ съ его лапсердакомъ, пейсами, убогой кибиткой и заморенной лошадкой, съ его своеобразнымъ остроуміемъ въ рѣчахъ и неизмѣннымъ своекорыстіемъ въ мысляхъ.

Несмотря на всю свою неприглядность, типъ этотъ не вызываетъ въ читателѣ ни злобы, ни отвращенія, а скорѣе какую-то жалость. Неимовѣрныя усилія Ицокъ въ существѣ дѣла ведутъ къ мизернымъ результатамъ; ихъ жалобы на трудныя времена — не одинъ только звукъ пустой. «Тутъ немножко, тамъ немножко» — и все-таки получаются ничтожные гроши, которые даютъ возможность существовать лишь съ бѣдой пополамъ. Извѣстно, какъ скромны они въ своихъ жизненныхъ потребностяхъ, — и этому причиной служитъ не

одна только скупость. Приходится напрягать изобрѣтательность, потому что добывать грошъ становится все труднѣе и труднѣе.

Жизнь его вся сплетена изъ хлопотъ. Но пусть лучше намъ разскажетъ объ этомъ самъ Юноша.

«Мордка Буттерглянцъ имѣлъ привычку вечерами сиживать около своего дома на колодѣ и предавался размышленіямъ.

Никто ему не мѣшалъ. Мордкова занята была разливаніемъ молока по разнымъ сосудамъ; дѣти играли на дорогѣ, за огородомъ; парни и кучера разносили скоту кормъ по фольварку. Наступалъ вечеръ, все стихало, лишь издалека доносились звуки крестьянской пѣсни, но это нисколько не служило помѣхой.

Кто-то напѣваетъ — пускай себѣ напѣваетъ; плачетъ — пускай себѣ плачетъ; для Мордки это не имѣетъ значенія, такъ какъ нисколько не задѣваетъ его интересовъ. Наконецъ, взять вообще, если у кого есть свои счеты, свои мысли — какое ему дѣло до чужого настроенія?

Вечеръ есть самая удобная пора для размышленія, такъ какъ является заключеніемъ дня; память мыслящаго человѣка пробѣгаетъ череду уплывшихъ часовъ, подсчитываетъ принесенные ими барыши, исключаетъ потери и выводитъ результатъ.

Мордка вспоминаетъ, какимъ образомъ онъ провелъ день... Всталъ утромъ въ шестомъ часу: что дѣлалъ, послѣ того какъ всталъ? Немножко потягивался, немножко позѣвывалъ, даже долго позѣвывалъ, но это въ счетъ не идетъ.

Потомъ умылъ руки, проговорилъ короткую молитву, пошелъ въ село. Тамъ случилось ему купить теленка. Это хорошій товаръ.

Потомъ Мордка притащилъ теленка домой, прочелъ установленныя молитвы, скушалъ завтракъ, запрягъ въ возокъ коня, взялъ теленка, нѣсколько сыру, пару фунтовъ кошернаго масла и поѣхалъ въ мѣстечко. По дорогѣ заѣхалъ въ дворикъ спросить, не нужно ли сдѣлать какихъ-нибудь закупокъ. Акуратъ было нужно.

Два часа спустя послѣ этого онъ былъ у цѣли путешествія, распродалъ свои продукты, на теленкѣ рубль заработалъ, сдѣлалъ закупки, на чемъ тоже не потерялъ, разспросилъ, что слышно въ свѣтѣ, присутствовалъ при жаркомъ спорѣ на рынкѣ, видѣлъ фальшивый пятачекъ, занотовалъ въ памяти рыночныя цѣны на хлѣба, нашелъ товарища для покупки двадцати четырехъ гусей, купилъ для семьи немного кренделей и двѣ селедки, для себя пачку табаку, на всякій случай два гарнца водки, случайно подвернувшіяся нѣсколько сотъ папиросъ, а также коробочку конфектъ.

Потомъ обдумалъ, не забылъ ли чего-нибудь, напоилъ лошадь, чтобы придать ей силъ для бѣга, уложилъ покупки на возу, взялъ двухъ попутчиковъ, которые тутъ случились, и поѣхалъ въ обратный путь въ Рудавку». (Powtorne zycie).

Какъ видитъ читатель, чтобы заработать рубль на теленкѣ, Мордкѣ пришлось встать очень рано, не поѣвши бѣжать въ село, а затѣмъ совершить путешествіе въ ближайшее мѣстечко.

Самое же главное, почему рисуемый Юношей типъ еврея не вызываетъ отвращенія — это то, что онъ самъ, этотъ еврей, какъ будто уже помирился съ этой ролью паріи, надъ которымъ всѣ потѣшаются, отъ котораго рады отвернуться, хотя сплошь да рядомъ приходится прибѣгать къ его услугамъ. Имѣетъ свое значеніе и то обстоятельство, что и самъ беллетристъ хотя изображаетъ этотъ типъ во всей неприглядной правдѣ, но безъ преувеличенія тѣневыхъ сторонъ; можетъ быть, самая манера письма Юноши, мягкая и незлобивая, миритъ читателя съ отрицательными сторонами этого типа. Лишь въ одномъ случаѣ въ голосѣ беллетриста послышались гнѣвъ и негодованіе: это—въ разсказѣ «Pająki» (Пауки), гдѣ Юноша знакомитъ насъ съ безчеловѣчной системой варшавскихъ ростовщиковъ. Въ общемъ слѣдуетъ признать, что Юноша одинъ только въ средѣ польскихъ беллетристовъ нарисовалъ правдивый типъ польскаго еврея, безъ тенденціи въ ту или другую сторону. Въ то время, какъ Оржешко и Балуцкій идеализировали представителей

этой расы, а Северъ издѣвался надъ ними. Юноша, не проливая сантиментальныхъ слезъ и не разжигаясь ненавистью, провелъ предъ читателемъ цѣлую вереницу живыхъ людей, начиная отъ ученаго меламеда и кончая доморощеннымъ фельдшеромъ Ицкомъ Гармидеромъ.

Мы дополнимъ эту галлерею однимъ типомъ, нѣсколько непохожимъ на прежніе, рѣдкимъ среди еврейскаго племени, но несомнѣнно правдивымъ. Это—старый Вигдоръ Манелесъ.

Въ молодости онъ велъ торговлю, занимался разными спекуляціями, нажилъ состояніе, быть можетъ, и не безъ грѣшка. Теперь Манелесъ никакими дѣлами не занимается, все передалъ сыну (котораго, несмотря на сѣдую бороду и кучу внучатъ, всѣ зовутъ, однако, «молодымъ Манелесомъ»), а самъ отдыхаетъ, съ утра до вечера сидитъ надъ фоліантами Талмуда, читаетъ и думаетъ, думаетъ и читаетъ. Онъ пользуется общимъ уваженіемъ въ мѣстечкѣ. Любитъ побесѣдовать и особенно охотно дѣлится своими мыслями съ докторомъ Дитто, который навѣщаетъ прихварывающаго старика. Вотъ эти-то бесѣды, ярко характеризующія міровоззрѣніе этого умнаго еврея, складъ его понятій, выводы громаднаго опыта жизни, особенно и интересны. По всякому вопросу, какого бы ни коснуться, у Манелеса есть свое собственное мнѣніе — не на прокатъ отъ кого-либо взятое, не на вѣру принятое, а продуманное, провѣренное опытомъ жизни, всегда оригинальное и при томъ облеченное въ колоритную форму.

Прежде всего Манелесъ держится того убѣжденія, что міръ вовсе не совершенствуется; напротивъ, все идетъ къ упадку, изъ лучшаго становится худшимъ. Этой общей участи не избѣжали между прочимъ и евреи, что очень огорчаетъ Манелеса. «Прежде говорили, что евреи—мошенники, и въ этомъ было очень мало правды, а теперь въ этомъ есть много правды; если же дѣло пойдетъ и дальше такъ, какъ теперь, то со временемъ это будетъ истинная правда».

— Вы видѣли когда-нибудь волка?—спрашиваетъ доктора Манелесъ.

— И не разъ, даже случилось убить нѣсколькихъ собственноручно, — отвѣчаетъ докторъ.

— Вамъ, значитъ, извѣстно, что это злой звѣрь, большой хищникъ, ему непремѣнно нужна горячая кровь, живая тварь, въ зубахъ своихъ онъ носитъ смерть.

— Это правда.

— Теперь скажите мнѣ, сколько такому волку нужно съѣсть въ день барановъ, чтобы вполнѣ удовлетворить свой голодъ?

— Я думаю, что одного вполнѣ достаточно.

— Хорошо, пусть будетъ — одного. А видѣли ли вы такого волка, который могъ бы съѣсть десять или сто барановъ въ день?

— Вы шутите!

— Нѣтъ, я только спрашиваю, видѣли ли вы?

— Нѣтъ, не видѣлъ.

— Отсюда, значитъ, можно заключить, что волкъ, когда съѣстъ барана, когда успокоилъ голодъ, уже сытъ? Совершенно сытъ?

— Пожалуй, такъ...

— А скажите же мнѣ теперь, видѣли ли вы когда-нибудь сытаго человѣка?»

Эту ненасытность Манелесъ осуждаетъ не только потому, что она безчеловѣчна, но также потому, что она неразсчетлива. Когда сынъ его потребовалъ съ шляхтича, обратившагося къ нему за кредитомъ, ни на что не похожій процентъ, старый Манелесъ обозвалъ сына бараномъ и теленкомъ и такъ растолковалъ ему всю невыгодность ростовщическаго процента: «Если ты имѣешь лошадь, хорошую лошадь, которая можетъ долгіе годы работать, возя по двадцати пудовъ, сталъ ли бы ты заставлять ее возить двѣсти пудовъ? Нѣтъ, потому что лошадь пала бы. Зачѣмъ же ты хочешь, чтобы человѣкъ палъ, если ты можешь имѣть съ него вѣрную и многолѣтнюю корысть? Гдѣ твой умъ? Гдѣ твой разсчетъ?» Вооружаясь противъ подобныхъ пріемовъ наживы, Манелесъ иронизируетъ надъ практикующими ихъ торговцами, говоря, что у нихъ тѣло живетъ, а голова умер-

ла, что душа у нихъ сидитъ въ пальцахъ, а мозгъ въ карманѣ.

Нужно еще замѣтить, что старый Манелесъ, кромѣ ума, обладалъ добрымъ сердцемъ и, если вѣрить Юношѣ, — былъ другомъ и заступникомъ всѣхъ бѣдняковъ. Не удивительно поэтому, что когда Манелесъ отошелъ къ Аврааму, то въ мѣстечкѣ поднялись «плачъ, и рыданіе, и вопль многъ» и на похороны его собралось все населеніе. Докторъ Дитто, поинтересовавшійся знать причину такой широкой популярности покойнаго, выслушалъ слѣдующее объясненіе отъ какого-то словоохотливаго портного: «Бываютъ на свѣтѣ всякіе евреи: богатые, бѣдные, такіе, иные... благотворители, справедливые, но такихъ, какъ старый Манелесъ, теперь уже нѣтъ. Онъ былъ послѣдній... Онъ происходилъ изъ того рода, который уже не возродится, изъ тѣхъ людей, подобныхъ которымъ уже не будетъ; принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые были добрыми, не очень корыстными, не жадными; справедливость передъ нимъ ходила... а онъ шелъ за справедливостью. Если бы у живого человѣка отнять глазъ, отнять оба глаза, отнять голову — это было бы то же самое, что у нашего мѣстечка отнять стараго Манелеса....»

Что касается польскаго крестьянина, выступающаго въ произведеніяхъ Юноши эпизодически, то онъ вышелъ у беллетриста менѣе удачнымъ и типическимъ, чѣмъ шляхтичъ и еврей. Попытки идеализаціи представляются нѣсколько слащавыми и не вполнѣ правдоподобными. Для примѣра возьмемъ сценку, какъ Янкель Пацановеръ склоняетъ Мартина Гайду вступить съ нимъ въ выгодную сдѣлку. Дѣло въ томъ, что помѣщикъ въ силу обстоятельствъ (дѣло идетъ какъ разъ послѣ 1863 г) былъ вынужденъ эмигрировать за границу. Жена его съ тремя маленькими дѣтьми осталась въ безпомощномъ положеніи, осаждаемая кредиторами. Отъ разоренія спасаетъ только давній другъ ея мужа, Фульгентъ Дидрейко, своими совѣтами и помощью; но дѣло все-таки плохо,—какъ слышно, имѣніе назначено въ продажу съ молотка.

Янкель Пацановеръ, мѣстный шинкарь, не хочетъ упустить такой удобный случай и уговариваетъ богатаго крестья-

нина, Мартина Гайду, купить пополамъ съ нимъ имѣніе. «Купимте пополамъ, вы сейчасъ дадите денегъ, я дамъ немного послѣ. Выгодное дѣло! Я предоставлю вамъ всѣ поля, а себѣ возьму только немножечко —лѣсъ, мельницу и право пропинаціи. Остальное будетъ ваше, все равно, что находка... почти задаромъ будетъ ваше!» Но благородный хлопъ не поддается на удочку, его озабочиваетъ вопросъ, куда дѣнутся «они», бездомные и почти осиротѣлые. Янкель выступаетъ противъ этихъ сомнѣній во всеоружіи своей гибкой софистики:

«Какіе «они»? Гдѣ это «они»? «Ихъ» ужъ и нѣтъ совсѣмъ! Вотъ погодите, я вамъ посчитаю сію минуту, какъ на бумагѣ. Сколько ихъ было? И всего-то шесть, ну вотъ, смотрите, я пишу здѣсь на стѣнѣ шесть черточекъ. Одна, двѣ... шесть. Видите: шесть.

— Это правда: шесть.

— Первая черточка — это помѣщикъ. Да гдѣ онъ? Его нѣтъ.

— Неправда, онъ за границей, или гдѣ-то тамъ себѣ за моремъ.

— Ну такъ идите за нимъ и принесите его оттуда на своихъ плечахъ. Ха! ха! Вы знаете, гдѣ онъ теперь? Наши жидки разсказывали, что онъ потащился за Варшаву въ самую Америку и что онъ тамъ, въ этой Америкѣ, сторожемъ служитъ. Ну, теперь глядите, помѣщика вонъ! Сотру одну черточку. Теперь уже только пять!

— Пять,—повторилъ хлопъ.

— Теперь помѣщица, ее также какъ бы и не было!..

— Когда же она есть, хвала Богу.

— Погодите, не будьте такими быстрыми. Во-первыхъ, женщина считается только за половину человѣка, стало быть, можно полъ-черточки смазать; а во-вторыхъ, скажите мнѣ, развѣ половину человѣка можно считать за цѣлаго человѣка? Развѣ за полъ-рубля кто-нибудь дастъ полный рубль? Развѣ за полъ-копѣйки можно купить цѣлый крендель? Ну-ка, теперь скажите, есть ли она, или ея ужъ нѣтъ.

— Га! Теперь, конечно, уже нѣтъ.

— Ну, вотъ и вторая черточка долой; остается трое дѣтой; ихъ не стоитъ даже и въ счетъ принимать. Ихъ возьмутъ родные, дадутъ имъ воспитаніе, и они сдѣлаются панами. Зачѣмъ имъ имѣніе? А для насъ нужно имѣніе. Теперь осталась только одна черточка. Это никто другой, какъ только ихъ старый пріятель, который привыкъ всегда совать свой носъ во всякое дѣло. Я поставилъ его такъ только изъ милости, ибо что онъ значитъ? Во-первыхъ, онъ уже старъ, можетъ не нынче—завтра ganc git gesztorben, вотъ его и не будетъ; во-вторыхъ, у него есть деньги, которыхъ хватитъ ему до смерти, а потому и его можно счеркнуть. А теперь смотрите на стѣну: было ихъ шесть, а гдѣ они теперь? Надъ кѣмъ вы хотите сжалиться, когда я показалъ вамъ, какъ на ладони, что ихъ уже нѣтъ.

Хлопъ взялъ жида за руку, и показывая на пальцы, на которыхъ остался мѣлъ, сказалъ:

— Вотъ, видишь, скотина, нехристь, смотри, всѣ они до одного тутъ, остались на твоемъ пальцѣ, какъ осталась на немъ не одна крестьянская скотинка, всѣ они здѣсь, всѣ тутъ сидятъ.

— Ой-вай! Немножко мыла и немножко обыкновенной воды—и рука будетъ чиста какъ янтарь.

— Совѣсти своей не отмоешь! («Na zgliszczach»).

Исторія заканчивается тѣмъ, что Гайда перехитрилъ искушеннаго во всякой хитрости шинкаря: сговорившись съ односельчанами, онъ купилъ у помѣщицы часть луга и пустошь и помогъ ей оправиться.

Все это очень хорошо, да только рѣдко такъ бываетъ въ жизни. Польскій хлопъ, конечно, не лишенъ добрыхъ свойствъ, но они у него въ самомъ зачаточномъ состояніи, и надѣлять его чувствами героическими нѣсколько преждевременно. Типичнѣе другихъ фигуры, выведенныя въ маленькихъ разсказахъ («Монологахъ»), — напримѣръ «Мартинъ Бадыль», забавно разсказывающій на судѣ, какъ онъ побѣдилъ цѣлую толпу евреевъ во время драки въ корчмѣ, или «Хлопъ на всѣ руки», всю свою жизнь проводящій въ наемныхъ работникахъ у разныхъ пановъ, прошедшій всѣ спеціальности

услуженія и однажды исполнявшій обязанности скотницы, кухарки и горничной вмѣстѣ. Въ оправданіе Юно́ши можно сказать, что фигура хлопа — слабый пунктъ польской беллетристики. Очень долгое время она считала ниже своего достоинства даже спускаться въ эту низкую среду. Лишь съ сравнительно недавняго времени крестьянинъ появился на страницахъ польской повѣсти, но все еще онъ—рѣдкій гость, почему и въ обхожденіи съ нимъ чувствуется нѣкоторая принужденность, неловкость.

Заслуживаетъ упоминанія тонъ повѣствованія Юноши— элегическій, проникнутый тихой грустью, точно беллетристъ описывалъ не современную жизнь, а вызывалъ въ памяти милыя картины прошлаго, точно его всегда преслѣдовала мысль—finis Poloniae, конечно, не политической, а бытовой, которая всегда живучѣе первой. Беллетристъ бросаетъ словно прощальный взглядъ на эту догорающую жизнь, вспыхивающую неровнымъ, трепетнымъ, слабѣющимъ огонькомъ...

Михаилъ Балуцкій.

Самоубійство Балуцкаго поразило всѣхъ. Контрастъ слишкомъ рѣзкій, чтобы не броситься сразу же въ глаза: раскатистый, заразительный, нерѣдко чисто утробный хохотъ, неизмѣнно потрясавшій зрительный залъ при представленіи пьесъ Балуцкаго, и—глухой револьверный выстрѣлъ, которымъ покончилъ съ собою авторъ позднимъ вечеромъ (4—17 октября 1901 г.) въ прилегающей къ Кракову аллеѣ. Написавъ около тридцати комедій, разсчитанныхъ только на забаву и потѣху зрителей, и издавъ тринадцать томовъ беллетристическихъ произведеній, отличающихся очень бодрымъ настроеніемъ съ оттѣнкомъ смѣшливости, Балуцкій заканчиваетъ свою литературную дѣятельность драмой безъ словъ, въ которой въ первый и послѣдній разъ прибѣгаетъ къ пріему развязки, очень избитому въ драмахъ, но всегда страшному и загадочному въ жизни.

Занавѣсъ упалъ, но публика не расходится, потрясенная случившимся; слышенъ сдержанный шумъ, толкуютъ о причинахъ, которыя могли вызвать этотъ трагическій конецъ.

Большинство голосовъ сходится въ томъ, что на такой исходъ могли оказать вліяніе неудачи, которыя съ какимъ-то неумолимымъ упорствомъ преслѣдовали Балуцкаго въ послѣдніе годы его жизни. Лѣтъ девять назадъ онъ перестрадалъ какою-то болѣзнью мозга, ослабившей экспрессію его творческихъ силъ. Все, что̀ выходило изъ-подъ пера его въ

дальнѣйшій періодъ литературной дѣятельности, было гораздо слабѣе предшествующихъ произведеній, вновь выпускаемые беллетристическіе сборники проходили незамѣченными, пьесы не удерживались въ репертуарѣ, да и ставились будто бы ради прежняго блеска авторской фирмы. Значительную дозу горечи,—продолжаютъ далѣе,—должна была влить въ душу Балуцкаго кампанія, предпринятая противъ него какимъ-то фельетонистомъ на страницахъ краковскаго «Czas»'а и оттуда перенесенная въ другую газету. Кампанія эта превратилась потомъ въ настоящую травлю, такъ что даже вызвала протестъ со стороны другихъ краковскихъ изданій. Въ душѣ писателя накоплялось чувство обиды, росло недовольство собой, и, наконецъ, безумная жажда протеста противъ сыпавшихся отовсюду ударовъ и уколовъ нашла свой выходъ въ этомъ печальномъ финалѣ. Таковъ былъ основной мотивъ того хора пустыхъ похвалъ и слезъ ненужныхъ, который, какъ это и всегда бываетъ, прозвучалъ у свѣже вырытой могилы писателя. При этомъ нѣкоторыя газеты нашли здѣсь подходящій случай, бія себя въ грудь въ благородномъ негодованіи, прочесть довольно бранчивую филиппику по адресу всѣхъ тѣхъ, на кого сгоряча свалена была вся вина. «Курьеръ Варшавскій», упоминая о преслѣдованіи Балуцкаго театральнымъ обозрѣвателемъ краковскаго «Часа», характеризуетъ такое отношеніе къ писателю слѣдующимъ далекимъ отъ приличія сравненіемъ: «писатель ослабѣлъ, смѣхъ измѣнилъ ему, угасла творческая искра, ну, значитъ, пора спустить собакъ съ цѣпи и выгнать его изъ литературы».

Такъ судила да рядила улица, въ порывѣ охватившаго ее инстинктивнаго ужаса. Когда первое впечатлѣніе поулеглось, наступила очередь за тѣми представителями прессы, которые умѣютъ отрѣшиться отъ мелочнаго пристрастія толпы и болѣе обдуманно отнестись къ совершившемуся. Изъ нихъ прежде всего интересно послушать Болеслава Пруса, который посвятилъ очередной фельетонъ въ газетѣ «Kurjer Codzienny» характеристикѣ трехъ почти одновременно сошедшихъ со сцены соотчичей—Балуцкаго, Ненцкаго (польскаго ученаго) и Вавельберга (извѣстнаго банкира).

Прусъ вполнѣ соглашается съ тѣмъ, что для теперешняго поколѣнія комедія Балуцкаго была чуждой, казалась какимъ-то потерявшимъ живой интересъ литературнымъ документомъ, въ которомъ воспроизводится что-то далекое, не имѣющее точекъ соприкосновенія съ настоящимъ, безсильное разбудить въ зрителѣ аккордъ родственныхъ отзвуковъ. Зритель оставался совершенно равнодушнымъ, точно драматургъ говорилъ на какомъ-то чужомъ языкѣ. Но какимъ же образомъ могло случиться, спрашиваетъ Прусъ, что этотъ писатель послѣ небывалыхъ тріумфовъ и аплодисментовъ сталъ вдругъ такъ безразличенъ для общества? Почтенный фельетонистъ, уже третій десятокъ лѣтъ созерцающій съ своего наблюдательнаго поста быстро несущуюся жизнь, объясняетъ эту метаморфозу переломомъ литературныхъ вкусовъ, нарожденіемъ въ обществѣ новыхъ запросовъ и стремленій, отклика которымъ Балуцкій не могъ давать по самому свойству своего таланта. Въ эпоху, когда Балуцкій начиналъ свою писательскую дѣятельность, — говоритъ Прусъ,—важнѣйшимъ эстетическимъ достоинствомъ литературныхъ произведеній считали веселое остроуміе. Тогдашнее общество непремѣнно требовало веселости отъ драматическихъ произведеній, отъ повѣстей, отъ фельетоновъ, а если бы можно было, то потребовало бы ея даже отъ надгробныхъ рѣчей и церковныхъ проповѣдей. Таково было общественное настроеніе, таковъ былъ и идеалъ болѣе ходкихъ газетъ.

«Пишите съ юморомъ!.. Ничего больше, какъ только съ юморомъ, и читатель пойдетъ и будетъ васъ любить»...

Даже позитивизмъ, выдѣлявшійся небольшой струйкой на томъ морѣ юмора, который затопилъ всю польскую литературу, не только не считалъ помѣхой для себя господствующее литературное теченіе, а наоборотъ уживался съ нимъ очень легко и считалъ смѣхъ, напитанный легкимъ ядомъ сатиры, очень полезнымъ въ смыслѣ исправительнаго вліянія на общественные нравы.

И теперь, положимъ, характеръ общества мало измѣнился, о чемъ свидѣтельствуетъ большое количество юмористическихъ изданій и наполненныя мѣста въ театрахъ во время

представленія веселыхъ пьесъ. Но на поверхности того же моря течетъ струйка уже не позитивизма, а мистицизма, и послѣдній требуетъ не ума, а символа; и въ отвѣтъ на эти стремленія на сцену стали выводиться, вмѣсто прежнихъ комическихъ фигуръ, какіе-то больные люди, которые ломаются то въ распутываніи неразрѣшимыхъ загадокъ жизни, то въ упражненіи уродливыми формами сладострастія. «Какъ и тридцать лѣтъ назадъ, такъ и теперь, общество ищетъ развлеченія»—заключаетъ Прусъ свои горечью проникнутыя строки. «Разница та, что въ то время оно развлекалось добродушными типами Балуцкаго, а теперь развлекается символизмомъ, атакой со стороны адептовъ символизма на мѣщанскую комедію и наконецъ... погребеніемъ несчастнаго самоубійцы, который писывалъ веселыя пьески. Жизнь Балуцкаго самымъ нагляднымъ образомъ иллюстрировала старую истину, что общество имѣетъ нѣсколько рукъ, нѣсколько ногъ, нѣсколько устъ; и въ то время, какъ одними устами оно льститъ, другими—отплевываетъ, одной ногой преклоняется, другой — лягаетъ, одной рукой вѣнчаетъ, другой — толкаетъ въ могилу».

Слѣдуетъ еще отмѣтить мнѣнія, высказанныя на страницахъ журналовъ «Przegląd tygodniowy» и «Tygodnik illustrowany»; и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мы видимъ попытку самостоятельно подойти къ разгадкѣ этой трагедіи.

«Tygodnik» съ наморщеннымъ челомъ поставилъ было вопросъ, «не скрывалась ли на днѣ юмора Балуцкаго тайная меланхолія тѣхъ поэтовъ, для которыхъ смѣхъ былъ только одной изъ формъ протеста противъ дѣйствительности, однимъ изъ проявленій тоски по идеалѣ? Не скрывался ли въ драматургѣ сатирикъ, который, бичуя свое общество, тѣми же самыми ударами бередитъ раны своего собственнаго сердца?» Но нѣтъ, въ творчествѣ Балуцкаго трудно подмѣтить хотя слабый намекъ на этотъ тайный разладъ души, смѣхъ его звучитъ открытымъ мажорнымъ аккордомъ безъ малѣйшаго признака негодующей или плачущей о низости міра нотки. Поэтому критикъ «Tygodnik'a» остановился на болѣе правдоподобномъ объясненіи, что Балуцкаго толкнуло въ мо-

4*

силу мучительное для писателя сознаніе, что его творческая сила изсякла, порывы вдохновенія безвозвратно ушли отъ него. Перо продолжаетъ устало бродить по бумагѣ, но слова не устанавливаются въ стройные попрежнему ряды, веселя взоръ панорамой мастерски отдѣланныхъ картинъ человѣческой суеты.

Нѣсколько иначе смотритъ на дѣло «Przeglad tygodniowy». Тутъ вышло маленькое недоразумѣніе, — заявляетъ почтенный органъ польскихъ прогрессистовъ. Пьесы Балуцкаго были всего только веселыми фарсами и ничѣмъ болѣе. Такъ ихъ и нужно было трактовать. Между тѣмъ усердная критика не въ мѣру превознесла ихъ, поставила автора на пьедесталъ; конечно, сходить оттуда никому не лестно — вотъ и вся причина печальнаго конца. Къ новымъ же литературнымъ теченіямъ Балуцкій не только не приладился, но относился къ нимъ съ нескрываемой враждебностью. Словомъ, выходитъ такъ, что старшіе современники не поняли Балуцкаго, а младшихъ не захотѣлъ понять онъ самъ, и ему пришлось сойти со сцены.

«Przeglad» сказалъ святую истину: значеніе литературной дѣятельности Балуцкаго, несомнѣнно, было преувеличено критикой. Но, высказывая это, «Przeglad»'у необходимо было сдѣлать оговорку, что такое преувеличеніе своихъ талантовъ составляетъ въ области польской критики обычное, повседневное правило: трудно было бы указать польскаго беллетриста, поэта, ученаго, композитора, художника, которому бы польская критика не накинула нѣсколько лишнихъ вершковъ къ ихъ натуральной величинѣ. Если и бываютъ случаи травли или газетнаго преслѣдованія писателя, то дѣло объясняется личными, ничего общаго съ литературой не имѣющими счетами.

По отношенію къ Балуцкому нельзя умалить значеніе того факта, что этотъ писатель пользовался большой популярностью. Восхваленія критики, конечно, сыграли въ этомъ случаѣ нѣкоторую роль, но невозможно же представить себѣ общество настолько слѣпое, чтобы оно воспылало любовью къ писателю совершенно бездарному исключительно по

указкѣ критики. Знаменитый афоризмъ Суворова объ удачѣ и умѣньи приложимъ не только къ военному дѣлу; и если частью своей извѣстности Балуцкій обязанъ критикѣ, то нельзя отрицать, что главнымъ устоемъ его популярности является все-таки его талантъ. Такимъ образомъ, умѣстно сдѣлать хотя бы бѣглый подсчетъ тому наслѣдству, которое оставилъ послѣ себя польской литературѣ этотъ писатель.

Балуцкій родился въ 1837 г. въ Краковѣ, и здѣсь протекла вся его жизнь. Онъ былъ сынъ краковскаго мѣщанина и крещеной еврейки, женатъ былъ на дочери слесаря; вотъ почему Балуцкій былъ знатокомъ быта мелкаго мѣщанства. Товарищи Балуцкаго по университету были Шуйскій, гр. Станиславъ Тарновскій, проф. Пѣкосинскій, Эд. Любовскій — люди, составившіе себѣ впослѣдствіи имя своей научно-литературной и общественной дѣятельностью. Литературную дѣятельность Балуцкій началъ стихотворными упражненіями, о которыхъ можно упомянуть только въ интересахъ библіографической полноты; сами по себѣ стихотворенія эти литературнаго значенія не имѣютъ, хотя они даже были изданы отдѣльно (1874 г.). Писать ихъ Балуцкій началъ съ двадцатилѣтняго возраста, чѣмъ объясняется и основной мотивъ — любовный; нужно сказать при этомъ, что риѳма давалась поэту не безъ натуги, и потому онъ вскорѣ оставилъ поэтическія упражненія и обратился къ почтенной, хотя и болѣе скромной прозѣ.

Беллетристическія произведенія Балуцкаго исчисляются десятками [1]), но чего-либо выдающагося, яркаго и сильнаго въ этой области онъ не создалъ. Польская критика, правда, дѣлаетъ попытку, разсортировавъ ихъ по группамъ, наклеить на каждую группу ярлыки съ болѣе или менѣе громкими

---

[1]) Приведемъ заглавія важнѣйшихъ: «Przebudzeni» (1864), «Młodzi i starzy» (1866), «Zycie wsrod ruin» (1872), «Siostrzenica księdza proboszcza» (1873), «Zydòwka» (1871), «O kawal ziemi» (1882), «Byle wyźej» (1876), «Zobozu do obozu» (1874), «Błyszczące nędze», «Tajemnice Krakowa», «Bialy murzyn» (1876), «Lawiny niepopelnione», «Całe życie», «Romans bez milosci i milosć bez romansu», «Książka pamitąek». Собраніе беллетристическихъ произведеній Балуцкаго вышло въ Варшавѣ въ 13 томахъ (1885—1893 г.).

обозначеніями: такъ, гдѣ выведены на сцену евреи, тамъ стоитъ на ярлыкѣ надпись «еврейскій вопросъ»; гдѣ изображается жизнь бѣднѣйшихъ классовъ, тамъ крупными буквами выведено—«защита демократіи», и прочее въ этомъ родѣ. Но это только внѣшній фасонъ классификаціи, прочно утвердившійся въ польской критикѣ, а потому, вѣроятно, переставшій смущать и вводить въ заблужденіе и читателей. На дѣлѣ Балуцкій былъ самымъ непритязательнымъ бытописателемъ, чуждымъ какой бы то ни было претенціозности.

Онъ описывалъ бытъ и нравы знакомыхъ ему общественныхъ группъ, не ставя какихъ-нибудь сложныхъ психологическихъ или соціальныхъ проблемъ, не заглядывая глубоко въ душу своихъ героевъ, а довольствуясь болѣе или менѣе живымъ и правдивымъ изображеніемъ того, какъ человѣкъ копошится себѣ въ своемъ маленькомъ уголку, воспринимая посылаемыя судьбой незатѣйливыя радости и печали. Такъ какъ Балуцкій въ большой степени обладаетъ драгоцѣннымъ писательскимъ даромъ — наблюдательностью, то ему почти не приходилось повторять себя, хотя слѣдуетъ, сказать, что горизонтъ наблюденій его былъ не слишкомъ обширенъ, и потому беллетристика Балуцкаго какъ-то однообразна. Въ пріемахъ повѣствованія Балуцкій держался старой писательской манеры; внѣшняя сторона кое-гдѣ у него недодѣлана, вѣроятнѣе всего, отъ торопливости работы. Въ общемъ беллетристическія произведенія покойнаго польскаго писателя принадлежатъ къ категоріи тѣхъ средняго достоинства и средняго значенія произведеній, какихъ безчисленное множество есть во всѣхъ литературахъ. Произведенія эти при появленіи ихъ очень охотно читаются публикой, хотя особаго волненія умовъ они не производятъ, благодушно одобряются критикой, а затѣмъ забываются. Ихъ не тянетъ прочесть второй разъ, такъ какъ сразу же читатель можетъ разсмотрѣть все гладкое и не особенно глубокое дно писательской мысли.

Но не беллетристическія произведенія создали извѣстность имени Балуцкаго. Балуцкій-драматургъ неизмѣримо

выше стоялъ во мнѣніи критики и публики, чѣмъ Балуцкій—беллетристъ, и совершенно основательно. Это было настоящее призваніе писателя; талантъ его чувствовалъ себя здѣсь въ родной стихіи, дѣлался ярче, самобытныя черты его выступали выпуклѣе. Давно уже подмѣчена слѣдующая характерная особенность драматическихъ произведеній Балуцкаго: въ чтеніи они казались слабѣе, чѣмъ на сценѣ; интрига, казавшаяся придуманной и натянутой, производила впечатлѣніе полной естественности, а разныя комическія qui pro quo, казавшіяся несообразными, въ сценической передачѣ выходили совершенно простыми и натуральными. Очевидно, область сценическаго творчества и была настоящимъ призваніемъ Балуцкаго.

Балуцкимъ написано до 30 драматическихъ произведеній [1]), обошедшихъ всѣ польскія сцены; значительная часть ихъ и доселѣ составляетъ основной фундаментъ репертуара польскаго театра. Польская критика подраздѣляетъ ихъ на три категоріи: къ первой относитъ произведенія, имѣющія подкладкой какую-нибудь общественно-политическую тему, ко второй — произведенія, трактующія тотъ или другой злободневный вопросъ и, наконецъ, къ третьей (самой многочисленной) — произведенія бытового характера. Намъ кажутся искусственными всѣ эти перегородки; драматическія произведенія Балуцкаго вовсе и не нуждаются въ классификаціи, такъ какъ всѣ они въ чистѣйшемъ видѣ представляютъ собою тотъ родъ драматическихъ произведеній, который называютъ бытовой комедіей. Первую (по времени написанія) комедію Балуцкаго «Radcy pana radcy» причисляютъ къ категоріи комедій съ общественно-политической тенденцій развѣ только потому, что панъ Петръ Дзишевскій (главное лицо пьесы) выбранъ членомъ городской думы и въ этой роли,

[1]) Вотъ названія главнѣйшихъ: «Radcy pana radcy» (1867), «Pracowici prónźniacy (1871), ‹Polowanie na męźa» (1869), «Emancypowane» (1873), «Młodzież pozlacana» (1876), «Krewniacy» (1879), «Ciężkie czasy» (1889), «Grube ryby» (1881), «Gęsi i gąski» (1884), «Dom otwarty» (1883), «Piękna żonka» (1886), «Nowy dziennik» (1888), «Klub kawalerow» (1891), «Flirt» (1892), «Bajki» (1894), «Niewolnicy z Pipiolówki» (1897), «Sprawa kobiet» (1896), «Ciepla wdowka» (1895).

для которой онъ оказывается совершенно неподходящимъ ни по уму, ни по характеру, дѣлаетъ рядъ комическихъ выходовъ. Правда, лицо въ такой роли было новымъ въ польской комедіи; но совершенно очевидно, что вся соль комедіи не въ томъ, что Дзишевскій есть членъ городской думы, а въ томъ, что вывести добродушнаго и глуповатаго человѣка въ такой роли оказалось для автора сподручнымъ дѣломъ, такъ какъ дало ему широкое пространство для комическихъ ситуацій. Балуцкій былъ совершенно далекъ отъ мысли возбуждать въ зрителѣ благородное негодованіе по поводу такой аномаліи, а вполнѣ довольствовался тѣмъ незлобивымъ смѣхомъ, какой вызываютъ попытки Дзишевскаго стать на высоту своего призванія. Равнымъ образомъ, мало поводовъ усматривать въ комедіи «Emancypowane» трактатъ на злободневный мотивъ; женская эмансипація здѣсь опять-таки взята авторомъ, какъ очень удобная канва для карикатурныхъ узоровъ. Слишкомъ ужъ грубо и рѣзко противорѣчіе между словами и поступками Аделаиды Фразесовичъ, чтобы предполагать въ авторѣ намѣреніе въ лицѣ этой особы показать отрицательныя стороны женскаго движенія. Всякій скажетъ, что выведенная авторомъ пожилая матрона, отстаивающая въ теоріи самую широкую свободу женщины и тутъ же насильно принуждающая дочь свою выйти замужъ за какого-то облѣзлаго ловеласа, есть уродливое исключеніе, которымъ ничего не докажешь и ничего не опровергнешь.

Въ своихъ комедіяхъ, какъ и въ повѣстяхъ и разсказахъ, Балуцкій на пытался разрѣшать сложныя психологическія коллизіи, избѣгалъ выводить лица съ глубокими и сильными душевными порывами, а ставилъ болѣе легкія и простыя задачи: осмѣять мелкое тщеславіе, обнажить скрываемую отъ посторонняго глаза страстишку, сорвать надѣтую на себя плутомъ маску благородства, пристыдить нахала и лжеца, предостеречь простеца отъ излишней довѣрчивости къ людямъ, а чаще всего—просто посмѣяться надъ какимъ-нибудь глупымъ барашкомъ изъ человѣческаго стада, который вмѣсто того, чтобы заниматься снисканіемъ себѣ пропитанія и снѣдать его на пользу тѣлесную, вдругъ вдохновляется

желаніемъ наподобіе орла взлетѣть превыше облака ходячаго. И если оцѣнивать комедіи Балуцкаго по масштабу поставленной авторомъ цѣли, то необходимо признать, что онѣ построены блестяще. Возьмемъ, напримѣръ, четырехъ-актную комедію «Сосѣди». Почтенный шляхтичъ Родзишевскій, большой хлѣбосолъ и человѣкъ, что называется, съ открытой душой, вдругъ загорается честолюбивыми мечтами подъ вліяніемъ друзей, которые убѣждаютъ его, что онъ можетъ быть избранъ посломъ въ сеймъ. Этой мысли онъ отдается всецѣло, забывая хозяйство, которое начинаетъ расшатываться; въ домѣ его постоянная толкотня, настоящій постоялый дворъ, сосѣди ѣдятъ и пьютъ, сколько влѣзетъ, увѣряя хозяина, что они за него горой. Родзишевскій такъ увѣренъ въ успѣхѣ, что сочиняетъ уже рѣчь къ избирателямъ, заимствуясь изъ какого-то стараго номера газеты антисемитическаго оттѣнка. Но въ околицѣ появляется какой-то графъ, который тоже не прочь отъ кандидатуры. Вся окрестная шляхта, конечно, переходитъ на сторону графа. У Родзишевскаго въ день его именинъ, на которыя онъ пригласилъ всѣхъ сосѣдей, совершенно пусто, такъ какъ всѣ сосѣди поѣхали къ графу, дававшему въ тотъ же день у себя банкетъ. Пріѣхалъ одинъ лишь незванный гость... судебный приставъ, чтобы описать имущество. Этотъ визитеръ нагрянулъ совершенно неожиданно для Родзишевскаго, такъ какъ всѣ полученныя ранѣе повѣстки и предостереженія онъ, за недосугомъ, складывалъ, не распечатывая. Неудавшагося посла спасаютъ друзья отъ разоренія. Между тѣмъ шляхта, собравшаяся на банкетъ къ графу, получаетъ репримандъ неожиданный. Во время обѣда графъ получаетъ отъ вождя консервативной партіи, къ которой онъ принадлежитъ, порученіе ѣхать въ другой округъ и тамъ собирать голоса; извинившись предъ гостями, онъ немедленно уѣзжаетъ.

Укажемъ еще на комедію «Новая газета». Почтенный обыватель Ржепковскій кипитъ злобой на мѣстное уѣздное управленіе, не давшее ему какой-то должности, въ которую назначаютъ не столько ради дѣла, сколько ради почета. Онъ рѣшается мстить: ѣдетъ въ городъ, гдѣ хочетъ осно-

вать газету, въ которой могъ бы изливать свою желчь. Дѣло налаживается. На сценѣ проходитъ цѣлая шеренга весьма подозрительныхъ субъектовъ, кормящихся отъ пера: Розпендовскій, избирающій «направленіе» въ соображеніи съ его выгодами, Фимосинскій, писатель на всѣ руки, псевдо-ученый Нуркевичъ, заручающійся прежде всего авансомъ. Ржепковскаго, вѣроятно, засосало бы вмѣстѣ съ его состояніемъ это болото, если бы своевременно не пришло извѣстіе, что онъ избранъ уѣзднымъ маршалкомъ. Злоба моментально забыта, шляхтичъ опять готовъ обнять сердцемъ весь міръ, бросаетъ журнальныя затѣи и ловко отдѣлывается отъ журнальной своры, собиравшейся поживиться около него.

Приведенные примѣры, надѣемся, нѣсколько иллюстрируютъ конструкцію комедій Балуцкаго. Одна изъ немаловажныхъ особенностей ихъ, ускользающая въ передачѣ, это — необыкновенная подвижность фигуръ и почти стремительная живость дѣйствія, дѣлающая ихъ столь удобными для сцены.

Галлерея типовъ, выведенныхъ Балуцкимъ, достаточно разнообразна. Онъ исчерпалъ всѣ разновидности краковской буржуазіи и средняго помѣщичьяго класса. Справедливость требуетъ сказать, что за предѣлы этого міра Балуцкій въ своихъ произведеніяхъ не выходилъ никогда, да и не могъ выйти, потому что таковъ былъ горизонтъ его наблюденій. За то «свой» міръ, знакомый ему до мельчайшихъ подробностей, онъ представилъ въ талантливой художественной обработкѣ.

Никто, конечно, не станетъ предсказывать слишкомъ большой долговѣчности тому наслѣдству, которое оставилъ польской литературѣ Балуцкій. Талантъ его — не изъ той мѣди, которая съ трудомъ поддается всесокрушающей ѣдкости времени, а изъ довольно хрупкаго сплава. Стихотворенія его уже канули въ Лету, вскорѣ наступитъ очередь и за беллетристическими произведеніями, которыя для послѣдующихъ поколѣній едва ли будутъ представлять живой интересъ; много-много, если съ ними будутъ вести дѣловые счеты присяжные историки литературы.

Наиболѣе крѣпкими нитями связалъ свое имя Балуцкій съ исторіей польскаго театра. Драматическія произведенія этого писателя, несомнѣнно, на много лѣтъ переживутъ его повѣсти и разсказы. Впишется въ исторію театра и та заслуга Балуцкаго, что онъ въ теченіе двадцати пяти лѣтъ питалъ польскую сцену своими трудами и оживлялъ интересъ къ ней со стороны общества. Наконецъ, и съ чисто литературной точки зрѣнія драматическія произведенія Балуцкаго составляютъ наиболѣе цѣнную часть оставленнаго имъ наслѣдства. Въ этой области творчества онъ былъ довольно самобытенъ и съ полнымъ правомъ могъ примѣнить къ себѣ извѣстный афоризмъ Мюссе: «Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre».

Генрикъ Сенкевичъ.

---

1. Юбилейная замѣтка.

Хронологически юбилей Сенкевича приходился на 1897 годъ (первая повѣсть его «Na marne» относится къ 1872 году). Но въ то время вниманіе польской интеллигенціи всецѣло было поглощено приближавшимся столѣтіемъ со дня рожденія Мицкевича, подготовлялось открытіе памятника великому поэту въ Варшавѣ, и къ юбилею здравствующаго беллетриста отнеслись съ мыслью: «успѣется». Не подумайте, что въ этой мысли былъ оттѣнокъ какой-нибудь пренебрежительности. Совсѣмъ даже наоборотъ: польское общество боялось, чтобы, отдавъ самый горячій пылъ восторга творцу «Пана Тадеуша», оно не обидѣло своего другого любимца слишкомъ равнодушнымъ чествованіемъ. Нужно было подготовиться къ торжеству «съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой», накопить въ душѣ новый запасъ энтузіазма, израсходованнаго въ теченіе «Мицкевичевской годовщины.» Да при этомъ и самъ юбиляръ, когда подняли было рѣчь о чествованіи его двадцатипятилѣтней литературной дѣятельности, прямо заявилъ, что въ годъ исполнившагося столѣтія со дня рожденія великаго польскаго поэта никакое другое имя не должно быть даже упоминаемо, кромѣ имени Мицкевича. Когда, наконецъ, Мицкевичу воздано было всякое чествованіе, поляки перешли къ Сенкевичу. Объявлена была подписка на поднесеніе національнаго подарка беллетристу,

и на собранныя деньги куплено имѣніе въ чудной живописной мѣстности (Обленгорекъ), которое и поднесено юбиляру отъ имени народа. Таковъ былъ центральный пунктъ юбилейнаго чествованія.

Какою бы широкой волной ни разливалась радость польской интеллигенціи въ день чествованія Сенкевича, какими бы восторженными похвалами ни вѣнчали его, эта радость вполнѣ законна, эти похвалы — вполнѣ заслуженная дань юбиляру, неотъемлемая награда за то художественное наслажденіе, которое доставлялъ онъ польскому обществу своими произведеніями. Достаточно бросить бѣглый взглядъ на плоды двадцатипятилѣтней литературной дѣятельности Сенкевича, чтобы убѣдиться, что чествованіе воздается по заслугамъ.

Изъ болѣе раннихъ произведеній юбиляра остановимся на «Эскизахъ углемъ». Въ польской литературѣ не существовало того народническаго теченія, которое съ такою мощью проявилось одно время въ русской литературѣ. «Эскизы углемъ» можно назвать рѣдкимъ исключеніемъ. Сенкевичъ переноситъ насъ въ глухую деревню, въ среду забитаго, темнаго, безпомощнаго польскаго хлопства. Писарю гмины, пану Золзикевичу, приглянулась жена одного крестьянина Рѣпы. Въ весьма понятныхъ цѣляхъ, панъ Золзикевичъ приводитъ въ исполненіе весьма крючкотворный планъ, который заставилъ бы сельскую красавицу думать, что судьба ея мужа — въ рукахъ пана-писаря. Несчастная женщина металась всюду, гдѣ могла, но нигдѣ не нашла помощи, никто даже толкомъ не хотѣлъ выслушать ея. Осталось одно — пойти навстрѣчу сластолюбивымъ желаніямъ всемогущаго пана-писаря. Это она и сдѣлала, но мужъ не въ силахъ снести позора и убиваетъ ее топоромъ тутъ же, по возвращеніи отъ Золзикевича. Фабула, какъ видитъ читатель, страдаетъ придуманностью, обличаетъ неопытное перо; но въ обработкѣ сюжета, въ обрисовкѣ типовъ уже сказывается смѣлый, свободный талантъ. Выдающуюся струю въ этомъ произведеніи составляетъ юморъ въ истинномъ смыслѣ слова — не тотъ беззаботный смѣхъ, который такъ чаруетъ насъ

въ позднѣйшемъ очеркѣ «Та третья», а именно—«смѣхъ сквозь слезы», который долго звучитъ въ ушахъ надорваннымъ аккордомъ горя и страданія. Напомнимъ читателямъ главу пятую разсказа, гдѣ мы «знакомимся съ законодательнымъ корпусомъ Бараньей Головы и главными его вожаками». тутъ предъ нами развертывается цѣлая картина, полная смѣлой, безпощадной правды, звучащая рѣзкимъ негодованіемъ по адресу польской интеллигенціи, отдавшей деревню живьемъ на растерзаніе пану Золзикевичу и ему подобнымъ. Въ разсказѣ, несомнѣнно, звучитъ публицистическая нота, но она такъ искусно спрятана, что нисколько не нарушаетъ цѣльности впечатлѣнія. Впрочемъ, польская критика выдобывала ее и комментировала, но результатъ получился нѣсколько странный: не замѣчая кривой рожи, критики стали пенять на зеркало, обвиняя Сенкевича въ томъ, что онъ въ невыгодномъ свѣтѣ представилъ интеллигенцію, да, кромѣ того, о, ужасъ!—осмѣлился скептически отнестись къ хваленымъ слугамъ католической церкви, представивши бездушіе и формализмъ ксендза, къ которому обратилась за совѣтомъ и наставленіемъ несчастная жена Рѣпы (ксендзъ рекомендовалъ ей безропотно склониться предъ Перстомъ Божіимъ, наказующимъ ее за пьянство мужа).

Въ «Эскизахъ углемъ» Сенкевичъ въ первый и послѣдній разъ заглянулъ въ польскую деревню. По его выраженію, ему не понравилось возиться надъ героями-лилипутами, тосковать надъ слишкомъ слабо звучавшей струной. Кровавая эпоха польскихъ войнъ XVII вѣка давно уже привлекала вниманіе беллетриста. «Тамъ все такъ поражаетъ мощью и величіемъ, по сравненію съ ничтожествомъ современной жизни», — писалъ онъ въ письмѣ къ одному изъ пріятелей. Результатомъ этого увлеченія явились три большихъ историческихъ повѣсти: «Огнемъ и Мечемъ», «Потопъ» и «Панъ Володыевскій».

Трудно описать восторгъ, съ какимъ были приняты польскимъ обществомъ эти повѣсти, особенно первая изъ нихъ. Когда печаталось «Огнемъ и Мечомъ», всѣ другіе интересы—политическіе, экономическіе и проч., — отступили

для польскаго общества на второй планъ, не велось бесѣды, которая бы не начиналась или не заканчивалась дебатами по поводу повѣсти; о герояхъ ея говорили, какъ о живыхъ людяхъ, школьная молодежь въ письмахъ своихъ къ родителямъ, покончивши съ дѣловою частью, непремѣнно сообщала о томъ, что сдѣлалъ панъ Скржетускій или повѣдалъ панъ Заглоба. Сенкевичъ заваленъ былъ письмами женщинъ, умолявшихъ его спасти Скржетускаго; какой-то богомольный шляхтичъ, прочитавши описаніе геройской смерти пана Подбипьенты, вознесъ даже молитву за упокой его души и т. д. Критика вторила обществу: повѣсть была причислена къ разряду самыхъ геніальныхъ произведеній польской литературы и поставлена одесную «Пана Тадеуша», а когда одинъ изъ критиковъ выразилъ осторожное сомнѣніе, такъ ли ужъ высоко стоитъ эта историческая повѣсть, на него дружно напали всѣ, обвиняя въ томъ, что у него нѣтъ сердца, а въ жилахъ течетъ только желчь и чернила.

Въ настоящей небольшой замѣткѣ мы не станемъ останавливаться надъ перечисленіемъ тѣхъ пробѣловъ, которые допустилъ Сенкевичъ въ своей повѣсти; интереснѣе поговорить о томъ, что онъ далъ, чѣмъ пускаться въ безплодныя и запоздалыя разсужденія о томъ, чего онъ не далъ. Въ повѣсти этой Сенкевичъ развернулъ предъ читателями громадную картину, поражающую яркостью красокъ и широкимъ размахомъ кисти. Сюжетъ повѣсти взятъ изъ эпохи казацкихъ войнъ. Сцены, полныя жизни и движенія, мѣняются быстро одна за другою; въ нѣкоторыхъ случаяхъ Сенкевичъ прибѣгнулъ къ фальшивымъ эффектамъ съ цѣлью усилить внѣшнюю интересность фабулы—и совершенно напрасно, потому что интересъ читателя къ повѣсти и безъ того не понизился бы. Слабѣйшими страницами являются тѣ, гдѣ Сенкевичъ изображаетъ побѣды поляковъ. Кстати сказать: изъ сраженій и стычекъ этой эпохи описаны только тѣ, въ которыхъ поляки остались побѣдителями, а менѣе счастливыя для польскаго оружія битвы только упомянуты. Кто является героемъ повѣсти? Въ намѣренія автора, повидимому, входило вознести на этотъ пьедесталъ Скржетускаго. Но, можетъ быть и про-

тивъ воли беллетриста, Скржетускій вышелъ слишкомъ безжизненнымъ. Князь Іеремія Вишневецкій — тоже очень великій и достойный человѣкъ, но онъ стоитъ слишкомъ высоко, его роль только повелѣвать, казнить и миловать, онъ далекъ отъ того моря жизни, которая кипитъ у его ногъ. Самой яркой и типичной фигурой — не только въ «Огнемъ и Мечомъ», но и въ остальныхъ двухъ повѣстяхъ — является панъ Заглоба, который имѣетъ всѣ права на то, чтобы мы признали его центральнымъ лицомъ трилогіи.

«Потопъ» меньше понравился польской критикѣ, хотя въ чисто-художественномъ отношеніи онъ не только не уступаетъ первой исторической повѣсти, но даже превосходитъ ее. Здѣсь больше правды: Сенкевичъ какъ-то ближе подошелъ къ жизни, проще взглянулъ на людей, и Кмицицъ, напримѣръ, неизмѣримо выше Скржетускаго въ смыслѣ типичности. Это — не мертвая кукла, какою въ «Огнемъ и Мечомъ» представляется читателю Скржетускій, а живой, даже слишкомъ живой человѣкъ. Страстная, порывистая натура Кмицица представлена съ немалой долей психологической правды, которой авторъ почти не далъ въ обрисовкѣ Скржетускаго. Значительно выигрываетъ «Потопъ» еще и потому, что Сенкевичъ, которому, быть можетъ, надоѣло все только потрясать читателя лязгомъ оружія и громомъ выстрѣловъ, далъ нѣсколько чудныхъ картинъ иного содержанія, открывающихъ любопытный уголокъ тогдашней не-военной жизни.

Слабѣе другихъ третья повѣсть этого, цикла «Панъ Володыевскій». Лишь первыя главы написаны интересно, вся середина повѣсти какъ-то монотонна и вяла. Въ цѣломъ трилогія оставляетъ все-таки сильное и яркое впечатлѣніе. Нѣтъ нужды говорить, что среди громадной груды однородныхъ произведеній, которыми такъ богата польская литература, историческія повѣсти Сенкевича стоятъ совершенно особнякомъ. Повѣсти, напримѣръ, Крашевскаго не могутъ идти въ сравненіе съ этими произведеніями Сенкевича.

Какъ ни увлекался Сенкевичъ величественными картинами XVII вѣка, онъ не переставалъ въ то же время чутко слѣдить за вѣяніями и теченіями современности, изображе-

нію которыхъ посвящены два слѣдующихъ (въ хронологическомъ порядкѣ) произведенія—«Безъ догмата» и «Семья Поланецкихъ.

Судя по историческимъ повѣстямъ, трудно было думать, что въ Сенкевичѣ скрывается такой глубокій знатокъ сердца человѣческаго, какимъ онъ показалъ себя въ романѣ «Безъ догмата». Леонъ Плошовскій, герой романа, совершенно законченный въ смыслѣ отдѣлки типъ; отъ автора не ускользнула ни одна черточка этой капризной натуры, не укрылось ни одно душевное настроеніе, не прошла неотмѣченною ни одна мысль этого «генія безъ портфеля». Дно его души, несмотря на глубину свою, совершенно ясно для читателя. Трогательная фигура Анельки вся соткана изъ поэзіи, красоты и изящества. Предъ нею останавливаешься въ нѣмомъ восторгѣ: она кажется какимъ-то неземнымъ созданіемъ. Эпизодическія фигуры старика Плошовскаго, тетушки, пана Хвастовскаго обрисованы немногими, но выразительными штрихами; нѣсколько блѣднѣе Снятынскій, а въ обрисовкѣ Кромицкаго авторъ, кажется, нѣсколько сгустилъ краски. Съ величайшимъ интересомъ читается «Семья Поланецкихъ», гдѣ въ широкой перспективѣ представлена современная общественная жизнь поляковъ. Тутъ множество типовъ, много жизни и движенія. Романъ даетъ обильнѣйшій матеріалъ для публицистической критики.

«Безъ догмата» и «Семья Поланецкихъ» — наиболѣе зрѣлыя произведенія Сенкевича, но ими далеко еще не указывается та грань, до которой простирается эластичность таланта этого беллетриста. Въ полномъ блескѣ проявляется дарованіе Сенкевича въ «Quo vadis», которое слѣдуетъ признать самымъ замѣчательнымъ его произведеніемъ. «Quo vadis» можетъ служить настоящей мѣрой этого мощнаго таланта. Польскіе писатели — вообще недурные художники, когда имъ приходится изображать родное, свое, будь то старина, будь современность; у нихъ много чувства, много настроенія, но замѣчательно, что эти весьма цѣнныя для беллетриста качества проявляются у польскихъ писателей лишь тогда, когда имъ приходится имѣть дѣло съ родной стихіей

Но достаточно имъ перешагнуть границу своей земли, и крылья у нихъ опускаются, разсказъ становится сухимъ, протокольнымъ, исчезаетъ всякій колоритъ, а съ нимъ и красота.

Сенкевичъ и въ изображеніи эпохи Нерона не утратилъ яркости и силы своего таланта. Даже напротивъ,—кисть его какъ будто стала еще болѣе гибкою, когда беллетристу пришлось переносить на полотно сцены и картины совершенно чужого міра. И пусть бы еще картины: тутъ беллетристъ имѣлъ хорошую опору въ повѣствованіяхъ современниковъ, и его задача значительно облегчалась. Но какъ разгадать живую душу въ людяхъ той отдаленной эпохи, имѣющихъ такъ мало общаго съ нами? Какъ проникнуть въ ихъ мысли, желанія? Какъ возсоздать ихъ языкъ? Сенкевичъ вышелъ съ честью изъ этихъ трудностей, и въ этомъ — тріумфъ его творчества. Напомнимъ читателю Петронія и Хилона, особенно послѣдняго. Возсоздать совершенно своеобразную рѣчь этого софиста и ни разу не сбиться съ тона ея могъ только талантъ перворазрядной силы.

«Крестоносцы», тянувшіеся такъ утомительно долго, не прибавили новыхъ лавровъ Сенкевичу. По общему голосу, это—довольно скучный романъ. Публика терпѣливо ожидала окончанія этого произведенія, заинтересованная не столько этимъ романомъ, сколько тѣмъ, что Сенкевичъ начнетъ писать послѣ «Крестоносцевъ».

Сенкевичъ близокъ и дорогъ русской публикѣ немногимъ лишь меньше, чѣмъ полякамъ, особенно послѣ «Безъ догмата» и «Quo vadis». Плошовскій страдаетъ тѣмъ же недугомъ, которымъ перестрадала лучшая часть русской интеллигенціи; Анелька, отъ которой вѣетъ чистымъ, нѣжнымъ ароматомъ женственности, близко напоминаетъ русскому читателю чудные женскіе типы Тургенева. Что же касается «Quo vadis», то не требуется пояснять, почему это произведеніе заставитъ русскаго читателя передумать и перечувствовать не меньше, чѣмъ и поляка.

Талантъ Сенкевича не перестаетъ расти, крѣпнуть, пріобрѣтать все болѣе и болѣе силы и яркости. Возрастъ юби-

ляра (род. 1846 г.) далекъ еще отъ того предѣла, за которымъ начинается «трудъ и болѣзнь». Все это даетъ пріятную надежду, что талантливый беллетристъ доставитъ намъ еще много духовнаго наслажденія работою своего пера.

---

2. Панъ Заглоба.

— Янъ Заглоба, герба Вчеле, что всякій легко можетъ понять хотя бы вотъ по этому рубцу, который прорыла у меня въ челѣ разбойничья пуля, когда я по обѣту паломничалъ за грѣхи молодости въ Святую Землю.

— Пересталъ бы ужъ,—сказалъ Зацвилиховскій,—самъ же какъ-то говорилъ, что это тебѣ угодили кружкой въ Радомѣ.

— Разбойничья пуля, честное слово! Въ Радомѣ было совсѣмъ другое.

— Обѣтъ-то паломничать въ Святую Землю ты, можетъ быть, и давалъ... Ну, а быть-то въ ней не былъ, это ужъ навѣрно.

— Не былъ, потому что уже въ Галацѣ воспріялъ мученическій вѣнецъ. Если лгу — собака я, а не шляхтичъ!

Таковъ первый выходъ пана Заглобы, одного изъ героевъ трилогіи Сенкевича.

Оставимъ польской публикѣ млѣть въ сладкомъ восторгѣ передъ княземъ Іереміей Вишневецкимъ, паномъ Скржетускимъ, паномъ Подбипьентой и прочими героями, которыхъ Генрикъ Сенкевичъ такъ щедро надѣлилъ всѣми добродѣтелями, какія только можно разыскать въ кодексахъ морали. Слишкомъ ужъ добродѣтельны эти герои;—вотъ въ этомъ вся бѣда ихъ и есть. Знаменитый беллетристъ оказался къ нимъ не только щедрымъ, а даже расточительнымъ: у читателя получается такое впечатлѣніе, какъ будто Сенкевичъ всю доблесть, какая есть въ мірѣ, взялъ, да и отдалъ тремъ-четыремъ личностямъ, обдѣливши всѣхъ другихъ. Потерпѣвшими отъ такого пристрастія оказались не кто другіе, какъ

тѣ же герои: нагрузивъ ихъ такъ тяжело всѣми достоинствами, Сенкевичъ тѣмъ самымъ лишилъ ихъ всякой индивидуальности. Это манекены въ добродѣтельномъ вкусѣ, а не живые люди. Равнодушно и холодно слѣдитъ читатель за тѣмъ, какъ Скржетускій пробирается изъ польскаго лагеря въ Збаражѣ, окруженнаго со всѣхъ сторонъ казаками и татарами, чтобы дать вѣсть о тяжеломъ положеніи осажденныхъ Яну-Казиміру. Равнодушно и холодно, такъ какъ знаетъ, что это не живой человѣкъ идетъ на явную почти смерть, а манекенъ, сдѣланный, правда, очень искусно и изящно. Никто не споритъ съ тѣмъ, что Сенкевичъ въ этомъ случаѣ не отступаетъ отъ исторической правды, что онъ только даетъ художественную обработку извѣстію, найденному въ современныхъ мемуарахъ [1]); соглашаемся, что Скржетускій совершилъ такой подвигъ; но это—другой Скржетускій, живой человѣкъ, пускай и герой, но вовсе не та отвлеченная, бездушная мораль, какую намъ преподноситъ Сенкевичъ подъ фирмой Скржетускаго.

Польская критика захлебывается въ восторгѣ, разбирая типъ Скржетускаго, хотя эта фигура не имѣетъ ни одной типической черты. Дѣло извѣстное: «О, родина святая, какое сердце не дрожитъ, тебя благословляя!»—а какъ же полякамъ не благословлять Скржетускаго, не благоговѣть передъ этимъ удивительнымъ героемъ безъ пятнышка, одинаково великимъ «и въ питьѣ и въ битьѣ», какъ отзывается о немъ панъ Заглоба!

А вотъ паномъ Заглобой польскіе критики не особенно-то склонны восхищаться: похлопаютъ по плечу—молодецъ, молъ, панъ Заглоба, не даетъ себя въ обиду! — процѣдятъ двѣ-три скупыхъ похвалы по адресу автора за хорошую обрисовку типа, да и спѣшатъ перейти далѣе къ умилительнымъ изліяніямъ по поводу патріотизма аббата въ Ченстоховѣ Кордецкаго или чего-нибудь въ этомъ родѣ. И это въ

---

[1]) Какъ извѣстно, въ письмѣ познанскаго епископа Андрея Шолдрскаго есть упоминаніе о томъ, что Скржетускій, перебравшись черезъ прудъ у Збаража почти на глазахъ осаждавшихъ городъ казаковъ, далъ вѣсть объ отрядѣ Вишневецкаго королю Яну-Казиміру.

лучшемъ случаѣ. А то бываетъ еще и такъ, что критикъ, недовольный тѣмъ, что Сенкевичъ не скрылъ ни одной слабости Заглобы, вдругъ съ ожесточеніемъ набрасывается на беллетриста и давай упрекать его въ томъ, будто бы Сенкевичъ въ нѣкоторыхъ эпизодахъ, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является неунывающій и всегда вѣрный себѣ Заглоба, допустилъ искаженіе исторической правды. Такой упрекъ, къ величайшему нашему удивленію, мы встрѣтили въ этюдѣ профессора Тарновскаго, — критика серьезнаго и образованнаго, отъ котораго можно бы ожидать большаго безпристрастія въ разборѣ типовъ.

А между тѣмъ на всѣмъ длинномъ протяженіи «Огнемъ и мечомъ», «Потопа» и «Пана Володыевскаго» нѣтъ лица, отъ котораго такъ бы вѣяло жизнью, какъ отъ пана Заглобы. Эта типичная фигура изображена такъ правдиво, очерчена такими яркими красками, съ такой поразительной законченностью отдѣлки, что ею не перестаешь восхищаться. Еще могло бы быть минутное колебаніе, если бы пришлось рѣшать вопросъ, какому типу изъ всей громадной Сенкевичевской галлереи (скажемъ такъ для краткости) отдать предпочтеніе по красотѣ художественной обработки. Тутъ возможенъ выборъ: манитъ къ себѣ тонко изваянная фигура Леона Плошовскаго, не хочется глазъ оторвать отъ великолѣпно обрисованнаго Петронія, на нѣсколько моментовъ остановишь взоръ на безобразной головѣ Хилона Хилонида, а вдали въ дымчатомъ туманѣ виднѣется напомаженная голова гминнаго писаря Золзикевича.. И много еще такихъ. Но если этотъ вопросъ ограничить только типами трилогіи, то тутъ никакого колебанія быть не можетъ. Панъ Заглоба герба Вчеле, вотъ онъ, какъ живой, съ кружкой меду въ рукѣ, повѣтствуетъ шляхтѣ о своихъ подвигахъ, пересыпая рѣчь латынью и изреченіями древнихъ философовъ и подмигивая здоровымъ глазомъ (на другомъ глазу бѣльмо, появившееся, по словамъ Заглобы, послѣ того, какъ ему въ Галацѣ турки выжигали глазъ раскаленнымъ желѣзомъ за рѣзвыя похожденія въ гаремахъ). Передъ этой фигурой тускнѣютъ всѣ другія.

И такъ, панъ Заглоба уже отрекомендовался намъ и мы можемъ искать съ нимъ болѣе тѣснаго сближенія, тѣмъ болѣе, что это ничего, кромѣ интереса и удовольствія, намъ не доставитъ.

Панъ Заглоба—человѣкъ уже пожилой, и является вполнѣ естественное желаніе знать его прошлую жизнь. Откуда онъ родомъ, что подѣлывалъ въ молодости, на что ушли его силы? Къ сожалѣнію, никакихъ свѣдѣній объ этомъ сообщить не можемъ: самъ Заглоба по всѣмъ этимъ вопросамъ давалъ совершенно различныя свѣдѣнія, такъ что авторъ не нашелъ возможнымъ остановиться на какой-либо версіи, считать ее истинной. Такъ, невѣстѣ Скржетускаго панъ Заглоба разсказываетъ, что въ молодости, обладая скромной и воздержной натурой, онъ стремился къ духовному званію, къ чему чувствовалъ неопредолимое влеченіе. «Боже мой, Боже мой», сокрушался Заглоба, когда ему пришлось подвергнуть свою особу разнымъ невзгодамъ и опасностямъ во время бѣгства съ княжной Еленой (невѣстой Скржетускаго); «не лучше ли было мнѣ сдѣлаться каноникомъ краковскимъ и распѣвать себѣ антифоны (голосъ у меня чудный)!» А пану Володыевскому, когда тотъ выразилъ сомнѣніе, обладаетъ ли онъ военной опытностью, чтобы принять начальствованіе надъ отдѣльнымъ отрядомъ, панъ Заглоба гордо замѣтилъ: «Есть ли у меня опытность? Еще ни одинъ аистъ и не думалъ о томъ, чтобы сдѣлать изъ вашей персоны подарокъ вашимъ родителямъ, какъ я уже начальствовалъ надъ большими отрядами, чѣмъ весь теперешній. Едва-ли не всю жизнь я прослужилъ въ войскѣ, служилъ бы и доселѣ, кабы не случилось такъ, что одинъ разъ заплесневѣлый сухарь засѣлъ у меня въ брюхѣ, да и просидѣлъ тамъ три года. Пришлось ѣхать въ Галацъ за безааромъ, о чемъ я вамъ какъ-нибудь подробно разскажу.» Мы уже знаемъ, что панъ Заглоба путешествовалъ въ Іерусалимъ за грѣхи молодости, причемъ претерпѣлъ мученичество въ томъ же Галацѣ (было бы нескромнымъ разспрашивать пана Заглобу, два ли различныхъ путешествія онъ совершилъ въ Галацъ, или же успѣлъ въ одно путешествіе и отъ застрявшаго въ брюхѣ сухаря ос-

вободиться, и мученническимъ вѣнцомъ украсить свое чело). Любилъ еще панъ Заглоба вспоминать о своемъ пребываніи въ плѣну у крымскихъ татаръ, гдѣ мурзы наперерывъ предлагали ему своихъ дочерей въ жены, желая имѣть красивыхъ внуковъ. («Говорятъ, что нынѣшній ханъ — вылитый мой портретъ», скромно прибавляетъ при этомъ Заглоба). Какъ бы тамъ ни было, можно остановиться на томъ, что прошлое пана Заглобы было въ достаточной степени бурное, изобиловало многими приключеніями—можетъ быть, не въ Галацѣ и не у крымскихъ татаръ, а гдѣ-нибудь на вольномъ просторѣ украинскихъ полей или въ глухихъ лѣсахъ Полѣсья—и, во всякомъ случаѣ, панъ Заглоба съ полнымъ правомъ носитъ званіе Улисса.

Первые шаги пана Заглобы послѣ нашего знакомства съ нимъ не вызываютъ большой симпатіи: панъ Заглоба бражничаетъ въ Чигиринѣ съ казацкими полковниками, преимущественно съ Богуномъ. Когда старый шляхтичъ Зацвилиховскій пробуетъ пристыдить Заглобу этой компаніей, Заглоба объясняетъ, что это бражничанье онъ ведетъ pro publico bono, такъ какъ пользуется сближеніемъ съ казацкой старшиной для той цѣли, чтобы уговорить ее остаться вѣрной Рѣчи Посполитой въ виду надвигающейся бури. Не долго думая, Заглоба начинаетъ вмѣнять себѣ въ заслугу пребываніе въ Чигиринѣ и безпробудное пьянство. «Трудныя теперь времена наступаютъ для шляхты: dies irae et calamitatis», говоритъ онъ Скржетускому. «Чаплинскій издохъ со страху, къ Допулу (содержателю кабачка) не показывается, потому что тамъ казацкая старшина пьетъ. Я лишь одинъ мужественно стою лицомъ къ лицу съ опасностями и поддерживаю компанію съ этими полковниками, хотя отъ нихъ дегтемъ воняетъ. Если король не пожалуетъ мнѣ за это староства, то—повѣрьте мнѣ—значитъ, нѣтъ уже ни справедливости въ нашей Рѣчи Посполитой, ни награды по заслугамъ, и, пожалуй, лучше сажать куръ на яйца, чѣмъ подвергать себя опасностямъ pro publico bono».

Но вотъ Заглобѣ приходится противъ воли сдѣлаться участникомъ жениховской экспедиціи Богуна въ Розлоги—и ко-

лесо его жизни поворачивается въ другую сторону. Заглоба спасаетъ княжну Елену и пускается съ нею въ бѣгство. Это путешествіе, разсказанное Сенкевичемъ, пожалуй, съ излишними подробностями, дѣлающими разсказъ утомительнымъ, миритъ насъ до нѣкоторой степени съ Заглобой. Нужно было, во всякомъ случаѣ, имѣть въ душѣ добрый запасъ благородства и самоотверженія, чтобы рѣшиться ради дѣвушки, которую Заглоба видѣлъ къ тому же впервые, подвергать себя опасностямъ, пускаться очертя голову въ дорогу, гдѣ едва ли не каждую версту Заглоба рисковалъ заплатить жизнью за свой шагъ. Правда, Заглобѣ такъ или иначе ничего другого и дѣлать не оставалось, какъ искать спасенія въ бѣгствѣ; но совсѣмъ другое дѣло — бѣжать одному, при находчивости Заглобы это было еще не такъ трудно. Заглоба же беретъ подъ свою защиту княжну, переодѣтую въ мужской костюмъ; она ежеминутно связываетъ ему руки-трудность путешествія удесятерилась.

Прошедши чрезъ тысячу опасностей, Заглоба доставилъ княжну въ Баръ, а самъ пробрался въ отрядъ кн. Вишневецкаго. Не одинъ вечеръ, собравшись у костра, шляхетская компанія за кувшинчиками меду помирала со смѣху, слушая разсказы Заглобы о разныхъ приключеніяхъ и подвигахъ его во время путешествія, казавшихся нескончаемыми,—таково ужъ свойство всѣхъ разсказовъ Заглобы, складывавшихся все причудливѣе и невѣроятнѣе. Заглоба успѣваетъ побывать у самого Хмѣльницкаго, получаетъ отъ него перначъ, дѣлается его агентомъ по распространенію среди хлопства манифестовъ и т. д.

Вступленіе Заглобы въ ряды войскъ Вишневецкаго составляетъ новую эру въ его многомятежной жизни. Тутъ у Заглобы завязывается тѣсная дружба съ Скржетускимъ, Володыевскимъ и Подбипьентой. Заглоба привязывается къ нимъ всей душой, но отношенія его къ каждому изъ пріятелей совершенно различны. Къ Скржетускому Заглоба чувствуетъ нѣкоторое уваженіе, къ Володыевскому относится съ видомъ легкаго превосходства и дружескаго покровительства, хотя въ душѣ преклоняется предъ его беззавѣтной храбростью.

Больше всего Заглоба привязанъ душой къ мягкому, тихому Подбипьентѣ, но выражаетъ это своеобразно: ни на одну минуту не перестаетъ подтрунивать надъ нимъ въ пріятельской компаніи и особенно въ минуты веселаго настроенія (а оно рѣдко измѣняетъ Заглобѣ), издѣваясь надъ его высокимъ ростомъ, и надъ медлительностью рѣчи, и надъ туговатой сообразительностью, и надъ обѣтомъ соблюдать дѣвственную чистоту, пока не удастся срѣзать однимъ ударомъ меча сразу три вражескихъ головы, и надъ фамиліей, и надъ гербомъ,—да мало ли надъ чѣмъ не станетъ издѣваться панъ Заглоба подъ веселую руку, прихлебывая хорошій старый медъ, видя себя центромъ дружеской компаніи, поддерживающей каждую его выходку дружескимъ хохотомъ. Панъ Подбипьента незлобивъ, да при томъ и онъ, и всѣ окружающіе знаютъ, что Заглоба не изъ злобы, а изъ дружбы пристаетъ со своими шутками къ литовскому рыцарю, что у него языкъ такъ уже привѣшенъ, что долженъ молоть безъ устали, а сердце золотое. Пріятели платятъ Заглобѣ такой же искренней дружбой. Скржетускій даетъ у себя уголъ и сытую и спокойную жизнь Заглобѣ (которому, въ сущности, некуда дѣваться, хотя онъ иногда говоритъ о какихъ-то миѳическихъ владѣніяхъ гдѣ-то въ турецкихъ земляхъ). Володыевскій въ тѣ рѣдкіе дни, когда Заглобу одолѣваетъ меланхолія, старается развеселить его, шатаясь съ нимъ по всѣмъ корчмамъ и пивницамъ. Доказываетъ на дѣлѣ свою дружбу и панъ Подбипьента. Когда Заглоба послѣ извѣстія о смерти княжны Елены совершенно и, казалось, безвозвратно потерялъ свою веселость, Подбипьента держалъ рѣчь къ Володыевскому въ такомъ духѣ: «Жаль его невыразимо! Какъ ни говори, хорошій это былъ рыцарь. Идемъ-те къ нему, панъ Михалъ. Имѣлъ онъ привычку подшучивать надо мной и приставать по всякому поводу. Можетъ, и теперь его разберетъ охота».

Панъ Заглоба предпочелъ бы, конечно, всю кампанію просидѣть у костра, повѣствуя о своихъ прежнихъ подвигахъ, но необходимость заставляетъ его прибавлять свѣжіе лавры къ своему и безъ того пышному, если вѣрить его

словамъ. вѣнку. Ничего нѣтъ страннаго, что видъ непріятеля приводитъ Заглобу въ дурное расположеніе духа, разгоняетъ всю беззаботность. Не думайте, что онъ трусить, что его одолѣваетъ страхъ — о, нѣтъ. Но панъ Заглоба страдаетъ одышкой, а воинскій пылъ заставляетъ его носиться ураганомъ по полю битвы,—вотъ тутъ и выходитъ коллизія. Кромѣ того, панъ Заглоба очень тученъ; согласитесь, что это — серіозная помѣха въ горячкѣ битвы; вотъ почему онъ все время обливается потомъ. А то еще представляется такое соображеніе: вдругъ Создатель пожелаетъ наградить Заглобу вѣчнымъ царствіемъ за его добродѣтели и раньше времени позоветъ къ себѣ,—Заглобѣ этого страсть не хочется. Всѣ эти мысли приводятъ Заглобу въ раздражительное состояніе.

— Іисусе Христе!—восклицаетъ онъ при видѣ толпы запорожцевъ. Зачѣмъ ты создалъ столько сброду? Шапками насъ закидаютъ. А какъ хорошо было доселѣ на Украйнѣ! Идутъ и идутъ. И все это на нашу бѣду. Чтобъ вамъ вымереть всѣмъ!

— Не сквернословь, — замѣтилъ Скржетускій, — сегодня воскресенье.

— Правда, сегодня воскресенье, лучше бы о божественномъ думать. Pater nonster, qui es in coelis. Никакого уваженія отъ этихъ бездѣльниковъ ожидать нельзя. Sanctificetur nomen Tuum... Хорошая схватка будетъ на этой плотинѣ... Adveniat regnum Tuum... Ужъ во мнѣ духъ сперло... Fiat voluntas Tua... Чтобъ вамъ передохнуть!...

Но пану Заглобѣ пришлось прервать и молитву и сквернословіе: началась битва. Какъ ни старался Заглоба держаться вдалекѣ, пришлось и ему очутиться въ самомъ центрѣ рѣзни. Бѣшенство овладѣло шляхтичемъ, и онъ началъ махать саблей направо и налѣво; иногда сабля его разрѣзала только воздухъ, а иногда онъ чувствовалъ, что остріе погружалось во что-то мягкое. Вдругъ лошадь Заглобы остановилась и онъ почувствовалъ, что на него обрушилась какая-то тяжесть и покрыла ему всю голову, такъ что онъ очутился въ совершенной темнотѣ. Что это? Езусъ-Марія! Его взяли въ плѣнъ! И на лбу у него крупными каплями высту-

пилъ холодный потъ. Очевидно, та тяжесть, которую онъ чувствуетъ на своемъ плечѣ, это—гайдамацкая рука. Однако, почему же его не тащатъ куда-нибудь, не убиваютъ, а держатъ на мѣстѣ?

— Пусти, хамъ!—хрикнулъ онъ, наконецъ, сдавленнымъ голосомъ.

Молчаніе.

— Пусти, хамъ! Дарую тебѣ жизнь.

Никакого отвѣта.

Панъ Заглоба ударилъ ногами коня, но безъ всякаго результата. Тогда несчастный плѣнникъ, добывши кинжалъ, изо всей силы ударилъ имъ взадъ, но разсѣкъ только воздухъ. Въ одно мгновеніе схватилъ онъ обѣими руками заслону, закрывавшую ему глаза, и сорвалъ ее съ себя.

Что это? Гайдамаковъ нѣтъ. Вокругъ пусто. У ногъ Заглобы лежитъ запорожское полковое знамя. Очевидно, убѣгавшій казакъ бросилъ его такъ, что древко упало на плечо пана Заглобы, а матерія покрыла ему голову. Присутствіе духа сразу возвратилось къ Заглобѣ.

Наступилъ вечеръ. По обѣимъ сторонамъ рѣки и пруда зажглись тысячи костровъ, и столбы дыма, наподобіе громадныхъ колоннъ, поднимались къ небу. Усталое войско подкрѣпляло силы ѣдой и водкой, всюду шли разговоры о сегодняшней битвѣ. Громче всѣхъ повѣствовалъ панъ Заглоба, хвастаясь тѣмъ, что онъ успѣлъ сдѣлать, и тѣмъ, что онъ могъ бы сдѣлать, если бъ лошадь не испугалась.

— Я вамъ долженъ доложить, — говорилъ Заглоба въ кружкѣ шляхты, — что великія битвы мнѣ не въ диковинку; видывалъ я ихъ не мало, но такъ какъ долго пришлось бездѣйствовать, то я и побаивался — не врага, ктобы тамъ сталъ бояться хамства! — а собственной горячности, такъ какъ зналъ, что она можетъ завести меня очень далеко... Не первое-то ужъ знамя захватываю я на своемъ вѣку, но ни одно не досталось мнѣ съ такимъ трудомъ...

Нѣсколькими днями позже, угощаемый кучкой шляхты, первый разъ ставшей подъ оружіе, Заглоба съ глубочайшимъ презрѣніемъ къ ея неопытности ведетъ рѣчь въ такомъ родѣ:

— О, кто не нюхивалъ военнаго чесноку, тотъ еще не знаетъ, какія онъ слезы выжимаетъ. Поубавится у васъ брюхо, сожметесь такъ, какъ творогъ на солнцѣ. Ужъ мнѣ повѣрьте: я-то ужъ опытомъ извѣдалъ. Случалось бывать въ разныхъ оказіяхъ, случалось! Случалось захватывать не одно знамя, но долженъ я вамъ сказать, что ни одно не досталось мнѣ такъ тяжко, какъ это подъ Константиновомъ. Седьмой потъ, скажу вамъ, лилъ съ меня, пока удалось схватить его.

— Какъ же это случилось? Какъ? — спрашивала молодежь.

— А что, вамъ хочется, чтобы у меня языкъ во рту отъ верченія загорѣлся, какъ ось въ возу?

— Такъ надо полить! Вина!—кричала шляхта.

— Развѣ что такъ! — отвѣчалъ Заглоба и, довольный тѣмъ, что нашелъ внимательныхъ слушателей, приступалъ къ повѣствованію, начиная съ путешествія въ Галацъ.

Мы видѣли пана Заглобу въ роли воина, полюбуемся еще на него въ роли полководца.

Отправившись разыскивать княжну Елену, Скржетускій для большаго успѣха поисковъ рѣшилъ раздѣлить бывшій съ нимъ отрядъ на три, при чемъ во главѣ одного поставилъ пана Заглобу. Мы уже слышали исполненный достоинства отвѣтъ Заглобы на скептическій вопросъ Володыевскаго,— имѣетъ ли онъ опытность въ этомъ дѣлѣ. Поведеніе Заглобы въ роли командира такъ же своеобразно, какъ все, что онъ ни дѣлаетъ.

Очутившись одинъ во главѣ отряда, панъ Заглоба почувствовалъ, что ему какъ-то не по себѣ, и много онъ далъ бы, чтобы имѣть вблизи себя Скржетускаго, Володыевскаго или Лонгина Подбипьенту, при которыхъ онъ чувствовалъ себя въ полной безопасности,—до такой степени вѣрилъ въ ихъ храбрость и находчивость. «Счастіе еще», подумалъ Заглоба, «что Володыевскій идетъ гдѣ-нибудь вблизи, и я думаю, что самое лучшее, что мнѣ предстоитъ сдѣлать, это—присоединиться къ его отряду».

Но въ то время, какъ Заглоба успѣлъ уже укрѣпиться въ такомъ благоразумномъ рѣшеніи, вахмистръ докладываетъ,

что вдали показалась кучка невѣдомо какихъ людей. Непріятельское войско? Очень можетъ быть. Отвага вдругъ ударила въ голову Заглобѣ, какъ вино, онъ блеснулъ саблей и крикнулъ отряду громовымъ голосомъ:

— Укрыться за пригорками! Нападемъ на нихъ нечаянно! Покажемъ этимъ бездѣльникамъ!..

Хорошо обученный отрядъ въ мгновеніе ока исполнилъ приказъ, готовясь къ бою. Прошло около часу. Наконецъ, сталъ слышенъ шумный разговоръ приближавшейся ватаги, ухо улавливало мелодіи веселыхъ скрипокъ и бубна. Вахмистръ приблизился къ пану Заглобѣ и снова доложилъ:

— Панъ комендантъ, это — не войско, не казаки, это — свадьба.

— Свадьба? — спросилъ Заглоба. А вотъ я имъ сыграю, будутъ они знать.

Дѣйствительно, это было залихватское, но вполнѣ мирное шествіе свадебнаго кортежа, направлявшагося послѣ вѣнчанія въ домъ невѣсты на хуторъ. Когда это выяснилось съ полною несомнѣнностью, грозность Заглобы приняла ужасающіе размѣры. «Свадьба? Какъ же, знаемъ васъ! Бунтовать захотѣли? А вотъ я всѣхъ васъ прикажу на колъ посадить. Вы за всѣ разбойничества заплатите».

Но тутъ выступилъ посѣдѣвшій, видимо, опытный въ обращеніи съ расходившимися шляхтичами дружка и, заявивъ полную готовность даже быть посаженнымъ на колъ, если такова воля ясновельможнаго пана, просилъ его оказать только одно снисхожденіе — выпить меду за здоровье новобрачныхъ.

Панъ Заглоба стихъ, но физіономія его продолжала сохранять грозно-нахмуренный видъ. Лишь послѣ того, какъ нѣкоторая часть содержимаго кружки испарилась, складки на лбу расправились; лицо его изобразило и удивленіе и огорченіе:

— Ну, времена! — проворчалъ онъ. Хамы пьютъ такой медъ! Боже, и Ты видишь и не накажешь!

Когда же выступила впередъ съ просьбой смилостивиться еще и молодая, сердце Заглобы сразу же размякло. Полѣзъ

старый шляхтичъ къ кожаному поясу, досталъ, порывшись тамъ, послѣдній золотой и, вручая его молодой, растроганнымъ голосомъ сказалъ:

— Вотъ, возьми! Да благословитъ тебя Господь, какъ и всякую невинность.

Панъ Заглоба при этомъ расчувствовался: онъ готовъ былъ уже обниматься и брататься со всѣми.

Обстановка сразу перемѣнилась: и страхъ и гроза исчезли. Скрипка заливалась самымъ задорнымъ образомъ, бубенъ рычалъ глухимъ баскомъ. Выступилъ старый бондарь и сталъ упрашивать пана Заглобу заѣхать на хуторъ. Панъ Заглоба оглянулся на солдатъ; на ихъ лицахъ была написана безмолвная просьба смѣнить гнѣвъ на милость, которая и имъ обѣщала не мало наслажденія. Какое каменное сердце устояло бы противъ всѣхъ этихъ умоляющихъ взоровъ? И минуту спустя панъ Заглоба, свадебный кортежъ и военный отрядъ двинулись въ величайшемъ мирѣ въ хуторъ бондаря.

Бондарь былъ богатъ, свадьба была шумная. Всѣ выпили крѣпко, и панъ Заглоба такъ разохотился, что во всемъ давалъ тонъ. Каждый изъ паробковъ танцовалъ самъ другъ съ кружкой, которую опоражнивалъ предъ дверями комнаты, гдѣ находилась невѣста; танцовалъ такъ и панъ Заглоба, отмѣчая свое шляхетское званіе тѣмъ, что у него въ рукахъ была не простая кружка, а полгарнцувка (т. е. вмѣщавшая полгарнца напитка). Когда началась общая пляска, — первенствовалъ все-таки Заглоба, съ такимъ ожесточеніемъ предававшійся этому занятію, что даже полъ въ комнатѣ терпѣлъ весьма замѣтный ущербъ. Пьяное веселье залило всю усадьбу бондаря: на дворѣ зажгли костры (наступила уже ночь), солдаты на радостяхъ палили изъ мушкетовъ. Панъ Заглоба, красный, обливаясь потомъ, потерявшій устойчивость въ ногахъ, забылъ, что съ нимъ дѣлается, гдѣ онъ теперь. Въ туманѣ винныхъ паровъ онъ видѣлъ лица собесѣдниковъ, но, хоть убей, не могъ дать себѣ отчета, кто они; помнилъ только, что онъ на чьей-то свадьбѣ. Но на чьей? Да! Должно быть Скржетускаго съ княжной. Эта мысль гвоздемъ засѣла въ его головѣ, наполнила его радостью, и онъ

какъ безумный началъ кричать: «Да здравствуетъ! Панове, будьте здоровы!»—и наполнять все новыя полгарнцувки, раздавая ихъ, кто подъ руку попался. И тутъ же залился слезами. «Боже!» воскликнулъ въ отчаяніи Заглоба. «Нѣтъ ужъ мужества въ нашей Рѣчи Посполитой. Одинъ, пожалуй, Лащъ еще пить умѣетъ, а другой — я, Заглоба... И конецъ! Боже, Боже!» И онъ поднялъ очи къ небу, но замѣтилъ, что даже звѣзды пустились въ танецъ; это удивило Заглобу, но не успѣлъ онъ задать себѣ вопросъ: «Неужели я только одинъ не пьянъ in universo?», какъ земля закружилась подъ нимъ съ бѣшеной быстротой, и панъ Заглоба грохнулся на землю на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ.

Мы не станемъ описывать пробужденія Заглобы, его встрѣчи съ заклятымъ своимъ врагомъ Богуномъ и всѣхъ послѣдствій этой встрѣчи. Разсказъ Сенкевича въ этомъ пунктѣ достигаетъ чисто Майнъ-Ридовской интересности и для читателей юношескаго возраста доставитъ самое высокое наслажденіе Да и мы съ вами, хотя останемся равнодушны къ техническимъ усовершенствованіямъ, введеннымъ здѣсь беллетристомъ, не безъ удовольствія узнаемъ, что панъ Заглоба остался цѣлъ, невредимъ и долго еще будетъ оживлять своимъ появленіемъ страницы трилогіи.

Встрѣча Заглобы съ Володыевскимъ, пребываніе обоихъ на королевской элекціи въ Варшавѣ, поединокъ Володыевскаго съ Богуномъ,—все это даетъ Сенкевичу канву, на которой онъ со свойственнымъ ему изяществомъ и тонкостью отдѣлки вырисовываетъ отдѣльныя черточки этого самобытнаго польскаго характера. Обязанный исключительно Володыевскому своимъ спасеніемъ отъ цѣпкихъ рукъ Богуна, панъ Заглоба въ ту же минуту, какъ миновала опасность, по-братски дѣлитъ съ Володыевскимъ заслугу побѣды надъ Богуномъ; а когда неразлучная компанія четырехъ рыцарей сходится вмѣстѣ, Заглоба убѣдительно и безповоротно доказываетъ, что онъ достигъ наилучшихъ результатовъ въ экспедиціи: не потерявши ни одного человѣка изъ своего отряда, онъ добылъ больше другихъ свѣдѣній о княжнѣ. Пребываніе въ Варшавѣ навѣки укрѣпило дружбу Заглобы съ Володыев-

скимъ. Пріятели были неразлучны. Панъ Заглоба, очутившись среди съѣхавшейся на элекцію шляхты, почувствовалъ себя какъ рыба въ водѣ: всѣ невольно признали его первенство въ пирахъ и забавахъ, которые шли нескончаемой чередой во время элекціи. Володыевскій былъ еще новичокъ, но старался не отставать отъ своего ментора, которому онъ былъ очень полезенъ. Если острый языкъ Заглобы больно ужаливалъ какого-нибудь шляхтича, и тотъ хватался за саблю, Заглоба возражалъ: «Я былъ бы безсовѣстнымъ, если бъ сталъ обрекать пана на явную смерть, вступая съ вами въ поединокъ. Попробуйте сначала вотъ съ этимъ моимъ сынкомъ и ученикомъ, я не увѣренъ, устоите ли вы и противъ него». Тутъ изъ-за спины Заглобы выступалъ Володыевскій и послѣ нѣсколькихъ взмаховъ обыкновенно укладывалъ противника.

Послѣ поединка Володыевскаго съ Богуномъ и вплоть до Збаражской осады Заглобѣ не выпало случая проявить свою воинскую отвагу. Какъ ни упрашивалъ Володыевскій своего друга принять участіе въ ночныхъ нападеніяхъ на казацкіе отряды, Заглоба упорно отказывался, такъ объясняя свой отказъ: «У каждаго есть своя спеціальность. Врѣзаться съ гусарами яснымъ днемъ въ самую чащу непріятельскаго войска, разметать обозъ, брать знамена, вотъ это—мое дѣло; а пробираться ночью кустами за сбродомъ предоставляю тебѣ: ты тонокъ какъ игла и всюду пролѣзешь. Я—рыцарь стараго закала и люблю набрасываться какъ левъ, а не дробить рысцой, разнюхивая, какъ гончая собака». Да и львиную отвагу Заглоба не такъ-то ужъ склоненъ расточать по пустякамъ. «Трехъ вещей требуетъ моя храбрость», говоритъ Заглоба уже въ Збаражѣ, во время знаменитой осады: «вдоволь ѣсть, вдоволь пить и всласть выспаться».

Збаражская осада дала случай Заглобѣ не только совершить одинъ изъ главнѣйшихъ своихъ подвиговъ—одолѣть въ одиночной схваткѣ Бурлая (за подробностями отсылаемъ читателя къ II т. «Огнемъ и мечомъ»), но и доказать искренность своей дружбы съ Скржетускимъ, Володыевскимъ и Подбипьентой. Этой дружбѣ готовилось самое серіозное испыта-

ніе. Когда положеніе осажденныхъ сдѣлалось почти безвыходнымъ, Подбипьента въ порывѣ восторга, что ему, наконецъ, удалось исполнить свой обѣтъ относительно трехъ непріятельскихъ головъ, вызывается пробраться сквозь непріятельскіе обозы, которыми окруженъ городъ, и дать вѣсть королю. Въ одинъ мигъ вызываются идти вмѣстѣ съ нимъ и Скржетускій съ Володыевскимъ. Это приводитъ пана Заглобу въ ярость. «Мало вамъ того, что тутъ дѣлается? Мало вамъ крови, смерти, пуль, хотите себѣ прямо шею свернуть? Такъ идите же, а меня оставьте въ покоѣ. Это меня Богъ караетъ, что я связался съ такими безумцами, вмѣсто того, чтобы держаться компаніи благоразумныхъ людей. Подѣломъ мнѣ!» Видя, однако, что его гнѣвъ не оказываетъ ни малѣйшаго вліянія на пріятелей, панъ Заглоба мѣняетъ тонъ:

— Что я вамъ сдѣлалъ, — говоритъ онъ, — что вы меня такъ преслѣдуете? Ну, пусть бы еще панъ Подбипьента: извѣстно, что съ тѣхъ поръ, какъ ему удалось обезглавить трехъ величайшихъ дураковъ, самъ онъ остался четвертымъ. Пусть бы еще и Володыевскій: онъ при своемъ ростѣ можетъ спрятаться у казака въ голенищѣ, а потомъ какъ-нибудь вывернется, но Скржетускій?.. Вмѣсто того, чтобы отговорить ихъ отъ этого безумія, онъ еще подзадориваетъ ихъ и такимъ образомъ всѣхъ четырехъ насъ обрекаетъ на вѣрную смерть и муки...

— Какъ четырехъ?—спрашиваетъ Скржетускій. Развѣ и пану хотѣлось бы?..

— Да! — трагически воскликнулъ Заглоба, ударяя себя кулакомъ въ грудь.—Если одинъ изъ васъ или всѣ вмѣстѣ двинетесь, пойду и я. Пусть кровь моя падетъ на ваши головы. По крайней мѣрѣ, буду въ другой разъ имѣть урокъ, съ кѣмъ водиться. Идите къ дьяволу! — закричалъ Заглоба, когда пріятели стали поочередно обнимать его на-радостяхъ, — не нужно мнѣ вашихъ Іудиныхъ поцѣлуевъ.

Пріятели отправляются спросить разрѣшенія у князя Іереміи Вишневецкаго, и у пана Заглобы растетъ надежда, что князь не отпуститъ на явную погибель четырехъ лучшихъ воиновъ.

— Такъ вы вчетверомъ собрались идти? — спрашиваетъ князь.

— Ваша княжеская свѣтлость!—отвѣчаетъ Заглоба. Это они хотятъ идти, а я не хочу. Богъ свидѣтель, что я пришелъ сюда не для того, чтобы похваляться или припоминать свои заслуги, и если я о нихъ упомяну, то лишь для того, чтобы не было предположенія, что я струсилъ. Великіе это воины — панъ Скржетускій, Володыевскій и Подбипьента изъ Мышиныхъ Кишекъ, но вѣдь и Бурлай, который палъ отъ моей руки (я ужъ о другихъ заслугахъ умолчу), тоже былъ достойный воинъ, стоитъ Бурдабута. Богуна и трехъ головъ янычарскихъ; я думаю поэтому, что въ воинскомъ дѣлѣ я не хуже другихъ. Однако, другое дѣло—мужество, и совсѣмъ другое — сумасбродство. Крыльевъ у насъ нѣтъ, а пѣшкомъ не пробраться—это навѣрное.

— Значитъ, ты не идешь?—спросилъ князь.

— Я сказалъ, что не хочу идти, но не сказалъ, что не иду. Если Богъ разъ покаралъ меня ихъ компаніей, то я ужъ долженъ остаться въ ней до смерти. Когда путь нашъ станетъ тѣснымъ, сабля Заглобы еще пригодится. Не понимаю только, на что бы пригодилась смерть насъ четырехъ, и надѣюсь, что ваша княжеская свѣтлость не дадите позволенія на это сумасбродное предпріятіе.

— Прекрасный изъ тебя товарищъ,—сказалъ князь, — и очень благородно съ твоей стороны, что не хочешь оставлять пріятелей, но надежда обманула тебя: я принимаю вашу жертву.

Пану Заглобѣ не пришлось напрягать своей изобрѣтательности надъ приведеніемъ въ исполненіе замысла: Подбипьента погибъ, но Скржетускому удалось пробраться къ Яну-Казиміру. На этомъ эпизодѣ занавѣсъ величественно опускается, скрывая отъ насъ на нѣкоторое время героевъ «Огнемъ и Мечомъ».

Въ первыхъ главахъ «Потопа» Сенкевичъ выводитъ на сцену новаго героя—Кмицица, заплетаетъ канву новой фабулы. Панъ Заглоба въ это время отдыхаетъ послѣ бранныхъ подвиговъ въ семьѣ Скржетускихъ, пріютившихъ у себя без-

домнаго шляхтича, у котораго, по всѣмъ видимостямъ, нѣтъ ни кола, ни двора и ни единаго близкаго человѣка. Хорошо ему тамъ! Скржетускіе относятся къ нему, какъ къ отцу; налицо въ полномъ изобиліи всѣ условія, при которыхъ долженъ накопляться громадный запасъ храбрости: и ѣсть, и пить, и спать Заглоба можетъ, сколько заблагоразсудится. Пусть его нагуливаетъ мужества среди довольства и изобилія: скоро опять бѣдствія отчизны вызовутъ Заглобу изъ теплаго угла, и долго еще придется старому шляхтичу слоняться по полямъ и лѣсамъ Литвы и Польши, то дрожа отъ страха при стычкахъ съ непріятелемъ, то предаваясь благодушному настроенію въ минуты отдыха, въ дружеской компаніи съ пріятелями, изъ которыхъ недостаетъ теперь только пана Подбипьенты.

Въ Польшу вступили шведы. Когда вѣсть объ этомъ пришла въ Буржецъ (владѣніе Скржетускихъ), Заглоба рѣшаетъ, что шведы, надо полагать, провѣдали о томъ, что Заглоба состарился. Тѣмъ собственно и объясняется ихъ дерзость. А когда Скржетускій, рѣшившій ѣхать въ войско, спрашиваетъ Заглобу, будетъ ли онъ ему сопутствовать, тотъ отвѣчаетъ: «Я? Поѣду ли? Если бы ноги мои пустили корни въ землю, тогда, можетъ быть, не поѣхалъ бы, да и то сталъ бы просить кого-нибудь, чтобы меня выкорчевалъ. Такъ мнѣ хочется шведскаго мяса снова испробовать, какъ волку баранины... Знаю я ихъ, потому что еще при панѣ Конецпольскомъ бывалъ въ стычкахъ съ ними, а если хотите знать, кто взялъ въ плѣнъ Густава-Адольфа, то спросите покойнаго Конецпольскаго... Ни слова больше не скажу! Знаю я ихъ, но и они меня знаютъ. Состарился панъ Заглоба? Состарился? А вотъ увидите! Янъ, рѣшимъ—те скорѣе, что дѣлать, потому что я хотѣлъ бы уже сидѣть на конскомъ хребтѣ».

Послѣ совѣщаній рыцари рѣшили стать подъ знамя князя Радзивилла. Видъ княжескаго двора, гдѣ роилось множество люда, наполняетъ Заглобу величайшей радостью. Онъ въ своей стихіи. Тотчасъ послѣ аудіенціи у князя, во время которой Заглоба съ обычной скромностью упомянулъ о глав-

ныхъ своихъ воинскихъ подвигахъ, очутившись во дворѣ, гдѣ толпилась шляхта, панъ Заглоба произноситъ пламенную патріотическую рѣчь, призывающую шляхту сейчасъ же ополчиться на шведовъ. Шляхта слышитъ родной голосъ и набирается энтузіазма, но послѣдствія показываютъ, что панъ Заглоба далъ маху, вѣря въ преданность отчизнѣ Радзивилла: послѣдній задумалъ измѣну — и панъ Заглоба съ вѣрными друзьями очутился въ подвалѣ Радзивилловскаго замка.

Это уже второй разъ Сенкевичъ бросаетъ пана Заглобу въ ловушку (первая—встрѣча съ Богуномъ), чтобы дать ему возможность ярче обрисоваться предъ читателемъ. Извѣстно, что панъ Заглоба только тогда совершенно теряетъ присутствіе духа, когда ему приходится прямо стать лицомъ къ лицу со смертью; но достаточно ему за день знать о грозящей опасности—и панъ Заглоба не только далекъ отъ отчаянія, но даже доволенъ, что есть время придумать какой-нибудь «фортель», по его любимому выраженію. При усердномъ содѣйствіи Сенкевича эти фортели всегда выходятъ очень удачными. Такъ и здѣсь. Когда Радзивиллъ приказалъ отвезти Заглобу вмѣстѣ съ его друзьями и другими неподатливыми полковниками въ Биржи, гдѣ ихъ предполагалось казнить, Заглоба на пути заводитъ бесѣду съ глуповатымъ офицеромъ, конвоировавшимъ ихъ, выводитъ свое родство съ нимъ, уговариваетъ подсѣсть въ колымагу, подпаиваетъ его же водкой, потомъ усыпляетъ своими разсказами, а затѣмъ переодѣвается въ его костюмъ и скрывается во тьмѣ ночной, и наконецъ съ отрядомъ Володыевскаго освобождаетъ друзей. Не правда ли, какъ много счастливыхъ условій потребовалось подобрать, чтобы дать Заглобѣ возможность привести въ исполненіе свой хитрый планъ? Не часто въ жизни такъ случается.

Гораздо лучше, чѣмъ эти придуманныя приключенія, обрисовываетъ Заглобу болѣе простой и малозанимательный случай, какъ отрядъ однажды избралъ Заглобу региментаремъ (т.-е. временнымъ главнокомандующимъ). Въ глуши Подляшья стояли лагеремъ нѣсколько отдѣльныхъ польскихъ отрядовъ; къ нимъ начала собираться окрестная шляхта. По-

рядка, конечно, было мало, дисциплины еще меньше, и вотъ рѣшили избрать региментаря, въ рукахъ котораго находилась бы власть надъ всѣми отрядами. Взгляды всѣхъ какъ-то невольно обратились на Заглобу, который во время пирушекъ успѣлъ уже много наболтать шляхтѣ и о Збаражѣ (послѣ казацкихъ войнъ мы уже не слышимъ о путешествіи въ Галацъ), и о взятомъ знамени, и о Бурлаѣ, и о взятіи въ плѣнъ Густава-Адольфа. И когда собралась генеральная рада, панъ Заглоба былъ избранъ unanimitate.

Это было первое общественное признаніе заслугъ Заглобы. Герой нашъ слегка даже смутился, — не то, чтобы онъ былъ пораженъ неожиданностью избранія, но все же, согласитесь, минута была достаточно величественная, а при томъ Заглоба лучше другихъ понималъ, на какомъ зыбкомъ фундаментѣ воздвигнуто зданіе его славы!

Но это смущеніе было минутнымъ, и рѣчь, съ которою Заглоба обратился къ войску, показываетъ, что онъ сразу же вошелъ въ свою роль. Замѣчательнѣе всего, что этимъ избраніемъ остались довольны рѣшительно всѣ, въ томъ числѣ и нѣсколько полковниковъ, претендовавшихъ на эту честь. Панъ Заглоба и въ отвѣтственной роли регментаря остался вѣренъ себѣ: плохой военный, онъ отдаетъ приказанія въ такомъ духѣ, что истый вояка Володыевскій не можетъ слушать ихъ безъ улыбки, зато интендантскую часть Заглоба поставилъ на недосягаемую высоту. Замышляя устроить второй Збаражъ, Заглоба все вниманіе сосредоточиваетъ на томъ, чтобы побольше собрать провіанта. Нечего и говорить, что когда является миражъ дѣйствительной опасности (кѣмъ-то пущенъ слухъ о приближеніи шведовъ), душа Заглобы прячется въ пятки, и онъ все сдаетъ на руки Скржетускому.

Мощная фигура Заглобы много разъ выступаетъ на протяженіи «Потопа», — самой длинной части трилогіи, но мы ограничимся только-что приведенными эпизодами: безъ сомнѣнія, большинству читателей трилогія хорошо знакома, и едва-ли есть надобность шагъ за шагомъ слѣдить за похожденіями польскаго Уллиса. Что же касается уясненія типа,

то въ этомъ отношеніи дальнѣйшіе военные подвиги Заглобы ничего не прибавляютъ къ приведеннымъ наиболѣе характернымъ эпизодамъ. Да при томъ хочется посмотрѣть на Заглобу еще въ обстановкѣ обыденной, мирной жизни, въ кругу старозавѣтнаго шляхетскаго семейства.

Первыя главы «Пана Володыевскаго», — третьей части трилогіи,—наполнены именно такими идиллическими картинками, и читатель не безъ удовольствія встрѣчаетъ здѣсь въ числѣ другихъ лицъ и Заглобу. Сколько ни толкуй панъ Заглоба о своемъ военномъ призваніи, читатель убѣждается изъ первыхъ главъ «Пана Володыевскаго», что истинное назначеніе пана Заглобы—не мечь и не военный лагерь.

Получивъ извѣстіе о томъ, что Володыевскій, доведенный до отчаянія смертью невѣсты, хочетъ на всю жизнь запереться въ монастырской кельѣ, Заглоба ѣдетъ утѣшить стараго друга и отвлечь его отъ этой мысли. Заглоба думалъ съ быстротою птицы совершить путешествіе это въ Ченстоховъ, да не тутъ-то было: путешествіе какъ разъ совпало съ тѣмъ временемъ, какъ Янъ-Казиміръ отрекся отъ престола, и назначена была конвокація. Изо всѣхъ угловъ Польши тянулись въ Варшаву обозы избирателей, ѣхавшихъ, какъ подобаетъ въ такихъ случаяхъ, съ многочисленной челядью. Всѣ придорожныя корчмы были биткомъ набиты; но когда изъ брички вылѣзала внушительная фигура сѣдоволосаго старика, шляхта предупредительно очищала мѣсто для новоприбывшаго и наперерывъ заводила съ нимъ знакомство. Лаконическая фраза «Zagloba sum», которою объявлялъ свое имя старикъ, производила необыкновенный эффектъ. Миновали уже тѣ времена, когда Заглобѣ приходилось начинать съ миѳическихъ путешествій въ Палестину и мученичества въ Галацѣ. Теперь его всѣ знали, имя его носилось по всей Польшѣ, его произносили съ уваженіемъ. «Такъ вотъ онъ, Заглоба!» Раскрывались объятія, всѣ толпились около знаменитаго героя, ожидая своей очереди привѣтствовать его, а затѣмъ отдавался приказъ челяди распаковать одинъ изъ возовъ и достать оттуда что ни на есть завѣтнѣйшаго венгерскаго. По деликатности своей панъ Заглоба не могъ

огорчить радушнаго шляхтича и долженъ былъ посвятить смакованію его винъ и медовъ дня два-три.

Такіе перерывы наступали чуть ли не въ каждой корчмѣ, и вотъ почему Заглоба, думавшій достигнуть Ченстохова въ три дня, ѣхалъ чуть ли не три недѣли. Къ счастію, Володыевскій не успѣлъ еще произнести обѣтовъ предъ алтаремъ, и Заглобѣ удалось вырвать оттуда героя для лучшей жизни.

Чтобы совершенно отвлечь Володыевскаго отъ мрачныхъ мыслей, Заглоба рѣшаетъ поскорѣе женить его и выступаетъ въ роли свата. Идя навстрѣчу этому желанію своего героя, Сенкевичъ выводитъ на сцену двухъ паненокъ — Дрогойевскую и Іезерковскую, вплетаетъ еще одного рыцаря безъ страха и упрека и снова завязываетъ хитрѣйшій узелъ, который, впрочемъ, распутывается уже безъ участія Заглобы: Володыевскій въ порывѣ великодушныхъ чувствъ уступаетъ Дрогойевскую Кетлингу, обрекая себя одиночеству, но тутъ встрѣча съ плачущей Іезерковской моментально мѣняетъ его рѣшеніе, и онъ объявляетъ панну-гайдучка своей невѣстой, къ величайшей радости Заглобы, который именно такъ и предначерталъ распорядиться судьбой своего друга.

Къ сожалѣнію, Сенкевичъ не нашелъ нужнымъ описать свадебный вечеръ, который былъ, несомнѣнно, однимъ изъ счастливѣйшихъ дней жизни и для пана Заглобы. Въ подобные моменты обычное веселое благодушіе Заглобы лилось черезъ край и заражало всѣхъ, а рѣчь его особенно сверкала остроуміемъ. Вспомнимъ блистательный тостъ, съ которымъ выступилъ панъ Заглоба во время оно, въ день обрученія Кмицица съ Еленой Билевичъ и Володыевскаго съ Анусей Борзобогатой.

«Къ тебѣ обращаюсь», говорилъ Заглоба, «доблестный панъ Андрей, и къ тебѣ, старый мой другъ, панъ Михаилъ! Не въ томъ только ваше дѣло, чтобы становиться грудью противъ непріятеля, проливать кровь, губить враговъ! Трудъ вашъ нескончаемый: теперь, когда такое множество народа полегло во время этой ужасной войны, на вашей обязанности лежитъ пріумножить новыхъ гражданъ, новыхъ защит-

никовъ нашей милой Рѣчи Посполитой, и я уповаю, что для этого у васъ не окажется недостатка ни въ мужествѣ, ни въ охотѣ! Панове! За счастіе этихъ будущихъ поколѣній! Да благословитъ ихъ Богъ и да поможетъ имъ сберечь то наслѣдіе, которое мы оставляемъ имъ, возстановленное нашимъ трудомъ, нашимъ потомъ, нашей кровью! Пусть, когда настанутъ тяжкія времена, вспомнятъ и о насъ и не отчаиваются никогда, зная, что нѣтъ такого положенія, изъ котораго viribus unitis, при Божьей помощи, нельзя было бы выйти».

Чѣмъ ближе къ концу трилогія, тѣмъ рѣже является на сцену панъ Заглоба, а если и является, то уже не такъ овладѣваетъ общимъ вниманіемъ, какъ раньше, — скажетъ слово-другое и опять свѣситъ сѣдую голову на грудь: дряхлѣетъ старикъ, годы берутъ свое. Но и девяностолѣтнимъ старикомъ Заглоба не оставляетъ своего поприща.

Да и куда ему дѣваться? Панъ Заглоба не можетъ жить безъ товарищеской компаніи, а въ то время вся шляхта стояла подъ ружьемъ, отбиваясь то отъ запорожцевъ, то отъ шведовъ, то отъ татаръ и турокъ. Заглобѣ, несмотря на слабое развитіе въ немъ воинственныхъ инстинктовъ, пришлось большую часть жизни провести подъ открытымъ небомъ, на бивакѣ, въ занятіи человѣкоубійствомъ, которое ему вовсе не по душѣ. Но что-жъ дѣлать? «И такъ и этакъ —все равно, придется умирать», объясняетъ онъ Скржетускому, «а все же пріятно послужить отчизнѣ. Наилучшая награда — добрая компанія. Разъ ужъ человѣкъ сѣлъ на коня, то съ такими товарищами, какъ ты и Михаилъ, готовъ ѣхать хоть на край свѣта... Такова ужъ наша польская натура. Лишь бы разъ на коня сѣсть...» Принося всего себя отчизнѣ, Заглоба не имѣетъ никакихъ корыстныхъ видовъ, хотя изрѣдка сокрушается о томъ, что его славныя заслуги какъ-то остаются въ тѣни. «О другомъ на моемъ мѣстѣ хроники бы писали, но я не имѣю счастія... Такова-то людская благодарность... Да что тамъ? Не впервые мнѣ, не впервые... Другіе вотъ на староствахъ сидятъ и обросли жиромъ, какъ кабаны, а ты, старый, попрежнему тряси свое брюхо на клячѣ...»

Панъ Заглоба, конечно, не могъ подозрѣвать, что его имя пріобрѣтетъ извѣстность гораздо большую, чѣмъ онъ могъ разсчитывать, даже если бы исполнилась его мечта, и хронисты польскіе посвятили нѣсколько страницъ описанію его подвиговъ. Сенкевичъ обезсмертилъ Заглобу. Этотъ яркій типъ, обрисованный съ поразительнымъ мастерствомъ, составляетъ лучшее украшеніе всей трилогіи. Портретъ Заглобы не потускнѣетъ отъ времени, и причина тому лежитъ не только въ самобытности этого типа, но и въ цѣльности красокъ, взятыхъ беллетристомъ. Фигура Заглобы много выигрываетъ еще отъ сосѣдства съ ходульными героями — Скржетускимъ, кн. Іереміей Вишневецкимъ и проч. Среди этихъ лицъ, дѣйствующихъ по указкѣ автора и страдающихъ безжизненностью, поражаетъ своимъ подвижнымъ видомъ панъ Заглоба. Не трудно указать и причину, почему такъ выгодно отличается панъ Заглоба отъ всѣхъ другихъ лицъ трилогіи: Сенкевичу пришла несчастная мысль идеализировать своихъ героевъ, одинъ лишь панъ Заглоба счастливо избѣгнулъ этой операціи, оставшись такимъ, какимъ онъ былъ и въ жизни.

Дѣлая характеристику типовъ Сенкевича, критика (и русская и польская) очень часто даетъ Заглобѣ эпитетъ «польскаго Фальстафа». Какой тамъ Фальстафъ! Панъ Заглоба былъ обыкновенный шляхтичъ, такихъ Фальстафовъ было больше половины всей шляхты въ то время. Это — совершенно самобытный типъ, зародившійся на польской почвѣ, вскормленный особенностями польскаго государственнаго и общественнаго строя. Не въ томъ суть, что панъ Заглоба двухъ словъ не можетъ сказать, чтобы не похвастать, что въ каждомъ его шагѣ скрывается какой-нибудь «фортель». Не забудьте, что панъ Заглоба, при томъ громадномъ вліяніи, какое оказываетъ его острое слово на братьевъ-шляхтичей, есть общественный дѣятель въ самомъ прямомъ смыслѣ слова. Мы видимъ, какъ онъ бунтуетъ всю шляхту, когда Янъ-Казиміръ хотѣлъ спокойно отпустить шведскаго генерала Виртемберга, какъ одно слово его — «Измѣнникъ!» — разрушаетъ всѣ планы Радзивилла, какъ, наконецъ, подканцлеръ Ольшовскій пріѣзжаетъ къ нему якобы совѣтовать-

ся о предстоящей элекціи, а на самомъ дѣлѣ — съ цѣлью привлечь его къ своей партіи. Панъ Заглоба такъ крѣпко сросся съ родиной, что не отдѣляетъ своихъ личныхъ интересовъ отъ интересовъ общественныхъ. «Боже, Боже всемогущій — восклицаетъ онъ, третій день трясясь на сѣдлѣ безъ пищи и сна — когда Ты пошлешь наконецъ миръ этой несчастной Рѣчи Посполитой, а старому Заглобѣ теплую лежанку и супъ изъ пива, пусть бы даже и безъ сметаны?» Нельзя ни на одну минуту сомнѣваться, что панъ Заглоба любитъ отчизну самой пламенной любовью, а между тѣмъ куда онъ ведетъ ее? На это отвѣчаетъ исторія...

Въ повседневномъ быту панъ Заглоба является олицетвореніемъ той беззаботной удали, которая, кажется, ни въ какомъ слоѣ народномъ не дошла до такого градуса, какъ въ польской шляхтѣ. Настроеніе у нашего героя всегда розовое, онъ доволенъ всѣми и больше всего самимъ собой; натура у него, въ общемъ, безмятежная, грозный ропотъ (по его заявленію) могутъ поднять только кишки, если на нихъ сильно заиграетъ голодъ. Въ такія минуты лучше ужъ Заглобѣ и не возражать, — онъ дѣлается желчнымъ и раздражительнымъ, но быстро и легко успокаивается, если желудку дана соотвѣтствующая работа.

Таковъ панъ Заглоба. Въ его лицѣ Сенкевичъ воскресилъ одинъ изъ любопытнѣйшихъ типовъ польскихъ, и за это беллетристу простятся многіе грѣхи и увлеченія его трилогіи. Пройдутъ годы, многія страницы трилогіи поблекнутъ, покроются плѣсенью, и только тѣ сохранятъ первоначальную яркость, гдѣ является панъ Заглоба. Безспорно, это есть центральная фигура всей трилогіи.

Да и только ли одной трилогіи?

Въ продолженіе своей свыше чѣмъ двадцатипятилѣтней литературной дѣятельности Сенкевичъ далъ намъ громадную галлерею самыхъ разнообразныхъ типовъ. Творчество беллетриста отличается замѣчательною гибкостью, кругозоръ его обширенъ, а кисть иногда прямо волшебна. Не удивительно поэтому, что всю эту галлерею осматриваешь всегда съ неослабѣвающимъ восхищеніемъ, отдѣльными портретами и жанровыми сценами не устаешь восхищаться. Сколько гра-

ціи, нѣжной поэзіи и чарующей красоты въ его женскихъ типахъ! Какъ тонко разработана психологическая основа «генія безъ портфеля» — Леона Плошовскаго, смакующаго мученія своей души и Анелькиной! Даже въ первыхъ произведеніяхъ — «Эскизы углемъ», «Старый слуга», «Ганя» — сколько милой, изящной простоты и мягкаго колорита!..

Въ этой галлереѣ все-таки наибольшее вниманіе останавливаетъ портретъ пана Заглобы. На насъ глядитъ точно живое лицо. Во всѣхъ другихъ портретахъ хоть слегка даетъ себя чувствовать подрисовка: вотъ эта черточка смягчена, вотъ эта тѣнь положена слишкомъ сильно, здѣсь колоритъ нарочно сдѣланъ яркій. Портретъ пана Заглобы сдѣланъ безупречно. Старый шляхтичъ точно перенесенъ живымъ на полотно.

Въ день юбилейнаго праздника по поводу исполнившагося 25-тилѣтія литературной дѣятельности Сенкевича на сценѣ Варшавскаго театра была поставлена одноактная комедія юбиляра «Заглоба сватомъ». Мнѣ впослѣдствіи пришлось видѣть эту пьесу въ исполненіи польской труппы, гастролировавшей въ Петербургѣ. Пьеса видимо сдѣлана на спѣхъ и потому скучна и блѣдна. Слушая ее и вспоминая юбилейное чествованіе Сенкевича, мнѣ пришло на мысль, что гораздо лучше было бы, еслибъ панъ Заглоба, хоть на день, воскресъ тогда изъ мертвыхъ и явился поздравить Сенкевича съ юбилеемъ его блестящей дѣятельности, да кстати поблагодарилъ бы и отъ своего имени за то, что беллетристъ увѣковѣчилъ своимъ перомъ его имя и полную приключеній жизнь... Если панъ Заглоба и за гробомъ сохранилъ свой острый языкъ, привѣтственная рѣчь его доставила бы юбиляру такое же удовольствіе, какое этотъ послѣдній доставилъ своимъ читателямъ, воспроизводя съ точностью живую бесѣду Заглобы. Не берусь гадать, что, собственно, сказалъ бы Заглоба юбиляру; но, мнѣ кажется, въ его рѣчи была бы очень умѣстною та фраза, которою панъ Заглоба объяснялъ однажды иностраннымъ гостямъ характеръ польскихъ забавъ: «Apud Polonos», сказалъ Заглоба, «nunquam sine clamore et strepitu gaudia fiunt»...

З. Конопницкая о „Крестоносцахъ“ Сенкевича.

По общему голосу критики, «Крестоносцы» не прибавили свѣжихъ лавровъ къ славѣ ихъ творца; повѣсть эта вышла въ общемъ довольно тяжеловѣсною, хотя многія отдѣльныя сцены обработаны съ привычнымъ у этого романиста мастерствомъ. Иначе смотритъ на эту повѣсть М. Конопницкая. Въ сборникѣ критическихъ очерковъ этой беллетристки [1]) помѣщенъ обширный этюдъ о «Крестоносцахъ», написанный въ свойственномъ ей порывистомъ тонѣ, гдѣ «Крестоносцы» ставятся не только выше извѣстной трилогіи, но даже имъ приписывается какой-то мистическій смыслъ. Мнѣніе беллетристки во всякомъ случаѣ заслуживаетъ вниманія.

Драма, которую раскрываетъ предъ нами Сенкевичъ въ «Крестоносцахъ», тянется на всемъ протяженіи жизни польскаго народа, отъ временъ древнихъ до Грюнвальденской нитвы, отъ битвы—по сей день. Въ то время какъ въ «Огбемъ и мечемъ», «Потопѣ» и «Панѣ Володыевскомъ» романистъ далъ намъ картину оглушительнаго вихря, который съ шумомъ и трескомъ налетѣлъ на страну, многое переломалъ и уничтожилъ, а затѣмъ улетѣлъ и, вѣроятно, болѣе не повторится, «Крестоносцы», по мнѣнію Конопницкой, изображаютъ великое теченіе, «которое подмываетъ насъ каждую минуту», такъ какъ «всѣ элементы доисторической бури остаются незыблемыми въ атмосферѣ современной жизни». Тотъ историческій моментъ, который изображенъ въ трилогіи, безповоротно минулъ, оружіе направлено въ другую сторону или совсѣмъ бездѣйствуетъ, бой утихъ, врагъ пересталъ быть врагомъ, историческому спору истекла полная давность, Грюнвальденская же эпопея не знаетъ никакой давности. «Историческій процессъ длится и теперь, кипитъ неустанная борьба, и хотя оружіе теперь другое, но мощь

[1]) Marya Konopnicka. Trzy studya. O komedyi bohaterskiej Edmunda. Rostanda. Juliusz II Juliana Klaczki. Krzyzacy Henryka Sienkiewicza 1902.

ненависти, которая руководитъ имъ, остается одинаково смертельною». Сказано очень пышно, хотя нельзя сказать, чтобъ ясно.

Удобопонятнѣе становится рѣчь критика-беллетристки, когда она оцѣниваетъ свѣжую жизненность «Крестоносцевъ», несмотря на отдаленность историческихъ событій, представленныхъ въ нихъ. Источникъ этой жизненности, по мнѣнію Конопницкой, заключается въ необыкновенно широкой, универсальной основѣ, на которой Сенкевичъ строитъ зданіе своего произведенія. Основа эта—земля. «Одни воспѣли землю, какъ любовницу, начиная отъ былинки травы—покрова ея одежды и кончая татрскими высотами,—этой скалистой діадемой на ея головѣ, воспѣвали ее, какъ любовницу, то суровую и холодную, то любящую и ласкающую. Сенкевичъ же больше всего видитъ въ ней и прежде всего показываетъ въ ней мать. Мать-родительницу, мать-кормилицу, мать-воспитательницу поколѣній, одинаковую и въ незапамятное время, и теперь, и во вѣки. Поэтому въ то время, какъ тѣ будятъ въ васъ восхищеніе и упоеніе, до такой степени возвышенное, что оно уноситъ насъ выше объекта упоенія и восторга, выше самой земли, Сенкевичъ прижимаетъ насъ къ ней, привязываетъ, кладетъ на ея лоно, а наше сердце въ его рукахъ похоже на увядающій цвѣтокъ, который онъ втыкаетъ въ землю, землей укрѣпляетъ, землей питаетъ, чтобы онъ могъ ожить въ ней».

Построенное на такой основѣ, повѣствованіе Сенкевича дышетъ жизнью, движеніемъ, носитъ яркій блескъ. Какой бы эпизодъ ни изображался въ повѣсти, мы все время слышимъ то близкій, то отдаленный стукъ топоровъ, добывающихъ изъ-подъ лѣса цѣлину, скрипъ сохъ, воздѣлывающихъ эту цѣлину, говоръ толпы людской, заселяющихъ дѣвственный пустырь. Намъ все время слышенъ стукъ возовъ, тянущихся въ Краковъ съ хлѣбомъ, солью, деревомъ, рыбой, кожей, везущихъ оттуда сукно, бочки съ пивомъ и разный городской товаръ, и самый трактъ этотъ, заваленный этими обозами, все время стоитъ предъ читателемъ, пестрый и шумливый, какъ ярмарочная площадь.

Все повѣствованіе кажется какой-то громадной движущейся панорамой, такъ какъ дѣйствующихъ лицъ мы встрѣчаемъ почти постоянно въ дорогѣ, на конѣ. Что-то непонятное точно толкаетъ постоянно этихъ людей съ мѣста на мѣсто. Кто веселъ, чувствуетъ избытокъ силъ, садится на коня и съ пѣсней пускается въ путь, повидимому, безъ какой-либо опредѣленной цѣли, кто подавленъ, обиженъ судьбой, у кого камень на душѣ—тотъ тоже садится на коня и тоже ѣдетъ, куда глаза глядятъ. Это обиліе движенія пригодилось Сенкевичу не только для удобной постройки фабулы. Слѣдя за путешествующими героями, романистъ далъ намъ цѣльную и полную картину всего тогдашняго польскаго края, рисуетъ его дороги и пущи, замки и усадьбы, села и города, культуру, обычаи, понятія, чувства, его богатство и нужду, словомъ,—всю внутреннюю и внѣшнюю жизнь. Напрасно при этомъ Конопницкая особенно подчеркиваетъ ту особенность повѣствованія, что Сенкевичъ изображаетъ всю эту эпоху не съ точки зрѣнія теперешнихъ понятій, а ведетъ рѣчь въ духѣ понятій и чувствъ тогдашняго времени. Ну, еще бы! Это требованіе является элементарнымъ для историческаго романа, его по силѣ возможности выполняютъ даже посредственные романисты; для Сенкевича же, таланта крупной величины — подобная похвала звучитъ уже прямо обидой.

Конопницкая совершенно справедливо замѣчаетъ, что эта постоянная безпокойная подвижность, которую представилъ Сенкевичъ въ «Крестоносцахъ», не составляла какой-либо исключительной черты польскаго народа, а была повсемѣстною въ Европѣ. Однако, въ оцѣнкѣ этого явленія беллетристкѣ не удалось удержать себя въ границахъ безпристрастія. Въ то время, какъ у западно-европейскихъ народовъ эта «охота къ перемѣнѣ мѣстъ» вызывалась, по ея словамъ, безсознательно-дѣтскимъ любопытствомъ, желаніемъ самолично видѣть, гдѣ какъ живутъ, у поляковъ будто бы это явленіе выражало собою порывъ къ будущему, желаніе какъ бы убѣжать за предѣлы переживаемаго момента; въ первомъ случаѣ мы видимъ стремленіе перешагнуть гра-

ницы пространства, во второмъ—границы времени... Доколѣ, о Господи, придется еще встрѣчать эти запоздалыя отрыжки теоріи польскаго мессіанизма; неужели такъ трудно отрѣшиться отъ этой явно комичной химеры?

Если ужъ искать утѣшенія патріотическому чувству, то въ «Крестоносцахъ» даже безъ особаго труда и всякихъ натяжекъ можно найти болѣе основательные и нисколько не мутные источники услады. Сенкевичъ изображаетъ ту эпоху, когда живо и во всей силѣ дѣйственно было родовое начало; оно—руководитель всѣхъ дѣйствій этихъ людей, еще не знающихъ постыднаго эгоизма и трудящихся на пользу всего рода. Тутъ, правда, есть доля звѣринаго инстинкта, но вмѣстѣ съ этимъ дѣйствуетъ уже и та мысль, что отъ благосостоянія этихъ родовъ зависитъ процвѣтаніе отчизны. Вмѣстѣ съ этимъ немаловажнымъ двигателемъ для персонажа «Крестоносцевъ» является жажда славы, жажда подвига. Она доходитъ до куріозовъ: Збышко вывѣшиваетъ въ тавернѣ въ Сѣрадзи доску съ надписью, гдѣ приглашаетъ всякаго желающаго вступить съ нимъ въ бой, для прославленія своей возлюбленной Дануси. «Будетъ слава!» — первымъ дѣломъ кричитъ рыцарство при вѣсти о близкой войнѣ. О смерти же они думаютъ очень мало—и въ этомъ нѣтъ никакого преувеличенія, если вспомнить, какъ она была заурядна при тогдашнемъ складѣ жизни: человѣкъ позабывалъ страшиться смерти, переставалъ думать о ней, такъ какъ все время бывалъ на волоскѣ отъ нея. Полонъ правды слѣдующій характерный діалогъ между Збышкомъ, котораго можетъ ждать плаха, и Мацькомъ, безпокоющимся о его судьбѣ.

— Збышко!—говоритъ Мацько.

— Что вамъ?—отвѣчаетъ тотъ.

— Видишь ли, сообразивши этакъ все, я думаю, что тебѣ отрубятъ голову.

— Вы думаете?—отвѣчаетъ Збышко соннымъ голосомъ.

И, повернувшись къ стѣнѣ, онъ засыпаетъ сладкимъ сномъ.

— Ты ужъ не безпокойся! — говоритъ ему другой разъ Мацько. Не будутъ твои кости искать одна другую на по-

слѣднемъ судѣ. Гробъ я приказалъ тебѣ сдѣлать дубовый, пожалуй, даже каноники отъ Пресвятой Дѣвы Маріи лучшаго не имѣютъ. И того не допущу, чтобы тебя стали обезглавливать на томъ же самомъ сукнѣ, на которомъ обезглавливаютъ мѣщанъ. Я уже сторговался съ Амылеемъ, будетъ дано совершенно новое сукно».

У Збышка отъ этихъ обѣщаній повеселѣло на сердцѣ, и онъ поцѣловалъ руку дяди, примолвивъ:

— Да воздастъ вамъ Богъ за это!

А Мацько прибавилъ чрезъ минуту:

«И на поминовеніе души твоей не пожалѣю»...

Вообще талантъ Сенкевича достигаетъ наибольшей яркости, когда онъ въ образныхъ сценахъ рисуетъ наивную и простую душу людей трактуемой эпохи. Сцены эти полны жизненности и правды. Съ проницательностью перворазряднаго таланта романистъ угадалъ, какая пестрая смѣсь вѣрованій должна была существовать у этихъ людей, едва повитыхъ въ пелены христіанства; но въ картинахъ, поясняющихъ эту сторону дѣла, нѣтъ никакой грубоватой преднамѣренности, все полно художественности и производитъ цѣлостное впечатлѣніе. «Весь капиталъ вѣры этихъ людей,— говоритъ Конопницкая,— представляетъ собою оборотный капиталъ ихъ жизни. Вѣру точно такъ же каждый носитъ въ сердцѣ, какъ мечъ сбоку; то и другое — въ постоянномъ употребленіи... И Богъ и небо имѣютъ свои установленія, всѣмъ хорошо извѣстныя. Это — какъ бы король и его дворъ. И обычаи тамъ тоже какъ бы королевскіе и придворные, и нѣсколько дипломатичности нисколько не вредны для дѣла». Мацько, напримѣръ, твердо помнитъ, что «о всякомъ пустякѣ, гдѣ и святой помочь можетъ», не слѣдъ обращаться съ молитвой къ Господу Богу. А когда ему приходится дать лепту или какой-нибудь обѣтъ, онъ заботливо перебираетъ въ мысляхъ реестръ святыхъ, выбирая самыхъ могущественныхъ и соображая, въ какой области тотъ или другой святой состоитъ патрономъ, чтобы даръ или обѣтъ не пропалъ попусту. А въ рѣшительныя минуты, воздѣвая руки къ небу, Мацько прямо заявляетъ: «Если Ты, Господи, создалъ насъ и поселилъ здѣсь въ Богданцѣ, то теперь спасай!..»

Характеризуя принятую Сенкевичемъ систему обрисовки типовъ, Конопницкая подмѣчаетъ два способа. Въ однихъ случаяхъ романистъ пользуется кистью живописца, въ другихъ—беретъ рѣзецъ скульптора. Первымъ способомъ обрисованы тѣ историческія лица, о которыхъ у насъ уже имѣется готовое представленіе, служащее фономъ и для романиста. Въ такомъ видѣ выступаютъ предъ нами фигуры Ядвиги и Ягелло; индивидуальныя черты ихъ сглаживаютcя, гаснутъ въ глубокой перспективѣ. Другая, гораздо болѣе многочисленная серія фигуръ, какъ бы «вылѣпленныхъ изъ сырой глины», выступаетъ живой, движущейся, толкающейся толпой. По совершенству исполненія нѣкоторыя изъ этихъ фигуръ заслуживаютъ ближайшаго вниманія.

Таковъ Юрандъ. Въ его головѣ кровавымъ гвоздемъ вбита мысль о смертельной и неотмщенной обидѣ. Его сердце обратилось въ застывшую ледяную глыбу твердой, бѣшеной ненависти. Его душа запеклась кровью, какъ злокачественная язва, сдѣлалась молчаливой и строгой, какъ несчастіе—красиво характеризуетъ его Конопницкая. «Сосредоточенный, замкнувшійся въ себѣ, онъ имѣетъ единственную цѣль жизни, лучше сказать — цѣль смерти, и выполняетъ ее, какъ предназначенный ему жребій. Юрандъ не спрашиваетъ, какъ иные: будетъ ли война? или—когда будетъ? или—кто поведетъ на войну? Онъ—и солдатъ, и вождь для себя, во всякое время начинаетъ войну, во всякое время во всеоружіи гнѣва стоитъ подъ чернымъ знаменемъ мести. Юрандъ не бьется, какъ другіе, ради добычи, не беретъ выкупа за плѣнника. Онъ предпочитаетъ заснуть подъ звуки его стона, который раздается изъ ямы и который для него милѣе пѣсни».

Насколько Юрандъ поглощенъ смертью и разрушеніемъ, настолько Мацько поглощенъ интересами жизни и созиданія. Война его радуетъ потому, что она обогащаетъ: добычу богатую можно брать, да и плѣнникъ знатный выгоденъ, потому что за него хорошій выкупъ дадутъ. И это объясняется не жадностью Мацька: онъ жаждалъ этого богатства не для себя, а для фамиліи своей, для рода. Его преданность

интересамъ рода простирается такъ далеко, что онъ готовъ идти на казнь вмѣсто Збышко, чтобы спасти племянника, въ которомъ онъ видитъ продолжателя рода.

Одна изъ типичнѣйшихъ фигуръ «Крестоносцевъ», вышедшая настолько же живою, какъ панъ Заглоба въ трилогіи, это—аббатъ изъ Тульчи. Подъ монашескою сутаною въ немъ скрывается истый польскій шляхтичъ, изъ всѣхъ типовъ, кажется, меньше другихъ поддающійся какой-либо трансформаціи. Онъ носитъ здоровый мечъ и еще кинжалъ про запасъ, а если кто-нибудь выскажетъ удивленіе по этому поводу, то аббатъ, оглушивши его градомъ непонятныхъ латинскихъ текстовъ, въ заключеніе заявляетъ: когда святой отецъ запрещалъ духовенству носить оружіе, то онъ навѣрное имѣлъ въ виду людей низкаго происхожденія, потому что шляхтича Господь создалъ для оружія, и если бы кто-нибудь вздумалъ его отнимать, тотъ, очевидно, противился бы Его предвѣчнымъ опредѣленіямъ. Аббатъ радъ и поохотиться, не прочь поиграть въ кости, любитъ жирно поѣсть, охотникъ выпить. Неудивительно, что при такихъ условіяхъ ему тѣсно въ монашескомъ одѣяніи.

Марія Конопницкая.

«Не вамъ, соловушки, пришла я вторить; не съ тобой, роза, цвѣсти у дороги; не съ тобой, солнце, заливать блескомъ землю. Я пришла лить слезы съ тобой, горемыка».

Такъ опредѣляетъ Конопницкая главный мотивъ своей поэзіи.

Намѣреніе лить слезы со страждущимъ человѣчествомъ,— что и говорить, — благородное, похвальное. Но какой это скользкій путь, какъ онъ опасенъ для поэта! Нуженъ живой, чистый, неизсякаемый родникъ искренняго чувства въ душѣ поэта, чтобы его муза не звучала простою слезливостью. Есть еще другая опасность. Всѣ мы хорошо знаемъ, какъ непріятно поражаетъ насъ въ такъ называемой тенденціозной поэзіи малѣйшій фальшивый звукъ, самое слабое нарушеніе гармоніи. Усердный въ тенденціи, но неискусный въ мѣрѣ піита можетъ оглушать насъ каскадомъ громоподобныхъ фразъ, семибашенныхъ троповъ и фигуръ,—но мы остаемся равнодушны, и чѣмъ больше будетъ кипятиться онъ, тѣмъ больше на насъ вѣетъ холодъ его напыщенной фразы, и впечатлѣніе получится какъ разъ обратное тому, какое хотѣлъ вызвать поэтъ. Въ душѣ поднимается неистребимый протестъ противъ надуманныхъ, притянутыхъ за волосы сопоставленій и контрастовъ, долженствующихъ изобразить торжество несправедливости, вызвать чувство мести противъ зла, и, пожалуй, заставить иного нетерпѣливаго читателя

подумать съ досадою про поэта: «Да къ чему онъ такъ оретъ?» Вотъ почему мотивы гражданской скорби не часто удаются поэтамъ. У насъ, какъ извѣстно, только Некрасовъ въ полной мѣрѣ владѣлъ гармоніей въ этомъ отношеніи, и его «муза мести и печали» будитъ въ насъ то настроеніе, какое, думается, и хотѣлось вызвать поэту: негодованіе противъ всякой неправды, которою возмущался поэтъ. Такой же гармоніи удалось добиться отъ своей лиры и Конопницкой.

Удалось, правда, не сразу. Въ первый періодъ литературной дѣятельности Конопницкой (род. 1846 г., на писательское поприще выступила въ 1876 г.) крупицы неподдѣльной поэзіи разбавлялись большимъ количествомъ риторической водицы, и нѣтъ сомнѣнія, что причиной этого была та неувѣренность въ своихъ силахъ, которою бываютъ заражены всѣ новички: поэтесса не рѣшается пить изъ своего стакана, боится говорить своими словами, а старается стать подъ щитъ уже признанныхъ авторитетовъ. Объ этомъ много и подробно говорилось въ польской критикѣ, разбиравшей творчество поэтессы, и мы не видимъ надобности останавливаться на этомъ пунктѣ: мы вѣдь знаемъ и любимъ Конопницкую не такою, какою она была въ первыхъ робкихъ опытахъ ея пера, а выросшимъ, смѣлымъ, красивымъ талантомъ. Вся риторическая водица испарилась безъ остатка; осталась яркая, самоцвѣтная поэзія. Необходимо сказать еще, что, заимствуясь у предшественниковъ по части внѣшнихъ атрибутовъ поэзіи, Конопницкая съ перваго же шага является вполнѣ самобытною по содержанію поэзіи: она смѣло вводитъ общественный мотивъ, который остается преобладающимъ у нея и въ послѣдующее время. Заслуживаетъ быть отмѣченнымъ, что этотъ смѣлый шагъ въ польской поэзіи дѣлаетъ женщина.

Симпатичную особенность поэзіи Конопницкой составляетъ то, что она не гоняется за темами, во что бы то ни стало, замысловатыми, ухищренными, которымъ «суевѣрно бы дивился» читатель, ударяемый по нервамъ подчеркнутыми контрастами. Напротивъ, она любитъ говорить о вещахъ обыденныхъ, составляющихъ тему повседневнаго разговора среди самыхъ обыкновенныхъ людей; вся суть—только въ освѣ-

щеніи этихъ темъ, и необходимо сказать, что въ польской поэзіи никто еще не умѣлъ говорить такимъ теплымъ, задушевнымъ тономъ, съ такою искреннею любовью принимать сторону слабыхъ, обдѣленныхъ и обиженныхъ, какъ это умѣетъ дѣлать Конопницкая. Въ подобной роли поэты не забываютъ и себя, любятъ намекнуть на свое благородство, заявить о готовности вступить въ борьбу съ темными силами, пожертвовать собою, пасть въ неравномъ бою—да мало ли какихъ шаблонныхъ порывовъ къ самопожертвованію можетъ подобрать поэтъ для эффектнаго заключенія своей пѣсни въ защиту униженныхъ! Никогда этого не дѣлаетъ Конопницкая. Она правдива, не хочетъ и не любитъ на словахъ жертвовать собой, такъ какъ подобная жертва смѣшна и безполезна. Она знаетъ, что человѣкъ лѣнивъ, не охочъ къ помощи ближнему, что несчастному, обдѣленному судьбой, нельзя разсчитывать на сочувствіе сытыхъ и довольныхъ, что надъ его судьбой заплачетъ только вѣтеръ въ полѣ, что его согрѣетъ только солнце на небѣ, что ему ласково закиваетъ головкой только луговой цвѣтокъ... Ея муза поэтому звучитъ не столько местью, сколько печалью.

Не можетъ быть старѣе темы въ мірѣ, какъ дѣленіе людей на сильныхъ и слабыхъ, рабовъ и господъ, обиженныхъ и обидчиковъ. Эта тема избита и истрепана, но Конопницкая не боится пересмотрѣть вновь этотъ старый вопросъ («Czemu ta przepaść»). Она не можетъ примириться съ тѣмъ, что эта пропасть, которая дѣлитъ братьевъ, безбрежная, какъ океаны, и страшная, какъ открытыя раны, не становится меньше со временемъ. А между тѣмъ сколько усилій потрачено, чтобы сблизить ея края! Человѣчество ежедневно заливаетъ ее своею кровью, на днѣ ея хоронятся честь и преступленіе, слезы и проклятія, любовь и измѣна. И все это исчезаетъ безслѣдно, берегъ отъ берега попрежнему далекъ. Въ эту пропасть воинъ бросаетъ призывъ къ бою, мудрецъ—струю солнечнаго небеснаго свѣта, бѣднякъ—кровавый потъ и черный кусокъ хлѣба, герой—славу, геній—свой трудъ, жизнь—свои права и свой опытъ, душа—свою тоску, исторія—цѣлые народы, даже Юпитеръ поражаетъ ее молніей... А эта

пропасть остается ненасытной, лежитъ черным нятномъ на землѣ.

Поэты старыхъ временъ въ такихъ неутѣшительныхъ размышленіяхъ благочестиво возводили очи горѣ и призывали оттуда или грозную кару беззаконникамъ, или ждали какого-нибудь знаменія, что правда все-таки восторжествуетъ. Конопницкая рѣшительно изгнала этотъ незатѣйливый елей изъ своей поэзіи, совершенно не стала настраивать когда-либо свою лиру на церковно-молитвенный ладъ, что въ свое время явилось неслыханнымъ новаторствомъ, за которое поэтессѣ достаточно-таки досталось. Молодой критикъ Янъ Гнатовскій, разсмотрѣвъ поэзію Конопницкой «съ церковной точки зрѣнія», вынесъ самый суровый приговоръ, обвиняя поэтессу въ томъ, что она бросила перчатку христіанству, и въ прочихъ подобныхъ ужасахъ. И подумать только, что подобныя обвиненія совершенно серіозно высказывались въ польской критикѣ всего лишь какихъ-нибудь двадцать лѣтъ тому назадъ! Кстати тутъ будетъ сказать, что въ послѣднее время Конопницкая охотно беретъ библейскіе сюжеты, но едва-ли Янъ Гнатовскій (теперь уже надѣвшій сутану) получаетъ отъ этого много утѣшенія.

Даже безъ количественнаго подсчета разнообразныхъ темъ, которыхъ Конопницкой приходилось касаться за все время своей дѣятельности, можно утверждать, что вопросы общественной жизни—не въ томъ, конечно, узкомъ смыслѣ, какъ у насъ привыкли о нихъ подразумѣвать, — стояли у нея всегда на первомъ планѣ и чаще всего заставляли ее говорить о себѣ. Люди-братья подѣлили себя на касты, понастроили среди себя разныя перегородки, завели жадный и завистливый дѣлежъ радости и счастія, въ которомъ многимъ ничего не досталось; ненавидятъ, вмѣсто того, чтобы любить, губятъ и давятъ другъ друга, вмѣсто того, чтобы спасать и помогать,—вотъ циклъ общественныхъ явленій, которыя постоянно волнуютъ эту чуткую и впечатлительную душу и постоянно вызываютъ одинъ и тотъ же вопросъ: «Зачѣмъ? Почему?» Не приходится тратить умъ и фантазію, чтобы разыскивать поводы для этихъ вопросовъ; поводы эти даетъ на каждомъ шагу повседневная жизнь.

Вотъ милая сельская картина. Четверо мальчугановъ ходятъ съ «шопкой» славить Христа у ярко освѣщенныхъ оконъ почетныхъ обывателей. Какая прекрасная тема для идилліи! Но художественная и интеллектуальная впечатлительность, которою такъ счастливо одарена Конопницкая, не позволяетъ ей остановиться на внѣшнихъ трогательныхъ очертаніяхъ этой картинки: она видитъ и изнанку, которая даетъ другой поворотъ ея мыслямъ. Мальчуганы покорно сняли свои шапченки—и не диво: батогъ научилъ хлопа свято чтить панскій порогъ. Мальчуганы каждый годъ аккуратно появлялись на панскомъ дворѣ, но еще не было случая, чтобы отсюда пришелъ кто-нибудь въ бѣдную хату хлопа со словами: «Братья, Христосъ родился». А эту бы вѣсть не лишне было бы занести сюда, въ эту бѣдную хату, гдѣ осталась только горсть черной муки, гдѣ пьяный со вчерашняго дня мужъ бьетъ свою больную жену, гдѣ, словомъ, такъ много нищеты и невѣжества («Z zsopką»). Конопницкая нарисовала много подобныхъ сценокъ, въ которыхъ поэты привыкли схватывать и любоваться только ласкающей лицевой стороной, забывая про изнанку. А Конопницкая хочетъ, чтобы люди видали и изнанку. Изъ пѣсней этой категоріи напомнимъ популярное стихотвореніе Конопницкой о томъ, какъ Стахъ пошелъ на войну и какая судьба его встрѣтила. Иногда, впрочемъ, поэтесса впадаетъ въ противоположную крайность, становится неумолимой ригористкой, внося разсудочный элементъ и требованія равновѣсія даже въ область такого чувства, какъ любовь. Конопницкая не хочетъ признавать, что любовь и разсудокъ, любовь и какой бы то ни было аршинъ—вещи совершенно не совмѣстимыя. Типическій образецъ такого холоднаго ригоризма представляетъ собою довольно пространное стихотвореніе «Do kobiety». Это—цѣлая дидактическая программа для счастливаго супружества. Въ первой половинѣ стихотворенія поэтесса описываетъ любовь такою, какова она есть, милліоны разъ воспѣтую поэтами, съ ея трепетной радостью, захватывающимъ счастіемъ и беззавѣтностью. Но такую «поэтическую» любовь она считаетъ пустой забавою и рисуетъ другой идеалъ любви. Когда

женщина произноситъ: «люблю тебя»—поучаетъ Конопницкая это должно значить: хочу помочь тебѣ нести то ярмо, что зовется жизнью, быть свѣтомъ и украшеніемъ твоего дома, дѣлить съ тобою горькую чашу труда, слезъ и страданій, уединиться съ тобой въ тихомъ уголкѣ, пѣть пѣсни въ осеннюю ночь надъ колыбелью твоего ребенка... И много, много еще даетъ наставленій въ томъ же добродѣтельномъ духѣ. Цѣлый катихизисъ для добропорядочной буржуазной семьи.

Не будемъ ставить въ упрекъ Конопницкой этой натянутой нотки: съ кѣмъ изъ поэтовъ не случалось такого грѣха — разъ-два пропѣть пѣтухомъ послѣ соловьиныхъ трелей! Немногія нравоучительныя увлеченія Конопницкой все-таки не нарушаютъ того общаго впечатлѣнія, что поэзія ея, при всей серіозности содержанія, не перестала быть истинной лирической поэзіей — съ полетомъ чувства и сердца, а не одной только мысли.

Содержаніемъ опредѣляется и преобладающій тонъ поэзіи Конопницкой—грустный, печальный. Да и какъ могло быть иначе? Она хотѣла бы видѣть торжество правды на землѣ, а тутъ приходится убѣждаться, что родъ людской — племя Каина, зачатый въ гнѣвѣ и мести, весь вышелъ въ своего родоначальника-братоубійцу и преспокойно продолжаетъ зарѣзывать невинныя жертвы («O rodzie ludzki»). Но господство зла и насилія на землѣ не приводитъ все-таки Конопницкую къ полному отчаянію, и въ заключительномъ аккордѣ ея гражданскихъ стихотвореній всегда слышна надежда, что окончательная побѣда когда-то должна остаться за солнцемъ, alias—просвѣщеніемъ. Оно освѣтитъ землю, разгонитъ мракъ всѣхъ темныхъ угловъ, согрѣетъ тепломъ человѣка и всюду внесетъ свои радостно играющіе лучи. Мечтая о наступленіи этого дня, Конопницкая ждетъ для себя одной лишь награды, что надъ ея могильной плитой братъ брату съ любовью протянетъ руку...

Та же грустная нотка, что звучитъ въ стихотвореніяхъ Конопницкой на общественныя темы, слышится и въ описаніяхъ природы. Тутъ, быть можетъ, сказалось вліяніе об-

стоятельствъ личной жизни поэтессы. Храня въ душѣ горячую привязанность къ природѣ, Конопницкая между тѣмъ надолго бывала оторвана отъ нея: въ молодости ей приходилось жить въ Варшавѣ, съ которой она была связана условіями газетной работы; съ 1890 г. Конопницкая покинула родину и ведетъ жизнь скитальческую, проживая то въ Италіи, то во Франціи, то въ Мюнхенѣ. Поэтому въ ея описанія природы невольно закрадывается нотка тоски по родинѣ, по родному пейзажу, который ей рисуется изъ прекраснаго далека еще милѣе.

Пейзажный рисунокъ Конопницкой — перлъ художественной красоты. Имъ не устаешь любоваться. Тутъ не одни только красивыя внѣшнія очертанія; какъ и всѣ поэты съ горячей любовью къ природѣ, Конопницкая даетъ намъ чувствовать дыханіе и жизнь природы. Въ ея стихотвореніяхъ мы слышимъ сдержанную музыку темнаго лѣса, купаемся въ горячихъ волнахъ лѣтняго зноя, пьемъ ароматъ луговыхъ цвѣтовъ и свѣжескошеннаго сѣна. При этомъ Конопницкая заставляетъ природу, — говоря библейскимъ выраженіемъ, — соболѣзновать и совоздыхать человѣку въ его бѣдахъ и страданіяхъ. Когда старуха-мать хоронила своего милаго Ясенька, и колоколъ на костельной башнѣ молчалъ, потому что у старухи не было чѣмъ заплатить, на горе старухи отозвались темный лѣсъ тихимъ шумомъ да лиловые колокольчики, что растутъ въ этомъ лѣсу («Dzwony»). То же самое повторилось, когда копали яму убитому на войнѣ Стаху («A jak poszedl»). Конопницкая ищетъ также въ природѣ отклика своему личному настроенію, своимъ невеселымъ думамъ и мечтамъ. Безподобно изображено это сліяніе отзвуковъ природы съ личнымъ настроеніемъ въ гармоническихъ строфахъ «Zaszumial las». Передадимъ ихъ хоть въ грубой прозѣ. «Зашумѣлъ лѣсъ отъ стона моей пѣсни, пронесся лепетъ по верхушкамъ деревьевъ, рыдаютъ лѣсныя пташки; закипѣлъ ключъ отъ зноя моей скорби и разсыпалъ по оврагу серебристыя слезы; сорвался вѣтеръ, разбуженный откликомъ моихъ жалобъ, и унесъ шумъ печальныхъ думъ въ далекіе чужіе края; мое сердце, какъ набатъ, бьетъ тревогу, а сон-

ныхъ хатъ, гдѣ люди, братья, все-таки я не въ силахъ разбудить!»

Этотъ циклъ стихотвореній Конопницкой отличается одной особенностью: и по внѣшнему строю стиха, и по сочетанію образовъ, они приближаются къ народной пѣснѣ. Вообще Конопницкая почерпнула изъ стихій народнаго духа больше матеріала для своей поэзіи, чѣмъ это удалось кому-либо изъ другихъ польскихъ поэтовъ. При томъ же поэзія ея имѣетъ настоящій народный отпечатокъ, сказывающійся не въ фальшивомъ подражаніи внѣшнимъ формамъ народной пѣсни, не въ выведеніи на сцену умытыхъ и причесанныхъ автоматовъ въ деревенскихъ костюмахъ, а въ воспроизведеніи самаго духа народнаго языка, въ умѣньи уловить и нанести на полотно тѣ характерныя черточки, которыя въ совокупности опредѣляютъ самобытность народа, даютъ ему физіономію и отличаютъ его личность въ семьѣ человѣчества.

Относительно совершенства формы мы должны поставить поэзію Конопницкой очень высоко. Стихъ плѣняетъ своею музыкальностью. Даже русскій читатель, если бы вздумалъ читать стихотворенія Конопницкой вслухъ, не слишкомъ бы страдалъ отъ того несноснаго сочетанія согласныхъ по три-четыре сразу, и при томъ самыхъ тяжелыхъ (шипящихъ и свистящихъ), которымъ такъ пестритъ польскій языкъ. Риѳма льется плавно, легко, всегда чистая и свободная.

Самымъ крупнымъ по размѣру изъ стихотворныхъ произведеній Конопницкой является эпическая поэма «Pan Balcer w Brazylii», еще не оконченная (первыя части печатались въ журналѣ «Bibliot. Warsz». въ 1889, 1892, 1900—1901 г. г.), что, впрочемъ, не мѣшаетъ нѣкоторымъ изъ польскихъ критиковъ называть ее величайшей народной эпопеей, ставить на ряду съ «Иліадой», «Одиссеей» и «Паномъ Тадеушемъ». Поживемъ — увидимъ, какъ хорошо говоритъ про такіе случаи мудрая пословица, хотя ничто не мѣшаетъ признать, что окончаніе этой поэмы дѣйствительно будетъ праздникомъ польской литературы. Въ оцѣнкѣ замысла поэмы критики еще не столковались: одни находятъ недостатокъ поэмы въ томъ, что группа поляковъ изображена здѣсь въ условіяхъ

чужого быта, вдали отъ родины, такъ какъ будто вслѣдствіе этого поэма въ цѣломъ теряетъ типичный колоритъ; другіе наоборотъ видятъ въ этомъ особенный глубокій смыслъ поэмы, такъ какъ она закрѣпляетъ извѣстную эпоху въ жизни поляковъ —именно, когда народъ находился въ разсѣяніи. Поэма эта представляетъ собою мартирологъ польскаго крестьянина, выбитаго изъ колеи неожиданно сложившимися новыми экономическими комбинаціями и отправляющагося искать счастія за море. Очень хорошо то, что героемъ поэмы Конопицкая взяла ординарнаго польскаго мѣщанина и обрисовала его психологически вполнѣ правдиво, не отнимая у него того. что у него есть, но не надѣляя и тѣмъ, чего у него нѣтъ и быть не можетъ. Панъ Бальцеръ—кузнецъ, потолкался межъ людей, знаетъ и видитъ больше, чѣмъ темный мыслью и пассивный духомъ хлопъ изъ глухой деревни, не любитъ даромъ ѣсть хлѣбъ и по всѣмъ этимъ причинамъ и самъ себя считаетъ, и другіе его считаютъ человѣкомъ умнымъ и достойнымъ всякаго уваженія. Вмѣстѣ съ тѣмъ панъ Бальцеръ придаетъ не послѣднее значеніе тому, что онъ записанъ въ ремесленный цехъ, — этого вѣдь языкомъ не слижешь—что ему выпадаетъ честь носить цеховый значекъ, что у него въ Краковѣ есть братъ въ высокомъ званіи ксендза; сердце у него въ мѣру твердое, чувства уравновѣшены, мысли спокойны, такъ что прибѣгать къ помощи «Египетскаго сонника» приходится рѣдко и то лишь въ самомъ замысловатомъ стеченіи обстоятельствъ, котораго ему собственнымъ умомъ не распутать. Основной тонъ поэмы ни въ чемъ не отличается отъ прежнихъ произведеній Конопницкой. Оторванные отъ родной межи и родного плетня, эмигранты съ тоской вспоминаютъ покинутую родину при всякомъ случаѣ, когда вниманіе не разсѣяно какими-нибудь новыми впечатлѣніями въ невѣдомомъ краю, и эта тоска дрожитъ слезой въ каждомъ стихѣ поэмы.

Пробы Конопницкой на поприщѣ драматическаго творчества оказались не вполнѣ удачны. Необходимо, правда, сказать, что ея «драматическіе фрагменты» подъ заглавіемъ «Z przeszłości» относятся къ числу наиболѣе раннихъ произведеній (напечатаны 1881 г.), когда талантъ поэтессы еще

не окрѣпъ; этихъ фрагментовъ три. Въ первомъ излагается судьба Ипатіи, дочери математика Теона, горячо преданной изученію философскихъ наукъ и убитой толпою невѣжественныхъ александрійскихъ христіанъ подъ предводительствомъ монаха. Во второмъ разсказывается о врачѣ Везаліи, осмѣливавшемся рѣзать трупы съ научными цѣлями и за это взятомъ инквизиціей подъ ея горяченькое крылышко. Наконецъ, темой третьяго служитъ исторія Галилея съ его «E pur si muove». Идея «фрагментовъ» такъ рѣзко подчеркнута поэтессой, что понятна безъ разъясненій. Въ ней и лежитъ весь центръ тяжести этихъ драматическихъ отрывковъ. Риторики и благородства тутъ больше, чѣмъ въ остальныхъ произведеніяхъ Конопницкой, но нѣтъ живыхъ людей, а это-то всего больше и нужно для драматическаго произведенія. Такой же програмный характеръ носитъ и драматическая поэма «О Прометеѣ и Сизифѣ» (въ Bibl Warsz.» за 1892 г.), посвященная поэтическимъ размышленіямъ на тему о вѣчномъ разладѣ между копающейся въ кровавомъ трудѣ плотью и рвущимся въ небесную высь духомъ. Въ разработкѣ этой темы Конопницкой нельзя отказать въ нѣкоторой оригинальности; особенно пріятно то, что въ постановкѣ мыслей и вопросовъ нѣтъ той ребяческой капризности, на которую такъ часто приходится терпѣливо взирать въ стихотворныхъ стансахъ философствующихъ поэтовъ, торопящихся всѣмъ показать свои мозговыя линіи, замѣтныя только подъ сильнымъ микроскопомъ.

Изъ беллетристическихъ работъ Конопницкой первою по времени была новелла «Войцѣхъ Запала», увѣнчанная въ 1884 г. преміей на какомъ-то конкурсѣ. Съ 1888 по 1892 г. Конопницкая почти не пишетъ стихотвореній, зато одна за другой появляются ея повѣсти, разсказы, составившіе три сборника: «Moi Znajomi», «Na drodze» и «Nowele». Такимъ образомъ и въ области изящной прозы Конопницкая выступаетъ не случайной только гастролершей.

Въ людяхъ, съ которыми Конопницкая хочетъ насъ познакомить, она прежде всего «ищетъ святѣйшаго изъ званій» — человѣка. Вводя насъ въ душевный міръ этихъ людей,

беллетристка преимущественно касается тѣхъ сторонъ, которыя рисуютъ достоинство человѣка, не зависящее отъ той или другой общественной ступени, гдѣ онъ поставленъ. И въ беллетристикѣ Конопницкая остается вѣрна себѣ: она не ведетъ насъ въ роскошь барской обстановки и чаще всего заставляетъ спускаться въ сырые грязные подвалы съ ихъ сплошной нищетой и убожествомъ. Она хочетъ заставить насъ полюбить этихъ людей, принять къ сердцу ихъ горе (радости тутъ что-то невидно), главное—отнестись къ нимъ по-человѣчески, какъ къ братьямъ. Это ей и удается,—таковъ ужъ секретъ ея таланта.

Совершенно не давая этого почувствовать читателю, Конопницкая склоняетъ его симпатіи въ ту именно сторону, какую указываетъ ея чудное сердце.

Иногда это, казалось бы, не такъ просто сдѣлать. Заставьте-ка кого-нибудь проникнуться симпатіей къ еврею, симпатіей не отвлеченно-публицистической (такихъ симпатій по пятачку за строку у насъ не занимать стать), а искренней, настоящей, родящейся не въ умѣ, а въ тайникахъ сердца. Вещь довольно трудная, а Конопницкой это удается безъ всякихъ усилій. Что, кромѣ симпатіи и уваженія, можетъ почувствовать читатель къ «Менделю Гданскому»? Конопницкая взяла его такимъ, какъ онъ есть на самомъ дѣлѣ; и кто живалъ въ захолустныхъ мѣстечкахъ «еврейской осѣдлости», тому очень хорошо знакома сгорбленная фигура этого переплетчика, по двѣнадцать часовъ въ сутки согнувшагося надъ своимъ станкомъ, дающимъ ему скудное пропитаніе. Что Мендель трудолюбивъ — это еще не достоинство, ибо бѣдняку невозможно обходиться безъ этой добродѣтели; что Мендель сердечно любитъ своего внука, тихо стонетъ при воспоминаніяхъ о своей женѣ и безвременно умершей младшей дочери—тоже не особенно насъ трогаетъ, ибо все такое врождено одинаково и эллину, и іудею. Чѣмъ же Конопницкая вызвала у насъ симпатію къ этому человѣку? А вотъ чѣмъ. Еврей всѣмъ намъ кажется чужой, такъ какъ мы не признаемъ въ немъ свойственной всѣмъ намъ привязанности къ тому клочку земной поверхности, который

зовется родиной. У еврея—думаемъ мы—нѣтъ чувства родины, онъ относится къ ней по правилу: ubi bene, ibi patria, что значитъ, какъ толковалъ нѣкоторый юмористическ iйлатинистъ,—гдѣ больше денегъ, тамъ лучше. А Конопницкая увѣряетъ насъ, что это неправда,—что еврей такъ же привязанъ къ родному углу, какъ и всякій другой. Когда къ Менделю приходятъ съ извѣстіемъ, что жидовъ собираются бить, онъ спрашиваетъ: зачѣмъ ихъ будутъ бить? Развѣ потому, что они жиды? Но въ такомъ случаѣ почему не вырубятъ всю березу въ рощѣ потому, что она береза? — На этотъ прямой силлогизмъ собесѣдникъ Менделя заявляетъ, что береза — наша, въ нашемъ лѣсу, выросла на нашей землѣ.

— Ну, а я на какомъ грунтѣ выросъ?—спрашиваетъ Мендель.—Развѣ я пришелъ сюда, какъ въ корчму? Съѣлъ, выпилъ и не заплатилъ? Съѣлъ я тутъ кусокъ хлѣба—правда. Выпилъ воды—и это правда. Но мои руки даромъ воды и хлѣба въ ротъ не носили. Я этими руками заплатилъ за каждый кусокъ хлѣба и за каждый ковшъ воды.

А когда погромъ дѣйствительно разразился и въ немъ пострадалъ любимый внукъ Менделя—старый переплетчикъ заявляетъ, что онъ надѣлъ трауръ. «Вы говорите, что у меня никто не умеръ? Нѣтъ, у меня умерло то, съ чѣмъ я явился на свѣтъ, съ чѣмъ сжился въ семьдесятъ семь лѣтъ, съ чѣмъ я и умирать думалъ... У меня умерла привязанность къ этому городу!»

Всѣ мы думаемъ, что евреи не способны ни къ какимъ лучшимъ, благороднѣйшимъ порывамъ, что они бываютъ въ состояніи отдаваться единственному увлеченію—денежно-коммерческому. Чтобы разубѣдить насъ въ этомъ предразсудкѣ, Конопницкая знакомитъ насъ съ Лейбой Рабиновичемъ, прозваннымъ «Яктономъ», который оказался способнымъ на героическій подвигъ. Когда хоронили самоубійцу Фроима Портера и все мѣстечко издѣвалось надъ трупомъ несчастнаго, оплевывая его и бросая грязью и каменьями, Лейба Рабиновичъ, возвращавшійся съ молитвы, растолкалъ воющую толпу, сорвалъ съ себя саванъ, накинулъ его на обез-

чещенный трупъ и, положивши сверху мѣшочекъ съ Торой, прижалъ рукой. Неописуемый, страшный вопль пронесся по всей толпѣ. Была минута, когда казалось, что толпа его разорветъ. Кто-то сорвалъ у него шапку съ головы, кто-то другой схватилъ ермолку, хватали его за одежду, изорвали халатъ. Оскорбленія, крики, проклятія посыпались теперь на него. Тѣ, которые шли рядомъ, плевали ему въ лицо, толкали, а тѣ, что подальше, бросали въ него грязью. Мальчишки свистали съ крикомъ: «Яктонъ, Яктонъ!» (т. е. дурачекъ). Лейба Рабиновичъ ни на шагъ не попятился. Высокій, худой, онъ гордо шелъ, широко шагая, рядомъ съ носилками, въ одномъ жилетѣ, изъ подъ котораго спереди и сзади выглядывали молитвенные шнурки; высоко поднявъ голову, онъ одну руку съ накрученнымъ молитвеннымъ ремнемъ держалъ на груди, другою прижималъ на удавленникѣ шелковый мѣшочекъ съ Торой. Эта святыня оберегала несчастный трупъ отъ издѣвательствъ. Позорная кличка Яктонъ такъ навсегда и осталась за нимъ, но онъ «прежней фамиліи своей не носилъ съ такъ высоко поднятой головой, какъ теперь носитъ свою кличку».

Полна драматизма судьба «Панны Флорентины». Вся ея жизнь—сплошной подвигъ. Дочь «благородныхъ» родителей, воспитанная въ пансіонѣ, панна Флорентина надѣлена особымъ «гоноромъ», который для нея не что иное, какъ тяжелый крестъ въ жизни. Усилія ея направлены на то, чтобы скрыть отъ посторонняго глаза вопіющую нищету, изъ-за которой она вынуждена бѣгать по домамъ за шитьемъ, часто закладывать въ ломбардъ свою единственную жакетку и все-таки голодать. А нужда все-таки растетъ и приводитъ, наконецъ, къ тому, что мать-старуха, одѣвшись въ спеціальный костюмъ, вступаетъ въ ряды профессіональныхъ нищихъ на паперти какого-то костела. Такое униженіе матери доставляетъ паннѣ Флорентинѣ острую муку—до того острую, что она переходитъ въ какое-то наслажденіе. Такъ, по крайней мѣрѣ, признается сама панна Флорентина. «А что говорятъ о человѣкѣ, будто онъ того или другого не перенесетъ, такъ это неправда. Все перенесетъ, на все хватитъ

силъ! Онъ не только привыкнетъ, но такъ полюбитъ свое страданіе, такъ зачаруется имъ, что ѣсть позабудетъ, а пойдетъ къ нему, чтобы оно ему грызло сердце... Все остальное въ мірѣ станетъ для него какъ бы сномъ, а вотъ это самое страданіе станетъ для него жизнью, дѣйствительностью... Вотъ какъ пьяницу тянетъ къ водкѣ, такъ и меня тянуло въ этотъ костелъ. Взглянуть только, увидѣть, услышать голосъ»...

Однако, нѣтъ ли тутъ какого-нибудь недоразумѣнія? Вѣдь попадись этотъ гоноръ писателю съ веселымъ, смѣшливымъ настроеніемъ, онъ сдѣлаетъ изъ него премилый юмористическій очеркъ. А Конопницкая требуетъ нашего сочувствія паннѣ Флорентинѣ и не потому только, что она ведетъ непосильную борьбу съ нуждой, но и въ страданіяхъ ея сплошь исколотой амбиціи. Но вдумайтесь, откуда идетъ у панны Флорентины эта амбиція, и вамъ понятнымъ станетъ отношеніе Конопницкой къ изображаемому сюжету. У панны Флорентины—очень тонко развитая деликатность и почти болѣзненно настроенное чувство собственнаго достоинства, именно человѣческаго достоинства, которое болѣе всего страдаетъ отъ высокомѣрія, ни на чемъ не основаннаго. И когда къ паннѣ Флорентинѣ отнеслись просто, по-человѣчески, она безъ утайки разсказала свою грустную исторію, не стыдясь униженій бѣдности, которая, кажется, такъ и не выпуститъ ее изъ своей кабалы. Такъ именно просто, почеловѣчески, отнеслась къ этой женщинѣ Конопницкая, и въ этомъ весь секретъ, почему писательница заставляетъ читателя видѣть въ паннѣ Флорентинѣ фигуру трогательную, а не смѣшную.

Въ такомъ же трогательномъ видѣ Конопницкая обрисовываетъ красавицу «Юзефову», которой тоже приходится нести крестъ. Ей, сильной, здоровой, жаждущей любви, судьба послала ничтожнаго, тщедушнаго мужа, который и бить-то жену не умѣетъ, какъ слѣдуетъ, а если подниметъ свой маленькій кулакъ, то Юзефовой приходится его же еще поддерживать, чтобы онъ не упалъ. Вся забота Юзефовой—скрыть отъ постороннихъ это физическое ничтожество мужа, заставить думать, что онъ сильный—не чета бабѣ. И когда

случилось, что отъ не осторожнаго толчка мужа Юзефова поскользнулась и замертво расшибла голову—для нея, хотя за часъ до смерти, наступила минута счастія. Ея самолюбіе удовлетворено, и она умираетъ съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ. Казалось бы, болѣе глубокимъ трагизмомъ отличается судьба «Крысти»: мужъ ея ушелъ въ солдаты, а Крыста прижила ребенка съ нанятымъ въ домъ работникомъ; когда же мужъ неожиданно возвращается домой, Крыста со стыда и отчаянія бѣжитъ топиться. Странное дѣло: разсказъ этотъ производитъ меньшее впечатлѣніе, быть можетъ, именно вслѣдствіе этой шаблонности сюжета.

Разсказъ «Наша лошадка», оставляющій глубокое впечатлѣніе не только бытовымъ матеріаломъ, но и своей художественной красотой, задуманъ очень оригинально. Разсказъ ведется отъ имени мальчика, сознанію котораго доступна только внѣшняя сторона окружающихъ его явленій. Дитяти все, что происходитъ вокругъ, кажется забавнымъ и интереснымъ, и его разсказъ ведется въ рѣзвомъ тонѣ. А между тѣмъ этотъ разсказъ—цѣлая трагедія заброшенной въ подвалъ рабочей семьи, которую посѣтило два несчастія сразу. Мать слегла въ постель въ первыхъ приступахъ чахотки. Ей нужно хорошее питаніе, сухое жилище, тепло, а тутъ, какъ на бѣду, отецъ сидитъ безъ работы съ закрытіемъ навигаціи (дѣло происходитъ въ Варшавѣ). Начинается постепенная распродажа скудной обстановки еврею — «ганделю» (то же, что у насъ въ Петербургѣ татаринъ — «князь»). Сначала идетъ лишняя кровать, подушки, бѣлье, отцовскій кунтушъ, кресла... Дѣти не натѣшатся, и младшій мальчуганъ то и дѣлаетъ, что, ходя по опустѣвшей комнатѣ, ищетъ, что еще можно продать. «А вотъ батюшка», обращается онъ къ отцу, «не продать ли кадку для стирки бѣлья или часы»?. Матери между тѣмъ все хуже, отецъ ходитъ мрачнѣе ночи, и во вторую очередь идутъ почти завѣтныя семейныя драгоцѣнности: мѣдная кастрюля, стоявшая больше для украшенія, и утюгъ. Гандель ужъ ходитъ ежедневно, и переноска, по его порученію, какой-нибудь купленной вещи—настоящій праздникъ для дѣтворы. А матери все хуже... Отецъ, уже

давно рѣшившійся разстаться съ полушубкомъ въ виду приближающейся весны (хотя стоятъ еще февральскіе холода), достаетъ теперь изъ сундука свою завѣтную святыню—гармонику, съ которою у него связаны лучшія воспоминанія въ жизни. Слѣдующая затѣмъ сцена написана съ такой художественной красотой, что мы хотѣли бы дать читателямъ возможность полюбоваться ею.

«Отецъ вынулъ изъ сундука гармонику и, подсѣвши на кровать, гдѣ лежала мать, началъ играть. Мать нѣсколько оживилась, велѣла принести къ себѣ на кровать Петруся. Мы тоже стали поближе, слушая игру.

Сначала отецъ игралъ что-то веселое и, наигрывая, говорилъ матери:

— Помнишь ли, Анулька, Бѣляны? Помнишь, какъ мы съ тобой познакомились? Какъ я игрывалъ, когда случалось идти мимо тебя?

— Помню, сердце мое,—тихо сказала мать.

— А вотъ это? Помнишь?.. Это было въ Троицу, на одпустѣ, въ Сольце...

— Помню...—прошептала мать.

— На тебѣ тогда была надѣта розовая съ клѣточками юбка. Очень мнѣ потомъ было тоскливо безъ тебя, что-то около трехъ дней,—говорилъ отецъ теплымъ тономъ.—А вотъ это, Анулька?..

— Этого не помню...

— Какъ не помнишь? Да вѣдь это было на Волѣ, куда мы пошли со своякомъ, я еще тогда бросилъ стаканомъ въ того нѣмца, что подсѣлъ къ тебѣ...

— Правда, помню!—прошептала мать.

Отецъ продолжалъ играть, держа гармонику на колѣняхъ, раздвигая и сдвигая ее и дробно перебирая пальцами по клавишамъ.

Я въ жизни еще не слыхалъ болѣе красивой музыки.

— Анулька! А вотъ это?.. А!..

— Помню, Филиппушка!—сказала мать,—это было въ то воскресенье, когда ты далъ ксендзу за выкличку. Мы были съ покойной матушкой въ Черняковѣ...

— А какъ тогда сиренью пахло!.. Сколько соловьевъ пѣло!..

— А какъ ты красива была!.. Какъ роза въ полномъ цвѣту .

— А какъ ты тогда игралъ, сердце мое!.. Какъ ты игралъ!

Матушка улыбнулась, потомъ вздохнула и, казалось, начала засыпать.

Отецъ и теперь хорошо игралъ. Сначала весело, залихватски, какъ бы для танца, такъ что ноги у насъ невольно подпрыгивали. Потомъ къ этой веселости какъ будто что-то примѣшалось, все печальнѣе и печальнѣе, какъ бы для слезъ; даже Феликъ утеръ кулачкомъ глаза разъ и другой; наконецъ, отецъ сразу съ двухъ сторонъ растянулъ гармонику, которая заиграла такимъ жалобнымъ голосомъ, какъ органъ, когда отпѣваютъ покойника.

Мать заснула.. Отецъ еще посидѣлъ съ опущенной головой, потомъ, вздохнувши, поднялся, закуталъ гармонику въ красный платокъ, взялъ ее подъ мышку и, насунувши шапку, на цыпочкахъ вышелъ»..

Когда комната окончательно опустѣла и стѣны оголились, отецъ рѣшилъ продать послѣднее достояніе—лошадь, которая помогала ему кормить семью. Лошадь купилъ кумъ, который пообѣщалъ, въ случаѣ смерти матери, безплатно отвезти гробъ на кладбище. Этотъ печальный конецъ не заставилъ долго себя ждать. Вниманіе дѣтворы занято было не столько смертью матери, сколько свиданіемъ съ лошадью, съ которою дѣти сжились и сроднились... Сцена похоронъ, съ этимъ контрастомъ безысходнаго горя отца и рѣзвыхъ шалостей дѣтей, принадлежитъ къ числу тѣхъ перловъ художественнаго творчества, которые, если разъ съ ними познакомишься, никогда не забываются. Въ каждой фразѣ звучитъ сдавленное рыданіе.

И большинство беллетристическихъ произведеній Конопницкой, подобно стихотвореніямъ, трактуютъ одну и ту же тему—безграничное море людского страданія. Въ этихъ томикахъ, какъ на свиткѣ Іереміи пророка, написаны и жалость, и слезы, и рыданіе... Въ чисто-эпическомъ духѣ беллетристка пишетъ рѣдко (таковъ напр., небольшой разсказъ «Маріанна въ Бразиліи»).

8*

Для полноты нашего очерка упомянемъ вкратцѣ о переводахъ и критическихъ опытахъ Конопницкой. Она много перевела изъ Гейне, Врхлицкаго, Ады Негри, Ростана, Гауптмана и др. Изъ критическихъ работъ ея назовемъ: «Pies'niarz Ukrainy» (рѣчь идетъ о Богданѣ Залѣсскомъ), о пьесахъ Гауптмана (въ «Bibl. Warsz.» 1892 г.), объ Асныкѣ (ib., 1897 г.), о комедіяхъ Ростана (ib., 1898 г.), «Rok Mickiewiczówski» (1900 г.), о «Крестоносцахъ» Сенкевича и др. Критика ея, конечно, субъективна, но въ этомъ-то весь ея интересъ. Въ 1898 г. Конопницкая издала томикъ своихъ путевыхъ впечатлѣній («Ludzie i rzeczy»). Нѣкоторое время она редактировала журналъ «Swit».

Пора подвести итоги сказанному. Талантъ Конопницкой горитъ полнымъ блескомъ, и опредѣлять мѣсто, которое ей выпадетъ занять на страницахъ исторіи польской литературы, еще рисковано. Но основныя черты ея писательской личности уже опредѣлились вполнѣ, и о нихъ можно говорить вполнѣ увѣренно. Конопницкая избавляетъ критику отъ труда дѣлать бухгалтерскую выборку изъ ея произведеній, чтобы дать характеристику міросозерцанія писательницы. Свое credo она съ подробностью изложила въ нѣсколько суховатомъ, правда, стихотвореніи подъ тѣмъ же заглавіемъ. Не останавливаясь на этомъ подробномъ перечисленіи, скажемъ, что тутъ названы всѣ свѣтлые идеалы, въ которые полагается вѣровать по либеральному катихизису. Основная мысль—что торжество зла и темной неправды будетъ не вѣчно, что побѣда все-таки останется за просвѣщеніемъ, справедливостью и что она приведетъ людей къ братству и равенству. Вся литературная дѣятельность Конопницкой была вѣрнымъ служеніемъ этимъ идеаламъ, которымъ она предана глубоко и искренно. Конопницкая—талантъ стараго закала: ея принципы — не на кончикѣ только пера, а ими проникнуто все ея существо, ими напитаны сердце и думы писательницы.

Этимъ и объясняется та глубокая искренность, которая такъ обаятельно дѣйствуетъ на читателя въ творчествѣ Конопницкой.

Казиміръ Тетмайеръ.

Онъ, безспорно, самый популярный изъ среды новѣйшихъ польскихъ поэтовъ, начавшихъ свою литературную дѣятельность въ послѣднее двадцатилѣтіе. Не нужно особенно теряться въ догадкахъ, чтобы указать одну изъ ближайшихъ причинъ широкой популярности молодого поэта: Тетмайеръ — плоть отъ плоти и кость отъ кости современнаго нервнаго поколѣнія, болѣетъ его скорбями, облекаетъ въ острыя строфы его жгучія думы и такъ же растерянно, какъ все современное человѣчество, тоскуетъ и плачетъ по улетѣвшемъ куда-то счастіи. Сердце сердцу вѣсть подаетъ, — и вотъ почему молодое поколѣніе такъ жадно прислушивается къ мрачнымъ напѣвамъ Тетмайера, а цѣлая фаланга третьестепенныхъ посредственностей, всегда старающаяся подражать тѣмъ мелодіямъ, на которыя въ данную минуту наибольшій спросъ, фальшивитъ на «тетмайеровскій» ладъ. Что подѣлаете! — законъ спроса и предложенія сохраняетъ свою силу и въ литературной области...

Литературную дѣятельность Тетмайеръ началъ еще юношей. Онъ родился въ 1865 г., а въ 1886 г. его произведенія стали выходить уже отдѣльными изданіями. Литературный багажъ его, несмотря на молодость, уже довольно объемистъ. Кромѣ четырехъ томиковъ стихотвореній (I, III и IV уже выдержали по два изданія, а II—вышелъ въ 1901 г. даже третьимъ изданіемъ), составляющихъ главный фунда-

ментъ литературной извѣстности Тетмайера, отдѣльно изданы его беллетристическія произведенія — «Illa» (1886), «Ksiądz Piotr» (1895), «Aniol smierci» (1898), «Melancholia» (1899), «Otchlań» (1900), «Panna Mery» (1901), «Na skalnem podhalu» (1903), и драматическія — «Mąż poeta» (1892), «Sfinks» (1893) и »Zawisza Czarny» (1901).

Теперь еще рано поднимать вопросъ о тѣхъ вліяніяхъ, которыя воздѣйствовали на формирующійся молодой талантъ. Кое-что о своихъ дѣтскихъ годахъ и первыхъ сознательныхъ впечатлѣніяхъ сообщаетъ вскользь самъ поэтъ въ небольшомъ отрывкѣ «Stara książka». Татмайеръ родился въ Лудзимірѣ, въ новотарскомъ повѣтѣ; отецъ его, старый уланъ, участвовавшій въ первомъ возстаніи, былъ маршалкомъ повѣта и посломъ въ сеймъ. «Хорошо было у насъ въ Лудзимірѣ, — вспоминаетъ Тетмайеръ. — Чрезъ село протекалъ Дунаецъ, почти возлѣ самой усадьбы. Вижу тихія поля, голые холмы, тучи дыма надъ селомъ по вечерамъ отъ тлѣющаго торфа, слышу великій благовѣстъ къ вечернему богослуженію; помню разливы рѣки, вижу спокойные, молчаливые, страшно глубокіе и глухіе омуты, трясины, кочковатые торфяники, сосны съ опускающимися къ землѣ вѣтвями. Былъ еловый лѣсъ, глухой, молчаливый, гдѣ только вѣтеръ шумѣлъ. Были рощи и перелѣски, таинственные, чуткіе, за которые заходила луна и изъ-за которыхъ она выглядывала, какъ упырь, вылѣзшій изъ воды, изъ этихъ мутныхъ омутовъ Дунайца. Были, наконецъ, горы съ обѣихъ сторонъ, цѣлая цѣпь ихъ, цѣлая стальная стѣна». Въ домѣ отца Тетмайера гащивалъ старый его военный товарищъ, извѣстный поэтъ Гощинскій, воспѣвавшій тѣ же Татранскія горы, которыя такъ безумно любитъ и Тетмайеръ. Это — какая-то почти мистическая любовь, судя по тѣмъ нервнымъ страницамъ, гдѣ Тетмайеръ описываетъ свои чувства къ роднымъ горамъ. «Я люблю ихъ», пишетъ онъ. — «Онѣ научили меня мыслить и чувствовать, укладывать слова въ риѳмы и пріукрашивать, и навѣвая на меня сны, онѣ кладутъ мнѣ на глаза легкіе пальцы и закрываютъ вѣки, а потомъ наклоняютъ мою голову назадъ, касаются пальцемъ моихъ устъ и тихо говорятъ: молчи...

И тогда предо мною открывается жизнь силъ и стихій природы: я вижу, какъ шумъ буковыхъ листьевъ и сосноваго лѣса перелетаетъ чрезъ солнечный свѣтъ, какъ запахъ горныхъ цвѣтовъ впитывается въ скалы и воды, слышу разговоръ тучъ съ иломъ, застоявшимся въ грязныхъ впалыхъ котловинахъ... Я люблю Татры. Люблю ихъ пустынность и молчаливость, ихъ мертвенное и угрюмое спокойствіе. Въ окружающихъ ихъ туманахъ блуждаетъ моя мысль и ищетъ давнихъ своихъ вѣрованій и любви, чувствъ и силъ... Каждый годъ я снова возвращаюсь къ нимъ, всегда съ тоской, какъ приморскій житель къ морю. Возвращаюсь, и онѣ дѣлаются для моей души какъ бы пробнымъ камнемъ для металла, какъ бы конфессіоналомъ для пріема исповѣди. Мнѣ кажется, что онѣ глядятъ мнѣ въ душу и видятъ. Мои радости и печали, мечты и желанія, ошибки и паденія, любовь и тоску, огромную, безмѣрную, безумную тоску—онѣ видѣли и знаютъ. Сколько разъ душа у меня вылетала изъ груди, какъ крылатая птица, чтобы выводить круги, широкіе, какъ дуга радуги, порывистые, какъ горный вѣтеръ, гордые, какъ воздымающееся къ небу облако!.. Сколько разъ я падалъ тутъ навзничь безъ силъ, безъ памяти, почти безъ чувствъ, убитый сознаніемъ своего ничтожества, моего безграничнаго безсилія, моего человѣческаго рабства!.. Сколько разъ здѣсь душа моя была разбита проклятіемъ, тяготѣющимъ надъ физическимъ бытіемъ! Тутъ душѣ моей сначала казалось, что нервъ ея бытія есть одинъ изъ нервовъ великаго сердца всего міра; а потомъ она блуждала отъ дерева къ дереву, отъ тучи къ тучѣ и отъ звѣзды къ звѣздѣ, чувствуя, что всему она чужая, что ни съ чѣмъ она не связана и не соединена, что она подобна блеску на водѣ, который не соединяется съ волной, а только дрожитъ на верху ея,— и гаснетъ, и никнетъ»... Конечно, вылившаяся въ этихъ строкахъ экзальтація не вся есть плодъ дѣтскихъ впечатлѣній Тетмайера, такъ какъ онъ писалъ это не тогда, когда «сія дыня была съѣдена», а впослѣдствіи, возстановляя эти впечатлѣнія по памяти сердца. Во всякомъ случаѣ, остается безспорнымъ, что дикая горная природа, дикіе прикарпат-

скіе горцы («горали»), съ ихъ дикими нравами, вѣрованіями и преданіями, положили неизгладимый отпечатокъ на писательскую личность Тетмайера, развивъ въ немъ какую-то пугливую чуткость и болѣзненную впечатлительность.

То пессимистическое настроеніе, которое полнымъ аккордомъ звучитъ въ теперешнихъ произведеніяхъ Тетмайера, получило у него преобладаніе не сразу. Первыя пробы пера — оды въ честь Мицкевича (1888 г.) и въ честь Крашевскаго (1889 г.; въ сборники стихотвореній эти оды, между прочимъ, не вошли) зовутъ «впередъ, безъ страха и сомнѣнья, на подвигъ доблестный», проникнуты бодростью и вѣрой, вдохновляютъ къ дѣятельности во имя традиціонныхъ общественныхъ идеаловъ. Еще и въ первомъ сборникѣ стихотвореній встрѣчаются тѣ же призывные мотивы къ общественной борьбѣ, къ защитѣ идеала. — «Безъ вѣры, даже безъ надежды» — завѣряетъ насъ Тетмайеръ — «устоитъ на своемъ посту тотъ, кто хранитъ въ себѣ любовь къ идеѣ, потому что любовь — это мощь. И придетъ еще то время, когда потребуется усилить ряды братьевъ, и ты схватишь знамя въ свои руки, какъ въ клещи, и зловѣще засвиститъ твой мечъ. и рогъ твой загремитъ, потому что любовь — это мощь!» («Przeżytym»). Поэту, наконецъ, не чуждо было желаніе закружиться въ безумномъ вихрѣ веселья, чтобы забыться отъ грызущей сердце тоски, истоптать ее въ бѣшеной пляскѣ, затопить въ винѣ... Настроеніе это передано въ стихотвореніи «Чардашъ» [1]), которое мы приведемъ здѣсь цѣликомъ:

Гей! Сыграй-ка ты мнѣ чардашъ,
Мой цыганъ-гораль!
Пусть гудятъ, рыдаютъ звуки,
Плачетъ пусть печаль!
Сколько горя я извѣдалъ,
Какъ проклятья слалъ,—

---

[1]) Мадьярское „Csardas". (Въ мадьярскомъ языкѣ всѣ ударенія на первомъ слогѣ). Стихотворный переводъ, здѣсь помѣщаемый, сдѣланъ, по моей просьбѣ, А. М. Ловягинымъ, которому приношу, за оказанную мнѣ помощь, сердечную благодарность. Долженъ просить снисхожденія читателей, что, не владѣя вполнѣ свободно риѳмой, я принужденъ буду нѣкоторые отрывки изъ стихотвореній Тетмайера приводить въ переводѣ прозой.

Все бы скрипкѣ ты повѣдалъ,
Все бы твой смычокъ передалъ,
Все бы пусть сыгралъ.
Затаенныя всѣ муки,
Накипѣвшую печаль
Ты бы въ чардаша влилъ звуки.
Гей! Пусть бьютъ объ струны руки!
Гей! Быстрѣй, гораль!
Вѣдь и я гораль: мы оба
Вѣдь горды душой.
Такъ презрѣньемъ, местью, злобой
Гусли ты настрой!
Слышу шумъ я издалека...
Это боръ шумитъ.
Ты сыграй, какъ онъ, высокій,
Въ бурный день гудитъ.
Бѣлкой пусть смычокъ кружится!
Пусть слеза со струнъ катится,
Плачетъ пусть печаль...
Не хочу я здѣсь, въ долинѣ,
Бездыханнымъ лечь.
Мнѣ не надо отпѣванья,
Погребальныхъ свѣчъ.
На горѣ въ свободѣ лягу,
Подъ листвой дубовъ,
Дикій вѣтеръ тамъ навѣетъ
Много дивныхъ сновъ.
Вѣтви сосенъ пусть мнѣ шепчутъ
И, обвивъ кольцомъ,
Тучи пусть покровомъ служатъ,
Радуга—вѣнцомъ.
Тамъ орлы свободно рѣютъ,
Ширятся, кружатъ,
Средь гранитныхъ глыбъ потоки
Пѣнятся, кружатъ...
Грустно что-то ты играешь:
Твой смычокъ дрожитъ,
И слеза уже съ рѣсницы
У тебя скользитъ.
Гей, цыганъ! Смѣни-ка тонъ свой!
Пусть смычокъ летитъ,
Пусть огнемъ, всю кровь мнѣ жгущимъ,
Скрипка говоритъ.
Ты сыграй мнѣ сладкій шопотъ,
Сердца къ сердцу зовъ,
Какъ, зардѣвшись отъ признанья,
Дѣва, въ робкомъ трепетаньи,
Вся—одна любовь.

Гей, цыганъ! Безумнѣй звуки!
Пусть передъ концомъ
Жажда жизни, наслажденья
Насъ сожжетъ вдвоемъ!
Эй, красавица, скорѣе!
Дай себя обнять!
А потомъ—тамъ будь, что будетъ,
Можешь жизнь отнять.
Гей, цыганъ! Играй мнѣ чардашъ
Дикій и живой!
Посиди со мной, красотка,
Все пропью съ тобой.
А потомъ сгадаю въ карты:
Можетъ у чертей...
Черти пусть хватаютъ вскорѣ,
А пока... Долой все горе!
Еще чардашъ! Гей!

Но эта вѣра, бодрость, жажда жизни исчезли вскорѣ безъ остатка, безъ слѣда. «Не вѣрю ни во что», заявилъ Тетмайеръ довольно скоро послѣ выхода на литературное поприще: «не желаю ничего, питаю отвращеніе къ какой бы то ни было дѣятельности, смѣюсь надъ всякимъ увлеченіемъ; сбрасываю съ пьедесталовъ всѣ созданные мечтами образы и разбитые въ кусочки сваливаю въ соръ забвенія» («Nie wierze w nic»)... Встрѣчая въ жизни только «ложь, зависть, пошлость, посредственность, ничтожество, глупость», поэтъ, переплывая «чрезъ мутное вонючее болото жизни, подъ нахмуреннымъ небомъ, безъ звѣздъ и безъ солнца», бросаетъ весла прочь и, зажмуривши глаза, лежитъ на днѣ лодки, не заботясь, гдѣ и какое ждетъ его прибережье — («Falsz, zawisc»). Поэтъ издѣвается надъ волей, потому что она бываетъ побиваема необходимостью; издѣвается надъ дѣятельностью, потому что она не отвѣчаетъ первоначальнымъ намѣреніямъ; издѣвается надъ познаніемъ, въ которомъ есть тысячи противорѣчій; издѣвается надъ правдой, которая ужъ очень часто обманываетъ и которую каждый видитъ подъ особымъ угломъ зрѣнія; словомъ, издѣвается надъ всѣмъ, кромѣ страданій духа и тѣла, и видитъ утѣшеніе только въ Нирванѣ, гдѣ нѣтъ ни страданій, ни утѣхъ («Drwie»)... Первая мысль, которая овладѣваетъ поэтомъ, если ему слу-

чается войти въ толпу, есть мысль о приближающейся смерти тѣхъ людей, которыхъ онъ видитъ вокругъ себя. Онъ чувствуетъ эту ужасную тишину кладбищъ, гдѣ придется почивать имъ, сегодня полнымъ жизни, мечтаній, желаній, а завтра отданнымъ въ жертву могильнымъ червямъ. И ему кажутся смѣшными и ничтожными всѣ людскіе порывы и стремленія («Gdy wejde w tlum»). Отвращеніе къ повседневной житейской пошлости сдѣлалось для поэта обычнымъ настроеніемъ, въ душѣ своей онъ не чувствуетъ луча ласки и любви и только презираетъ и ненавидитъ всей силой своей души (совершенно какъ демонъ: «и все, что предъ собой онъ видѣлъ, онъ презиралъ иль ненавидѣлъ»). «Презираю и ненавижу,—говоритъ Тетмайеръ, — и если бы сейчасъ пришлось уходить изъ этого міра, видя предъ собою угрюмый загробный міръ, я ушелъ бы съ глазами холодными какъ сталь, даже не бросивши прощальнаго взгляда назадъ». («Nadmiar wstrętu»). Впрочемъ, за страницу предъ этимъ поэтъ говоритъ о смерти не такъ храбро, что, конечно, ближе къ правдѣ: «если бы мнѣ сейчасъ пришлось умереть — какъ ничтожны показались бы мнѣ всѣ страданья моей души; и и я хотѣлъ бы одного: когда пробьетъ часъ, имѣть мужество взглянуть смерти прямо въ глаза («Gdybym dzis umrzec»). Кстати упомянуть, такихъ маленькихъ противорѣчій у Тетмайера нѐ оберешься; но поэтамъ въ вину ставить ихъ не приходится, этихъ небольшихъ поэтическихъ вольностей. Тутъ вѣдь провозглашаются не научныя истины, а личныя думы и мечты, отголоски настроенія, которое и у самаго зауряднаго человѣка бываетъ капризно и перемѣнчиво, а тѣмъ болѣе у поэта,

Во всякомъ случаѣ, основной пессимистическій тонъ остается неизмѣннымъ въ поэзіи Тетмайера, и, перелистывая страницу за страницей всѣ четыре томика его стихотвореній, мы встрѣчаемъ все тѣ же погребальные аккорды. Но когда поэтъ все время только и толкуетъ, что о тоскѣ, меланхоліи, отчаяніи, читателю позволительно спросить его: гдѣ же источникъ этого безнадежнаго пессимизма? Почему все представляется поэту въ черныхъ краскахъ? Какова логи-

ческая посылка, приводящая его къ безотраднымъ выводамъ? Вѣдь когда Лермонтовъ жаловался на скуку и грусть и ставилъ свой тесисъ:

И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,—
Такая пустая и глупая шутка,—

то онъ обосновалъ его довольно подробно:

Желанья!.. что пользы напрасно и вѣчно желать?..
. . . .
Любить... но кого же?... на время — не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно.
Въ себя ли заглянешь,—тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда:
И радость, и муки, и все тамъ ничтожно...
Что страсти? — вѣдь рано иль поздно ихъ сладкій недугъ
Исчезнетъ при словѣ разсудка...

Тетмайеръ нигдѣ прямо не объясняетъ, что собственно окрашиваетъ для него весь міръ въ черныя краски. Посылки нѣтъ, а есть только выводъ въ видѣ готовой формулы пессимизма: все скверно въ этомъ сквернѣйшемъ изъ міровъ. И до какой степени скверно,—объ этомъ разсказано въ стихотвореніи «Жизнь» («Życie»), гдѣ поэтъ изобразилъ ее въ видѣ самаго страшнаго вампира, съ лицомъ трупа, съ хищническими глазами, съ клубкомъ змѣй, замѣняющимъ волосы и т. д. Тутъ ужъ не только «пустая и глупая шутка», а какое-то всепоглощающее зло, активное, ищущее жертвъ, злобное зло.

Слабый, туманный полунамекъ на причину, почему поэтъ настраиваетъ свою лиру на минорный ладъ, дается въ коротенькомъ стихотвореніи «Kiedy patrze» (II, 188). Мысль поэта такова: все существующее въ мірѣ, начиная отъ человѣческой жизни и кончая міромъ животныхъ и царствомъ природы, представляется до такой степени жалкимъ, мизернымъ, ничтожнымъ, что при взглядѣ на это поэтомъ овладѣваетъ мука, тревога, безпомощность, и хочется взывать къ Богу, чтобы Онъ смилостивился надъ этимъ ничтожествомъ бытія. Нѣсколько иную мысль для уясненія источника пессимизма Тетмайера даетъ стихотвореніе «Dla kogo my żyjemy» (II, 172). «Зачѣмъ мы живемъ?» недоумѣваетъ поэтъ. «Все это горе, страданія, печали, для чего онѣ? Къ чему

эти глухія, холодныя, тѣсныя могилы, раскрывающія свои страшныя и омерзительныя пасти? Кого можетъ тѣшить эта безконечно ничтожная жизнь, это безбрежное зло, парящее на землѣ?» И напрасно поэтъ ищетъ отвѣта; на скользкой дорогѣ жизни ему понятна только мертвая безропотность, да отчаяніе, тѣмъ болѣе страшное, что оно совершенно безсильное. Очень часто, можно думать, мысль поэта впадаетъ въ безысходную тоску при видѣ тѣхъ рѣзкихъ контрастовъ жизни и смерти, которые попадаются на каждомъ шагу и образецъ которыхъ представленъ въ стихотвореніи О, czaszko!» (II, 177). Болѣе же всего, очевидно, поэтъ страдаетъ потому, что видитъ вокругъ тебя очень много страдающихъ людей. Можно сказать опредѣленнѣе: Тетмайеръ во всей міровой жизни видитъ только цѣпь страданій, ненужныхъ, безцѣльныхъ и безплодныхъ. «Если бы каждая боль», говоритъ онъ, «скрытая въ человѣческой груди, выжимала изъ глазъ лишь по одной слезинкѣ сострадания, а эти слезы засіяли звѣздами на небосклонѣ, то голубой покровъ небесъ сталъ бы подобенъ куполу, цѣликомъ литому изъ слезъ» («Gdyby bol każdy»). «Во сто разъ лучше осужденному на гибель дереву», нѣсколько дальше говоритъ поэтъ, «если молнія расщепитъ его сразу, нежели когда червь вползетъ подъ кору, и больное дерево начнетъ медленно сохнуть и гибнуть. И людямъ лучше, если побѣдный рокъ сразитъ ихъ однимъ жестокимъ ударомъ, чѣмъ если каждый день по каплѣ будетъ просачиваться въ ихъ жилы медленный, но вѣрный ядъ» (II, 188). Наконецъ, въ небольшомъ стихотвореніи «Nie sądz po ustach» Тетмайеръ совѣтуетъ не вѣрить обманчивой улыбкѣ на устахъ людей, повторяя старую мысль, которую безподобно выразилъ Лермонтовъ своимъ сверкающимъ стихомъ:

Взгляни: передъ тобой играючи идетъ
Толпа дорогою привычной,
На лицахъ праздничныхъ чуть виденъ слѣдъ заботъ,
Слезы не встрѣтишь неприличной...
А между тѣмъ изъ нихъ едва ли есть одинъ,
Тяжелой пыткой не измятый,
До преждевременныхъ добравшійся морщинъ
Безъ преступленья иль утраты!..

Какъ видитъ читатель изъ вышеприведенныхъ отрывковъ, поэзія Тетмайера не отличается ясностью мысли и простотою образовъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда поэту приходится вести рѣчь объ ассиріянахъ и вавилонянахъ. Ужъ очень много тутъ вампировъ и всякихъ иныхъ страховъ! Можете судить, какими страшилищами пугаетъ насъ Тетмайеръ, когда ему случается добраться до Александра Македонскаго! А поэтъ нашъ очень любитъ пускаться въ таинственную область мистицизма, подслушивать странныя аккорды болѣзненно настроенныхъ нервовъ, рисовать уродливыя фигуры, созданныя не совсѣмъ нормально направленной фантазіей. Тутъ мы возносимся на самую «вершину модернизма», какъ опредѣляетъ характеръ поэзіи Тетмайера новѣйшій польскій критикъ г. Фельдманъ. Ничего, кромѣ мглы и безформенныхъ клочковъ тумана, мы на этихъ вершинахъ не увидимъ.

Тетмайеръ прежде всего начинаетъ уродовать природу, ту милую и чудную природу, которая одинаково служила источникомъ свѣтлаго, бодраго вдохновенія для поэтовъ всѣхъ временъ и народовъ. Поэтъ очень часто возвращается къ ней, но зрѣлище природы только пугаетъ его, ему грезятся какія-то чудовища—полу-растенія, полу животныя; мерещится, что съ зеленой коры деревьевъ на него устремлены глаза; въ небесной выси ему чувствуется что-то противное всей его натурѣ, «и отъ одного взгляда на небо» его пробираетъ дрожь (I,38), звѣзды для него—только «голубыя незабудки, посѣянныя на могилѣ утраченой вѣры» (I,51). Чудеса, да и только! А стихотворенія «O melancholio» (IV, 150) слѣдовало бы назвать прямо клеветой на природу. Тутъ поэтъ жалуется, что «меланхолія, душа души моей», вливается къ нему изо всѣхъ отверстій природы: она выползаетъ изъ темной лѣсной глуши, навѣвается шумомъ потоковъ, скользитъ въ плавномъ колыханіи тополя, плыветъ вмѣстѣ съ мглой со скошенныхъ луговъ, клубится въ морской пѣнѣ, блеститъ въ озерахъ и сверкаетъ въ вулканахъ. Очевидно, Тетмайеръ совершенно напрасно пеняетъ на зеркало природы, дивная прелесть которой такъ ярко выступаетъ даже на фонѣ его

жалобъ... Въ стихотвореніи «Wielbie naturę» (I. 100) Тетмайеръ совершенно неожиданно увѣряетъ насъ, что любить природу не зачѣмъ, такъ какъ она — мертвая машина, что вѣчное міровое движеніе совершенно безцѣльно, такъ какъ оно подчинено закону необходимости. Не довольствуясь природой въ ея видимыхъ, всѣхъ извѣстныхъ очертаніяхъ, Тетмайеръ создаетъ еще свои «мистическія рѣки», «мистическіе луга», «символическіе потоки» (III, 3—9). Къ чему это потребовалось поэту затруднять свою фантазію созданіемъ совершенно не эстетическихъ картинъ и образовъ — рѣшительно не понимаемъ. И тѣмъ болѣе кажется намъ это страннымъ, что чистое дыханіе природы сохраняетъ свою обаятельность надъ художественной натурой Тетмайера; поэтъ иногда невольно поддается обаянію настоящей, не выдуманной природы, и эти впечатлѣнія выливаются у него въ трогательныхъ, задушевныхъ стихахъ, переливающихъ игрой неподдѣльной поэзіи. Для примѣра укажемъ на прекрасное стихотвореніе «Anioł Pański» (III, 78 — 81), одно изъ лучшихъ у Тетмайера. Мы точно слышимъ этотъ «вечерній звонъ»: мѣрные звуки колокола печально тонутъ въ залегающихъ по долинамъ сумеркахъ, навѣвая безпричинную, щемящую грусть.

Но такіе отголоски безпретенціознаго отношенія къ природѣ остаются у Тетмайера все-таки исключеніемъ, бóльшею же частью поэтъ предпочитаетъ пребывать въ мірѣ перекроенной имъ на свой собственный ладъ природы. По мистической мѣркѣ любитъ Тетмайеръ выкраивать и другія общечеловѣческія чувства. Иногда это выходитъ искренно и удачно, иногда совершенно натянуто и неудачно. «Баллада о новобрачной» (I, 62—64), несмотря на мистическую загадочность, оставляетъ впечатлѣніе истинно-поэтическаго произведенія, нѣсколько, впрочемъ, испорченнаго не совсѣмъ натуральнымъ концомъ. А вотъ небольшой отрывокъ, болѣе похожій на злую пародію, чѣмъ на плодъ истинно-поэтическаго вдохновенія: «Ищу тебя всегда, хоть знаю, что не найду тебя; тоскую по тебѣ, хотя знаю, что тебя нѣтъ; иду вслѣдъ за тобой, хотя знаю, что не попаду въ твой домъ;

ищу тебя глазами, хотя тебя не вижу, хотя знаю, что тебя нѣтъ» (II, 179). Комичность этихъ поисковъ всецѣло относится на счетъ совершенно неудачной формы: умѣлъ же Тетмайеръ подходящее по характеру настроеніе облечь въ прекрасную оболочку въ стихотвореніи «Гость» (IV, 14, 15).

Любовь и женщина для поэтовъ всегда служили неизсякаемымъ источникомъ вдохновенія. Полною горстью черпаетъ изъ этого источника и Тетмайеръ, не примѣшивая, къ удовольствію читателя, никакихъ мистическихъ элементовъ къ чистой струѣ своего вдохновенія. Даже болѣе того — иногда нашъ поэтъ воспѣваетъ чисто-чувственное отношеніе къ женщинѣ, примѣромъ чего можетъ служить стихотвореніе «Lubie kiedy kobieta» (1 , 87) съ довольно сильнымъ-таки эротическимъ букетомъ. Но это бываетъ рѣдко, и только тогда, когда поэтъ говоритъ вообще о женщинѣ, а не о «ней» (у каждаго поэта, какъ извѣстно, есть своя «она», съ которою поэтъ обходится бережно). Когда же рѣчь идетъ о «ней», то, конечно, всякій тривіальный налетъ исчезаетъ, и передъ нами вырисовывается чистое, непорочное созданіе, предъ которымъ поэтъ на колѣняхъ шепчетъ восторженныя слова любви и преклоненія. Весь скептицизмъ и пессимизмъ Тетмайера исчезаетъ безъ остатка, когда поэтъ начинаетъ говорить о любви. Чѣмъ является молодость безъ любви?—ставитъ вопросъ поэтъ и отвѣчаетъ: молодость безъ любви—это звѣзда безъ свѣта, оазисъ безъ ручья, розовый цвѣтокъ безъ запаха, яблоня безъ яблока, пчелиный улей безъ меду, пышный палаццо безъ цвѣтника (I, 144). Обширный «гимнъ любви» (II, 63—67) былъ бы совсѣмъ хорошъ, если бы въ немъ было побольше непосредственнаго вдохновенія и поменьше напряженной надуманности. А то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (особенно въ первой половинѣ) стихотвореніе по методу развитія мысли совсѣмъ напоминаетъ семинарскую хрію старыхъ временъ (хріи вѣдь писались иногда и виршами).

Мы разсмотрѣли всѣ главнѣйшіе мотивы поэзіи Тетмайера и приходимъ къ выводу, что пессимизмъ все-таки остается лейтмотивомъ поэтическаго творчества этого писателя. Мы видѣли, что поэтъ не даетъ вполнѣ опредѣленнаго отвѣта,

почему міръ впалъ у него въ такую немилость. Чего не хотѣлъ или не успѣлъ сказать поэтъ, то стараются сказать за него польскіе критики, какъ извѣстно, славящіеся даромъ прозрѣнія и нерѣдко довольно удачно дополняющіе, исправляющіе и измѣняющіе мысли разбираемыхъ поэтовъ и прозаиковъ... Говоримъ это, впрочемъ, не въ осужденіе Яну Стену, книжка котораго о новѣйшихъ польскихъ писателяхъ читается съ искреннимъ удовольствіемъ [1]). Самъ талантливый беллетристъ и не плохой поэтъ, Стенъ, въ своихъ коротенькихъ характеристикахъ, старается приблизиться къ пониманію индивидуальности каждаго поэта не умомъ, а сердцемъ и, невольно увлекаясь художественнымъ вдохновеніемъ, даетъ собственную переработку настроенія того или другого писателя на свой ладъ, едва поспѣвая набрасывать на бумагу кружащійся потокъ думъ и чувствъ. Получается «переработанный и дополненный» Тетмайеръ, но такъ какъ надъ этимъ работалъ довольно искусный мастеръ, то не лишне выслушать и страстную декламацію Стена. «Тоска... великая тоска по человѣческомъ счастіи», говоритъ Стенъ о творчествѣ Тетмайера, «по сладости ясной лазури, по тепломъ дыханіи весны, по улыбкѣ и ласкѣ женщины, по поцѣлуѣ и бесѣдѣ съ той, которой пришлось ждать годами. И еще бо́льшая тоска по красотѣ, по непрерывномъ шумѣ моря, по воѣ вихря въ горныхъ ущельяхъ, по серебряной паутинѣ мглы, висящей надъ озеромъ, по солнцу, которое заливаетъ Сорренто, по мраморной выпуклости обожаемыхъ формъ. И надъ всей этой тоской еще бо́льшая, проникающая всю душу насквозь, гордо поднимающая голову меланхолія, которой не запугаетъ циническій возгласъ, потому что если онъ и сорвется съ устъ, то не найдетъ отклика,—меланхолія, которая выбѣгаетъ на сѣрыя поля и, усѣвшись на перекресткѣ, ломаетъ въ отчаяніи руки и клянетъ свою одинокую и бродячую долю»... «Кажется, что душа всей своей силой кого-то звала, кого-то дорогого, звала долго, отчаянно, безуспѣшно и, истомленная крикомъ, умолкла, и тогда только съ ужа-

---

[1]) Jan Sten. Pisarze polscy. Wrażenia literackie. 1903.

сомъ увидѣла, что ее окружаетъ тишина, страшная, ничѣмъ не нарушаемая тишина и ночная темень». Если въ этой горячей тирадѣ нѣсколько поубавить патетическаго жару, то она будетъ довольно вѣрно выражать то впечатлѣніе, которое получается отъ чтенія поэтическихъ произведеній Тетмайера. Въ концѣ своей замѣтки Стенъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что Тетмайеръ «съ одинаковою легкостью поддается противоположнымъ впечатлѣніямъ и противоположнымъ мыслямъ», и что творческая душа его полна «пучинъ, извилинъ, щелинъ, мелей и омутовъ».

Насколько Янъ Стенъ упивается «пессимизмомъ и меланхоліей» Тетмайера, настолько сердцу г. Фельдмана милъ и любезенъ густой туманъ мистицизма, который окутываетъ значительную часть произведеній молодого польскаго поэта. «Искусство его», говоритъ этотъ критикъ, «всецѣло лежитъ по ту сторону добра и зла. Онъ больше въ своей сферѣ, когда отвлекается отъ злобъ дня, когда пускаетъ свободно поводья своей фантазіи, погружается въ созерцаніе первобытной земли и приноситъ образы первобытной природы, первобытныхъ людей; больше въ своей сферѣ, когда приникаетъ ухомъ къ сердцу, какъ къ раковинѣ, подслушиваетъ тайное его біеніе, открываетъ его подземные источники» и т. д. въ этомъ вкусѣ. Наше впечатлѣніе совершенно обратное: тутъ-то именно Тетмайеръ наименѣе натураленъ.

Предоставимъ, однако, высказаться еще и самому поэту. Въ предисловіи къ первому томику своихъ стихотвореній Тетмайеръ даетъ нѣсколько прямодушныхъ объясненій о настроеніи своей лиры. Поскорбѣвши по поводу сыпавшихся на него съ разныхъ сторонъ нападокъ, поэтъ такъ опредѣляетъ мотивы своего творчества. «Мое желаніе — дать искреннее и непосредственное выраженіе человѣческимъ чувствамъ и при томъ,—насколько это въ моихъ силахъ,—чувствамъ разнообразнымъ. Я много говорю о себѣ — это правда, но чрезъ посредство своего «я» я стремлюсь выразить «я» чужое, дать голосъ «другимъ». Это могло выходить у меня очень неудачно, но я никогда не напечаталъ такого стиха, о которомъ бы не предполагалъ, что онъ выражаетъ не только

лично мое, но и общее настроенiе. Повторяю, это могло мнѣ не удаваться, но это было моимъ сильнѣйшимъ желанiемъ. Для меня не то важно, чтобы, ударяя въ привычныя струны, вызывать привычный откликъ въ людскихъ сердцахъ, но я считаю вещью совершенно безполезною ту поэзiю, которая ни въ комъ не встрѣчаетъ отклика и которая остается выраженiемъ настроенiя одного только поэта. Самый индивидуальный, самый эгоистичный изъ поэтовъ, Байронъ, такъ потрясъ сердца людей, какъ никто послѣ него и никто до него, и это не потому, что онъ трубилъ на тему революцiонныхъ идей конца XVIII и начала XIX вѣка. То же самое Гейне. Наиболѣе впитались въ нашу духовную жизнь тѣ стихотворенiя Словацкаго, въ которыхъ онъ говоритъ о себѣ и отъ себя: вся суть въ томъ, чтобы чрезъ посредство души поэта говорили души людей. Кто въ этомъ успѣлъ, тотъ достигъ своей цѣли и становится полезнымъ («potrzebnym»). Придутъ позднѣйшiя поколѣнiя и назовутъ его необходимымъ («koniecznym»). Такъ было съ Руссо, съ Байрономъ, съ Шиллеромъ, съ Шелли, съ Мицкевичемъ и Словацкимъ, съ Аснымъ, съ Гейне, Лермонтовымъ, Пушкинымъ и т. д., и т. д. Къ тому, чтобы быть названнымъ современниками — полезнымъ, потомствомъ—необходимымъ, долженъ стремиться всякiй поэтъ. Конечно, между стремленiемъ и желанiемъ, съ одной стороны, и фактомъ — съ другой, можетъ быть цѣлая пропасть, которой ничто никогда не заполнитъ. То, что я «хочу», еще не достаточно для того, чтобы такъ и сталось, но то, что я «хочу», даетъ мнѣ право бытiя, служитъ оправданiемъ моего существованiя, заслоняетъ меня отъ нареканiй: зачѣмъ ты существуешь? Я стремлюсь и напрягаю всѣ усилiя, желая, чтобы чрезъ посредство моей души, какъ поэта, говорила общечеловѣческая душа — вотъ мой паспортъ, мой документъ. Достаточны ли эти мои бумаги и въ порядкѣ ли онѣ — это вопросъ другой».

Польская публика уже отвѣтила на этотъ вопросъ. Не часто встрѣчающiйся успѣхъ, какой выпалъ на долю Тетмайера, показываетъ, что его паспортъ охотно визированъ интеллигенцiей, нашедшей въ скорбяхъ Тетмайера отголосокъ

своихъ собственныхъ скорбей. Итакъ, современники уже признали Тетмайера «potrzebnym». Назовутъ ли потомки его «koniecznym» — это вопросъ до такой степени далекій, что приниматься за его рѣшеніе — дѣло совершенно безполезное и лишнее. Разберемся покамѣстъ въ голосахъ современниковъ. Тетмайеръ, когда говорилъ о «potrzebnosci» и «konieczności», упустилъ изъ виду очень важную вещь. Судъ современниковъ не всегда раздѣляется потомствомъ, и какое множество есть писателей, которыхъ современники считали очень и очень «potrzebnymi», а потомки предали самому обидному забвенію! Бываютъ, хотя значительно рѣже, и обратные примѣры: современники махнутъ рукой на писателя, а потомки признаютъ его «koniecznym». Таковъ ужъ капризный народъ—эти потомки, и ничего съ ними не подѣлаешь!

Есть одинъ страшный, коварный врагъ у писателей: это—мода. Она, какъ злое повѣтріе, ломаетъ, извращаетъ и губитъ молодыя силы, лишаетъ ихъ свободы творчества, побуждая говорить не такъ, какъ велитъ свободный умъ, а такъ, чтобы рукоплескала толпа. Нынче пошла какая-то особенно странная мода, требующая, чтобы писатель ни одного слова въ простотѣ не вымолвилъ, а все съ ужимкой. И мы видимъ, что не мало талантливыхъ писателей, поддѣлываясь подъ этотъ извращенный вкусъ, начинаютъ кривляться, дѣлать большіе глаза при видѣ самыхъ, съ позволенія сказать, пустяшныхъ явленій, гоняться за несуществующими тайнами, галлюцинировать, создавая упырей, «ангеловъ смерти» и др. Удивительное, однако, дѣло! Гр. Л. Н. Толстой своей правдой жизни, будничной, сѣренькой жизни, заставляетъ насъ больше задумываться надъ тайной жизни и смерти, больше трепетать передъ этой тайной, чѣмъ всѣ самоновѣйшіе декаденты, символисты, импрессіонисты съ модернистами вмѣстѣ, напускающіе на насъ цѣлую толпу самыхъ замысловатыхъ привидѣній. Такъ и хочется сказать имъ: вѣдь мы не дѣти, чтобы насъ пугать страшными сказками.

Тетмайеръ, къ счастію, не совсѣмъ еще поддался этой современной модѣ, но значительныя уступки ей уже сдѣлалъ. Этой уступкой мы считаемъ мистическій сумбуръ, просачи-

вающійся довольно замѣтной струей въ творчествѣ поэта и такъ усердно восхваляемый Фельдманомъ. Необходимо еще сдѣлать оговорку, что мистическій элементъ самъ по себѣ, если онъ вытекаетъ изъ чистаго родника непосредственнаго вдохновенія поэта, съ полнымъ правомъ можетъ служить канвой для поэтическихъ узоровъ. Но бѣда въ томъ, что мистицизмъ иногда бываетъ, такъ сказать, притянутъ за волосы, и нѣтъ ничего хуже стихотвореній съ мистическимъ содержаніемъ, рожденныхъ не сердцемъ и чувствомъ, а умомъ. У Тетмайера такого надуманнаго мистицизма есть уже совершенно достаточно, такъ что можно пожелать, чтобы его больше не было.

Тоски и грусти еще больше, но она идетъ отъ сердца и оставляетъ впечатлѣніе неподдѣльной искренности. Въ одномъ изъ стихотвореній поэтъ заявляетъ, что меланхолія, тоска, печаль и апатія составляютъ все содержаніе его души. «Съ надломленными крыльями, мысль, вмѣсто того, чтобы прорѣзать безбрежное воздушное пространство, волочится, какъ измученный журавль, по землѣ. Что пользы, если иногда она срывается съ мѣста и съ печальнымъ крикомъ тоски взлетаетъ вверхъ, въ тѣ сферы, гдѣ ясно горитъ солнце, не закрываемое земными испареніями, и гдѣ шумятъ облака, гонимыя вѣтромъ? Надломленныя крылья не позволяютъ долго летать, мысль падаетъ, ударяясь о края камней, и опять волочится, отмѣчая красной струей крови слѣдъ своей земной дороги,—и такъ всегда будетъ» (II, 151).

Такъ всегда будетъ! Не хочется этому вѣрить. Напомнимъ Тетмайеру высказанный имъ совершенно вѣрный взглядъ, что поэтъ долженъ давать выраженіе разнообразнымъ человѣческимъ чувствамъ, долженъ чрезъ свое «я» дать высказаться чужому «я». Нельзя оспаривать, что въ современномъ человѣчествѣ съ особенной силой сказывается нервное чувство неудовлетворенности, которое служитъ исходнымъ пунктомъ пессимизма Тетмайера и на основѣ котораго построены хроматическіе аккорды его поэзіи. Но нельзя не считаться и съ той истиной, что все другое не поглощено еще безъ остатка этой неудовлетворенностью. Да и не можетъ быть поглощено. Человѣкъ пересталъ бы быть самимъ собой,

если-бъ отказался отъ радости и счастія. Да и есть ли смыслъ спокойно примириться съ ролью отяжелѣвшаго журавля, волочащаго крылья по землѣ? Мы ждемъ отъ Тетмайера больше яснаго свѣта, больше свѣжаго воздуха. Пусть онъ выйдетъ на широкій просторъ, а то въ душномъ подземельи—долго-ль до бѣды!—можно и зачахнуть...

Прозой Тетмайеръ написалъ не меньше, если не больше, чѣмъ стихами. Такимъ образомъ беллетристическое творчество является у него не случайнымъ капризомъ, и это заставляетъ насъ удѣлить мѣсто разсмотрѣнію его прозаическихъ произведеній.

Тетмайеръ-беллетристъ является дополненіемъ и дальнѣйшимъ продолженіемъ Тетмайера-поэта. Это особенно необходимо сказать о томикѣ небольшихъ произведеній («Wrażenia»), гдѣ сплошь повторяются знакомые по стихотвореніямъ мысли и мотивы. Довольно интересна цѣлая серія коротенькихъ «отрывковъ», помѣщенная въ той же книжкѣ; содержаніе ихъ пестрое, но ихъ объединяетъ одна мысль. Міръ полонъ самыхъ рѣзкихъ противорѣчій и таинственной недосказанности, что и отмѣчается авторомъ, когда его взглядъ случайно упадетъ на одно изъ подобныхъ явленій.

Сборникъ разсказовъ изъ жизни прикарпатскихъ горцевъ «Na skalnem podhalu» стоитъ особнякомъ среди беллетристическихъ произведеній Тетмайера. Эти разсказы напоминаютъ «Подлиповцевъ» Рѣшетникова и представляютъ такой же этнографическій интересъ. Въ довершеніе сходства, они, какъ и «Подлиповцы», написаны наполовину мѣстнымъ говоромъ, такъ что понадобилось даже помѣстить въ приложеніи коротенькій словарь непонятныхъ выраженій. Своеобразный мірокъ открывается передъ нами въ этихъ разсказахъ. Эти «горали» по дикости далеко оставляютъ за собою Пилу и Сысойку, героевъ Рѣшетникова. Мы видимъ какихъ-то совершенно первобытныхъ людей, почти органически связанныхъ съ природой, какъ ребенокъ связанъ съ матерью неотрѣзанной пуповиной. Дикія страсти гуляютъ здѣсь на полномъ просторѣ. Люди эти не научились еще знать, что такое — преступленіе. Ихъ высшій законъ — звѣриный инстинктъ. Вѣрованія ихъ — даже не смѣсь христіанства съ

язычествомъ, а какая-то своеобразная система, совершенно незыблемо опирающаяся на принципахъ инстинктивнаго хищничества.

Нравы въ этомъ уголку земли отличаются легендарной дикостью. Дѣвушка преспокойно выжигаетъ оба глаза горящей головней своей сопернпцѣ и этимъ только поднимается во мнѣнiи охладѣвшаго было обожателя. Отморозивши себѣ какъ-то два пальца, хлопъ хладнокровно отрубилъ ихъ топоромъ, чтобы не мѣшали въ работѣ. Женскiя объятiя въ порывахъ страсти достигаютъ такой силы, что иной неосторожный гораль платится своими ребрами «за мигъ свиданья». Вообще эти горальскiе разсказы знакомятъ насъ съ очень интересными индивидуумами.

Безспорно, въ описанiи горальской дикости Тетмайеръ оказался болѣе интереснымъ повѣствователемъ, чѣмъ въ описанiи вершинъ утонченной интеллигенцiи. Въ эту среду вводитъ насъ объемистый романъ «Ангелъ смерти», вышедшiй уже третьимъ изданiемъ и, очевидно, имѣющiй крупный успѣхъ. Центральная фигура въ этомъ романѣ — художникъ и скульпторъ Рдзавичъ; канва—разбитая любовь его къ Марiи Тыжвецкой. Такимъ образомъ романъ построенъ на психологической основѣ.

Разбитая любовь является не развязкой, а завязкой романа. На первыхъ же страницахъ сообщается, что Рдзавичъ получилъ письмо съ неожиданнымъ отказомъ отъ Марiи, и весь романъ посвященъ описанiю тѣхъ страданiй, какiя породилъ въ сердцѣ героя этотъ отказъ. Герой представленъ съ натурой выше обыкновеннаго уровня, надѣленной демоническими страстями. Рдзавичъ можетъ всю душу вымотать, когда начнетъ бередить свою рану, надоѣдая читателю повторенiемъ на новые лады однихъ и тѣхъ же своихъ ощущенiй. Зачѣмъ десятки разъ твердить то, что одинъ разъ уже сказано? Нельзя же превращать романъ въ урокъ начальныхъ основанiй психологiи. Даже Плошовскiй въ «Безъ догмата» въ нѣкоторыхъ страницахъ становится скученъ, а вѣдь онъ куда выше ростомъ, изящнѣе фигурой и умнѣе головой, чѣмъ Рдзавичъ, какъ тамъ ни хлопочи Тетмайеръ, вознесшiй его на подмостки...

И вотъ еще что скажемъ. Когда Толстой заставляетъ насъ посидѣть у постели Ивана Ильича и выслушать простой и недолгій разсказъ о томъ, что передумалъ этотъ обыкновенный человѣкъ передъ своей смертью, у насъ волосы становятся дыбомъ отъ ужаса,— хотѣлось бы куда-то убѣжать отъ самого себя... Когда же Тетмайеръ изъ силъ выбивается, чтобы внушить намъ мысль о нестерпимой остротѣ страданій Рдзавича, мы остаемся какъ-то холодны и равнодушны, изрѣдка позѣвывая отъ скуки.

Какъ это весьма часто бываетъ, второстепенныя лица вышли гораздо правдивѣе и жизненнѣе главнаго дѣйствующаго лица. Какъ живой стоитъ передъ нами Тенжель, тоже скульпторъ, преклоняющійся предъ талантомъ Рдзавича — милый, простой, правдивый Тенжель, который выше всего ставитъ въ человѣкѣ честь и совѣсть и, если поймаетъ себя самого на какой-нибудь не совсѣмъ благовидной (какъ ему кажется) мыслишкѣ, любитъ себя же побранить: «Тьфу, Тенжель!» Сынъ простыхъ родителей, дитя деревни, Тенжель, на ряду съ ломающимся Рдзавичемъ еще болѣе выигрываетъ своей прямотой, цѣльностью натуры, крѣпкимъ строемъ убѣжденій, а его образная рѣчь, съ незатѣйливыми, но мѣткими деревенскими сравненіями и уподобленіями, вноситъ какую-то пріятную, свѣжую струю въ душную атмосферу этого романа. На мгновеніе оживляетъ сцену появленіе Чемпинскаго, добродушнаго оригинала, тоже художника. Очень жаль, что авторъ только слабо намѣтилъ типы Стославскаго, симпатичнаго богача, аристократа Морскаго, панны Стржелиской, занимающейся сводничествомъ по принципу, и др. Въ романѣ есть живыя сценки, но ихъ немного, и онѣ тонутъ въ морѣ безвкуснаго нытья Рдзавича. Выбрось Тетмайеръ половину этого нытья—романъ много бы выигралъ, вышелъ бы гораздо стройнѣе и изящнѣе.

Изъ драматическихъ произведеній Тетмайера мнѣ пришлось видѣть на сценѣ «Сфинксъ», фантастическую одноактную пьесу. Написана она въ самомъ новѣйшемъ вкусѣ. Первая половина пьесы проходитъ при раскатахъ грома и воѣ вѣтра, а во время второй въ окно свѣтитъ кровавый отблескъ зарева. Дѣйствующія лица: дѣвушка, страдающая

разстройствомъ нервовъ въ самой ужасной степени, ея братъ — какая-то дикая фигура, идіотъ, да еще слѣпой, и заѣзжій молодой гость. Въ моментъ признанія въ любви молодого гостя, подкравшійся идіотъ сваливаетъ на его голову тяжелую вазу и убиваетъ, а дѣвушка тоже падаетъ мертвою. Въ результатѣ у зрителя остаются: натянутые нервы и досада за нелѣпость конструкціи пьесы.

Тетмайеру, по человѣческимъ разсчетамъ, предстоитъ еще долгій литературный путь. Что этотъ писатель обладаетъ талантомъ — отрицать нельзя, равно какъ нѣтъ основаній бояться, что талантъ этотъ слабѣетъ или выдыхается. Вопросъ, значитъ, въ томъ, по какой дорогѣ пойдетъ дальше поэтъ. Мы слыхали уже его слова, что «такъ будетъ всегда», что онъ будетъ отмѣчать «красной струей крови слѣдъ своей земной дороги». Но при такихъ условіяхъ поэтъ не выполнитъ того благороднаго назначенія, которое онъ самъ для себя поставилъ: посредствомъ своего «я» давать выраженіе общечеловѣческому «я». Въ своей фантазіи «Человѣческая душа» самъ же Тетмайеръ опредѣляетъ душу, какъ что-то всеобъемлющее, что-то безграничное, какъ предвѣчное время и предвѣчную жизнь. Да и безъ этого всякій знаетъ, что человѣческая душа живетъ не одними только страданіями, избранными поэтомъ своею спеціальностью.

Но поэзія не знаетъ «спеціальностей». Она такъ же широка и всеобъемлюща, какъ человѣческая жизнь. А въ жизни все переплелось, и отъ великаго и до смѣшного въ ней одинъ только шагъ. Разставаясь съ Тетмайеромъ, мы повторимъ тотъ же призывъ ему, съ какимъ онъ обращается къ горалю въ своемъ чудномъ «Чардашѣ»:

Грустно что-то ты играешь:
Твой смычокъ дрожитъ,
И слеза уже съ рѣсницы
У тебя скользитъ.
Гей, цыганъ! Смѣни-ка тонъ свой!
Пусть смычокъ летитъ,
Пусть огнемъ, всю кровь мнѣ жгущимъ,
Скрипка говоритъ...

Артуръ Грушецкій.

1. Евреи, поляки и милліоны.

— «Лейзоръ, сколько ты имѣешь?

— Что я тамъ имѣю!.. Я мало имѣю.

— Ну, открой женѣ, сколько ты у себя насчитываешь?

— Я не знаю, но конторскія книги показываютъ, что у меня немножко есть: можетъ быть триста тысячъ, можетъ быть болѣе.

— Лейзоръ, мы, значитъ, богаты.

— Нѣтъ, Сура, мы бѣдны, намъ много не хватаетъ...

— А сколько намъ не хватаетъ?

— Цѣлый милліонъ!.. Слышишь, Сура, цѣлый милліонъ!..»

Этотъ «милліонъ», къ пріобрѣтенію котораго Лейзоръ Краусбергъ стремится всѣми силами своей ненасытной души, составляетъ канву интересной повѣсти г. Грушецкаго [1]), съ которой мы хотимъ познакомить читателей. Повѣсть не тѣмъ интересна, что даетъ картину борьбы за наживу: всегда и вездѣ велась и ведется такая борьба; у ногъ золотого тельца всегда валяются цѣлыми грудами трупы павшихъ въ этой борьбѣ и слышатся «пѣніе и лики» одержавшихъ побѣду. Картина—стара какъ міръ. Не въ томъ также интересъ повѣсти, что въ ней дано яркое изображеніе истинно-дьявольской системы, посредствомъ которой этотъ достойнѣйшій

---

[1]) Dla miliona. 1900 г.

представитель семитическаго племени неуклонно идетъ къ намѣченной цѣли: система эта пользуется міровою извѣстностью, хотя слѣдуетъ сказать, что даже и при этомъ условіи не разъ сердце сжимается въ холодномъ ужасѣ при описаніи г. Грушецкимъ нѣкоторыхъ пріемовъ Лейзора Краусберга, къ которымъ онъ прибѣгаетъ для достиженія своей завѣтной цѣли. Въ повѣсти г. Грушецкаго раскрывается нѣсколько иной горизонтъ. Беллетристъ даетъ любопытную картину борьбы смѣшаннаго характера,—частью экономической, частью племенной, происходящей въ Галиціи и начавшейся не со вчерашняго дня. Съ внѣшней стороны борьба имѣетъ экономическій характеръ: на мирныхъ галиційскихъ поляхъ открыты залежи нефтяныхъ богатствъ, туда и устремляются предпріимчивые люди, бросая насиженныя гнѣзда и заводя новое, мало знакомое дѣло; цѣлой гурьбой бросается еврейство, которому тѣсно стало въ мѣстечкахъ и селахъ, среди уже обглоданнаго и обсосаннаго галиційскаго простонародья; наконецъ, плетется это самое простонародье, чтобы дать содрать съ себя вторую шкуру. «Милліонъ», объявившійся вдругъ въ нѣдрахъ земли, оказывается не благодѣтелемъ, а просто какимъ-то злымъ бичомъ. Почуявъ запахъ большихъ барышей, евреи звѣрѣютъ, теряютъ остатокъ всякаго человѣческаго чувства и не останавливаются ни предъ какимъ преступленіемъ, лишь бы перетянуть къ себѣ всѣ земли съ залежами. Добродушные, съ открытой и благородной душой шляхтичи, бросившіе свои имѣнія и пришедшіе искать счастія въ глубокихъ нефтяныхъ колодцахъ, послѣ первыхъ восторговъ и надеждъ чувствуютъ себя опутанными какой-то невидимой паутиной, дѣлаютъ отчаянныя усилія вырваться изъ этихъ ужасныхъ сѣтей, но послѣ не особенно продолжительной борьбы падаютъ, сраженные коварнѣйшимъ врагомъ. Такова общая схема этой борьбы. Перейдемъ къ частностямъ.

Нефтяной участокъ, Лейзора Краусберга, соприкасается съ участкомъ пана Братковскаго, — честнаго, прямодушнаго шляхтича, ликвидировавшаго небольшое земельное хозяйство и взявшагося за новое дѣло въ надеждѣ разбогатѣть. Быть

можетъ, панъ Братковскій, въ глубинѣ души, тоже лелѣетъ мысль выкачать изъ земли «цѣлый милліонъ», но не жадность питаетъ его мечты, да при томъ къ этому милліону шляхтичъ идетъ нѣсколько инымъ путемъ, чѣмъ Лейзоръ Краусбергъ. У него нѣтъ систематической эксплоатаціи рабочихъ, какъ у послѣдняго, а существуютъ даже человѣческія отношенія къ живой рабочей силѣ. Къ несчастію Братковскаго, въ его участкѣ добывается продуктъ очень высокаго качества, тогда какъ у Краусберга—ниже посредственности. У Краусберга въ сердцѣ закипаетъ зависть къ сосѣду и укрѣпляется намѣреніе, во чтобы то ни стало, завладѣть его участкомъ. Такова завязка повѣсти.

Начинается борьба,—скрытая, нечестная, ведущаяся особой манерой: бросаніемъ камня изъ-за угла и всякими подвохами. Несмотря на добросовѣстность Братковскаго, къ нему очень часто жалуютъ то горный комиссаръ, то ктонибудь изъ полицейскихъ и съ какой-то особенной подозрительностью осматриваютъ—все ли въ порядкѣ. Секретъ этихъ назойливыхъ визитовъ раскрывается предъ читателемъ изъ бесѣды Краусберга съ его конторщикомъ Эфетомъ Рогеромъ, докладывающимъ хозяину, что имъ въ точности исполненъ его приказъ: посланъ въ Львовъ доносъ на безпорядки, которые якобы чинятся на работахъ у Братковскаго. Положеніе Братковскаго, между тѣмъ, становится критическимъ вслѣдствіе того, что оборотный капиталъ у него на исходѣ, кредитъ уменьшается, а тутъ, во что бы то ни стало, нужно добыть тысячу гульденовъ. Все это какъ нельзя лучше извѣстно Краусбергу, которому періодически доноситъ о положеніи дѣлъ сосѣда юркій факторъ Іозель Рейхъ, умудряющійся быть комиссіонеромъ и того и другого, получающій плату и тамъ и тутъ. Въ рукахъ Краусберга, такимъ образомъ, оказывается новый сильный козырь противъ конкуррента, и этимъ козыремъ безсовѣстный еврей пользуется дьявольски-умѣло: онъ подорвалъ ему кредитъ, вызвалъ временное паденіе цѣнъ на нефтяные продукты и, въ то же время, посредствомъ тайной работы своего конторщика довелъ дѣло до того, что горная инспекція пріостанавливаетъ работы у Братковскаго, якобы

въ виду охраненія безопасности рабочихъ. Когда закинутая на шею Братковскаго петля затянута была до надлежащаго предѣла, Краусбергъ великодушно вызывается помочь сосѣду: оказать ему кредитъ, но съ условіемъ, что онъ становится совладѣльцемъ залежей, т. е. достигаетъ своей завѣтной цѣли. Братковскій, хотя не безъ сильныхъ колебаній, идетъ въ эту ловушку и находитъ въ ней свою гибель: Краусбергъ такъ ловко ведетъ хозяйство, что добыча нефтяныхъ продуктовъ даетъ только убытки и состояніе шляхтича постепенно переходитъ въ цѣпкія руки еврея. На помощь природнымъ талантамъ Краусберга подоспѣваетъ счастливый случай: схвативши простуду, Братковскій заболѣлъ, и это еще болѣе развязало руки Краусбергу, позволило ему ввести самые усовершенствованные пріемы своей ловкости для закрѣпленія за собой участковъ съ нефтью сосѣда и компаніона. Дѣло оканчивается тѣмъ, что все состояніе Братковскаго переходитъ къ Краусбергу, а семья несчастнаго шляхтича, который предпочелъ лечь въ могилу, чѣмъ вести дѣло съ евреемъ, остается безъ кола и двора, а также безъ гроша денегъ.

Побѣда Краусбергу досталась очень легко, и это не можетъ удивлять читателя. Честный, открытый шляхтичъ, воспитавшійся на облагораживающемъ земледѣльческомъ трудѣ, даже предполагать не могъ, что существуютъ такіе пріемы борьбы, какіе практиковалъ Краусбергъ. Наконецъ, — одинъ въ полѣ не воинъ, особенно въ столкновеніи съ прекрасно спѣвшейся, тѣсно сплотившейся и организовавшейся во имя наживы шайкой евреевъ. Но если такая борьба не по силамъ одному человѣку, то не сумѣетъ ли повести ее умѣло и выйти побѣдительницей кооперація, хотя бы и не прибѣгая къ системѣ Краусберга? Этотъ вопросъ напрашивается невольно, и если бы г. Грушецкій ограничился въ своей повѣсти только разсказомъ о злоключеніяхъ, постигшихъ пана Братковскаго, то у читателя составилось бы мнѣніе въ такомъ родѣ, что беллетристъ взялъ слишкомъ мелкую тему: мало ли шляхетскихъ состояній (да и только ли шляхетскихъ?) проглатывается евреями, которые оказываются болѣе выносливыми, болѣе выдержанными во всякой недобросовѣстности!

Повидимому, такая мысль представлялась и г. Грушецкому, и вторую часть повѣсти онъ посвящаетъ изображенію того, можетъ ли устоять противъ еврейскаго кагала шляхетская кооперація, въ которую входятъ люди, достаточно искусные въ коммерческомъ дѣлѣ.

Англо-австрійскій банкъ, закупившій участки земли съ залежами нефти въ томъ же округѣ, гдѣ разыгрался только-что разсказанный эпизодъ неравной борьбы шляхтича съ евреемъ, переуступилъ ихъ группѣ польскихъ капиталистовъ, во главѣ которыхъ стоитъ панъ Флоріанскій. По тѣмъ немногимъ сценамъ, гдѣ дѣйствующимъ лицомъ является Флоріанскій, мы въ правѣ заключить, что это—человѣкъ твердаго закала, широко свѣдущій въ коммерческомъ дѣлѣ, преданный интересамъ края и при томъ не безъ идейной закваски. Его мысль — оживить промышленность въ этомъ уголку, поставить дѣло такъ, чтобы выгодами начинающагося дѣла пользовалось осѣдлое населеніе, а не паразитически впившееся въ него еврейство. Все это Флоріанскій подробно развилъ въ рѣчи, съ которою онъ обратился въ день пріѣзда къ окрестной шляхтѣ, собравшейся по его приглашенію. «До сихъ поръ», говорилъ онъ, «неисчерпаемыми богатствами нашего края пользовались только евреи да нѣмцы; продукты въ сыромъ видѣ вывозились за границу, а переработанный нашъ продуктъ мы покупали у себя за большія деньги. Компанія наша, во главѣ которой я поставленъ, задалась цѣлью сдѣлать мѣстною эту отрасль промышленности и въ эксплоатаціи ея пользоваться силами исключительно нашими, народными. Это большое и разсчитанное на широкую ногу предпріятіе владѣетъ разными побочными отраслями, которыя, по мысли компаніи, должны послужить къ возвышенію мѣстнаго благосостоянія». Предложивъ шляхтѣ взять на себя поставку разныхъ продуктовъ сельскаго хозяйства, съ взаимнымъ другъ за друга ручательствомъ, Флоріанскій закончилъ рѣчь горячимъ призывомъ: «Господа, здѣсь, въ нашемъ краѣ, спятъ милліоны, которые могутъ обогатить весь нашъ край. Компанія желаетъ извлечь ихъ, но для этой работы необходима совокупная энергія. Положимъ, господа, основаніе но-

вой, болѣе счастливой, эпохи экономическаго развитія нашимъ общимъ трудомъ и взаимопомощью!»

Дѣло, однако, налаживалось туго, когда вопросъ о взаимномъ ручательствѣ и контролѣ поставленъ былъ на практическую почву. Охотниковъ организовывать небольшія товарищества для доставки хозяйственныхъ продуктовъ находилось маловато, и вотъ какъ объяснилъ Флоріанскому эту кажущуюся косность старый шляхтичъ Турскій: «Мы тутъ», говорилъ онъ, «живемъ испоконъ вѣку въ нашихъ наслѣдственныхъ имѣніяхъ, которыя переходятъ отъ отца къ сыну, такъ что всѣ мы здѣсь сродни приходимся другъ другу. Каждый изъ насъ знаетъ, что у сосѣда есть кирпичъ, мельница, лошади, молоко, солонина... Вообще какъ всегда въ шляхетскомъ хозяйствѣ, но каждый изъ насъ блюдетъ границу и не доискивается ни количества, ни сорта, ни способа: достаточно труда и со своимъ хозяйствомъ. Живемъ мы дружно, по сосѣдски, какъ Богъ приказалъ; такъ хочемъ жить и далѣе. Кто станетъ класть здоровую голову подъ Евангеліе?[1]). А панъ вызываетъ насъ на это... Да кто же изъ насъ, изъза нѣсколькихъ монетъ заработка, согласился бы сдѣлать непріятность сосѣду, порвать съ нимъ сношенія, обрекать себя на разныя претензіи, контролированіе, неудовольствіе?... Да сохрани насъ Богъ отъ этого!...» А другой шляхтичъ, панъ Борецкій, въ дружеской бесѣдѣ съ Флоріанскимъ, убѣждаетъ его не пренебрегать посредничествомъ и евреевъ. «Вы только сообразите», заявляетъ онъ, «что сталъ бы дѣлать шляхтичъ безъ еврея? Ни продать, ни купить. И я вамъ, по-родственному, совѣтую: дѣйствуйте въ согласіи съ ними, не давайте

---

[1]) Къ этой характерной фразѣ пана Турскаго необходимо сдѣлать маленькое поясненіе. Набожность польскаго простонародья, такъ охотно поддерживаемая ксендзами, создала особый благочестивый обычай: страдающіе головною болью, во время чтенія евангелія, наклоняютъ голову подъ священную книгу съ вѣрой въ выздоровленіе. Отсюда и создалось это народное присловье, обозначающее, что если кому живется благополучно, то не зачѣмъ гоняться за мечтами, обѣщающими еще большее благополучіе. Пожилые люди любятъ этимъ присловьемъ охлаждать пылкіе порывы молодежи, обыкновенно не довольствующейся хорошимъ настоящимъ и рвущейся къ прекрасному миражу будущаго.

зарока, никто такъ хорошо не окажетъ услуги, какъ еврей». Флоріанскій допускаетъ, что, въ крайнемъ случаѣ, придется обратиться и къ евреямъ, но при этомъ выражаетъ недоумѣніе, какимъ образомъ шляхтичи могутъ выносить такую зависимость отъ евреевъ. Панъ Борецкій, въ свою очередь, недоумѣваетъ, какъ можно тяготиться зависимостью отъ еврея: «Дай мнѣ, Господи, такую зависимость на всю жизнь, — я вѣдь и покричу на него, и потормошу, и изругаю, а онъ, служитъ мнѣ за какую-нибудь копѣйку комиссіонныхъ. Еврей — пустое, я всегда съ нимъ, такъ или иначе, улажу дѣло; а вотъ банки, тѣ, пся-вяра, не отступятся отъ сроку: давай, плати, откуда хочешь, и принужденъ заплатить!»

Начало, какъ видите, не предвѣщаетъ ничего хорошаго, и Лейзоръ Краусбергъ, выслушавъ реляцію своихъ агентовъ о совѣщаніи Флоріанскаго съ шляхтичами, съ иронической усмѣшкой сказалъ своему собесѣднику: «Мы можемъ спать спокойно: съ ними онъ далеко не уѣдетъ, ужъ мы-то его догонимъ». И дѣйствительно, не очень-то далеко уѣхалъ панъ Флоріанскій въ своихъ мечтахъ съ шляхтой. Сроки доставки продуктовъ на прокормленіе рабочихъ не выполнялись съ тою аккуратностью, какой требовало дѣло, и пану Флоріанскому, волей-неволей, пришлось обратиться къ посредничеству евреевъ. Не дремалъ при этомъ и Лейзоръ Краусбергъ, не забылъ онъ и тѣхъ пріемовъ, которые помогли ему не такъ давно одержать блистательную побѣду надъ Братковскимъ. Все это подтачило доходы предпріятія, Флоріанскій не терялъ вѣры, но старый дѣлецъ, котораго прислали изъ Вѣны обревизовать дѣла предпріятія, вынесъ не совсѣмъ оптимистическое заключеніе и такъ выразилъ свое мнѣніе въ разговорѣ съ Флоріанскимъ:

«— Видите ли, въ общемъ я вынесъ такое впечатлѣніе, что вы строите очень величественный и красивый корабль, но при этомъ не изслѣдовали воды, по которой ему предстоитъ плыть.

— Не понимаю.

— Вы вникните... Галиція—это малый, убогій край, это мелкая, нерѣдко тинистая, вода; и вы, съ вашимъ величе-

ственнымъ кораблемъ, можете застрясть, а еврейскія лодки поплывутъ далѣе».

Кажется, старый дѣлецъ не ошибается. Г. Грушецкій не рѣшаетъ вопроса, устоитъ ли предпріятіе отъ дружнаго напора кагала съ Краусбергомъ во главѣ. Во всякомъ случаѣ этому предпріятію приходится плохо. Зато предъ Краусбергомъ расчищенъ прямой, ровный путь къ милліону, и ни на одну минуту не возникаетъ у читателя сомнѣній, что этотъ милліонъ будетъ у пронырливаго еврея въ рукахъ.

Съ этимъ милліономъ Краусбергъ сдѣлается могущественнымъ властелиномъ въ своей околицѣ, передъ нимъ склонится все. Есть разные типы героевъ наживы; встрѣчаются между ними — не скажемъ: симпатичные, но, во всякомъ случаѣ, такіе, по отношенію къ которымъ не выростаетъ никакого недобраго чувства. Таковы, напримѣръ, убѣжденные слуги капитала, люди съ холоднымъ и разсчетливымъ умомъ, совершенно чуждые какой-либо алчности, ворочающіе громадными дѣлами и въ то же время очень скромные въ личныхъ требованіяхъ и привычкахъ, преданные упорной работѣ не ради средствъ къ жизни, которыхъ у нихъ и безъ того больше, чѣмъ нужно, и не ради корысти, а единственно въ томъ убѣжденіи, что такая работа есть ихъ обязанность, налагаемая на нихъ капиталомъ, состоящимъ въ ихъ распоряженіи, есть ихъ священный долгъ передъ налаженнымъ дѣломъ, за которое они считаютъ себя отвѣтственными передъ людьми. Дѣльцовъ этого сорта нельзя не уважать. Еврейская нація выработала своеобразный типъ дѣльцовъ: въ зачаточномъ видѣ—гешефтмахеры, въ оперившемся состояніи—кровопійцы и ростовщики, а въ законченной формаціи—Краусберги; эти дѣльцы — горе и несчастіе для той околицы, изъ которой они высасываютъ жизнь и кровь. У нихъ молчитъ голосъ совѣсти, въ душѣ ихъ нѣтъ и признака благородныхъ страстей, люди для нихъ — не братья, которыхъ нужно любить и жалѣть, а просто двуногія животныя, которыя, между прочимъ, хороши тѣмъ, что ихъ можно стричь постоянно. И ничѣмъ еврей такъ сильно не раздражается, какъ тѣмъ, если вдругъ это двуногое животное начинается обнаруживать

10

чувство самообороны и не даетъ снимать съ себя вторую шкуру. Очень характерна въ этомъ отношеніи сценка, которую беремъ изъ повѣсти г. Грущецкаго цѣликомъ.

«Панъ Краусбергъ вошелъ въ корчму Арона, и послѣ обычнаго привѣтствія оба усѣлись въ небольшой комнатѣ, отдѣленной отъ корчмы перегородкой.

— Аронъ, что у тебя слышно?

— У меня плохія вѣсти,—отвѣтилъ тотъ съ гримасой.

— Ты, Аронъ, шутишь: теперь здѣсь столько рабочихъ, пріѣзжихъ, у тебя долженъ быть хорошій доходъ.

— Пусть врагамъ моимъ достаются такіе доходы,—отвѣтилъ онъ съ печальнымъ вздохомъ.

— Ну, что же случилось? Этого быть не можетъ! Такая прекрасная корчма и такое количество народа...

— Она пустуетъ, Лейзоръ. Иди, посмотри. Кто сидитъ въ ней? Кто пьетъ?

— А гдѣ же рабочіе?

— У нихъ теперь своя корчма и они, намъ на зло, назвали эту гадость «Христіанская гостинница». Слыхалъ ли ты, Лейзоръ, когда-нибудь такое слово? Ну, такъ вотъ оно здѣсь есть въ Сходницѣ (названіе мѣстечка). Рабочій—у насъ теперь великій панъ. Этотъ Флоріанскій, — чтобъ ему сгинуть, — кормитъ ихъ какъ воловъ на убой; у нихъ теперь своя полиція, и пьянаго сейчасъ выпроваживаютъ изъ корчмы.

— И бьютъ?

— Если-бъ то они били,—вздохнулъ тотъ,—гой пилъ бы себѣ дальше, а они штрафуютъ; а тебѣ, Лейзоръ, не нужно разсказывать, что гой боится только денежнаго штрафа.

— Ну, это противъ полномочія полиціи: она не имѣетъ права налагать штрафъ на пьяницъ. Ты, Аронъ, подай жалобу.

— Что мнѣ это поможетъ, Лейзоръ? У Флоріанскаго большія деньги, мнѣ съ нимъ не сладить.

— Мы-то ужъ съ нимъ сладимъ, — прошипѣлъ онъ съ злобой.

— Лейзоръ,—прошепталъ шинкарь, — а что-нибудь ужъ дѣлается? Онъ насъ раззоритъ, мы обнищаемъ, и наши дѣти, и наши внуки.

— Придетъ время, я скажу тебѣ... Ну, Аронъ, такъ что же онъ здѣсь дѣлаетъ?

— Все дурное, что ты, Лейзоръ, можешь себѣ представить. Учредилъ для рабочихъ такую кассу, что если который — бѣдный, такъ онъ не нуждается въ нашемъ кредитѣ: онъ идетъ въ кассу и беретъ, сколько хочетъ. И знаешь, онъ не держитъ этой кассы у себя, онъ имъ отдалъ деньги.

— Аронъ, онъ соціалистъ.

— Соціалистъ?.. Лейзоръ, а что это такое?

— Соціалистъ?... Соціалистъ?... Этотъ тотъ, кто хочетъ брать мои деньги, мою выгоду; онъ ничего не дастъ мнѣ за это, только хочетъ меня зарѣзать... Вотъ это и есть соціалистъ!

— Ну, Лейзоръ, такъ этотъ Флоріанскій есть настоящій соціалистъ, онъ даже генералъ соціалистовъ, — быстро проговорилъ хозяинъ, — онъ захватываетъ наши выгоды, наши деньги, не даетъ намъ торговать и зарѣзываетъ насъ».

Вотъ чисто-еврейская точка зрѣнія на людскія отношенія: кто руководится не исключительно своекорыстными побужденіями, тотъ—опасный человѣкъ, врагъ общества. Очевидно, по еврейскому представленію, общество есть союзъ немногихъ кошекъ и цѣлыхъ миріадовъ мышекъ, и назначеніе первыхъ—живьемъ глотать послѣднихъ.

Не думайте, что только гои состоятъ въ разрядѣ мышекъ. Еврейство вѣдь тоже прогрессируетъ, и законъ Моисея, повелѣвающій щадить и беречь единовѣрца, а дозволяющій жестокость только къ чужому, теперь сданъ въ архивъ, какъ устарѣлый. Небезъинтересный въ этомъ отношеніи эпизодъ разсказанъ мимоходомъ г. Грушецкимъ.

Рѣже, конечно, чѣмъ у другихъ народностей, но и въ еврействѣ встрѣчаются типы праведниковъ,—тѣхъ чистыхъ и возвышенныхъ натуръ, въ сердцѣ которыхъ бьетъ родникъ безкорыстной любви къ ближнему. Въ околицѣ, гдѣ происходитъ описанное г. Грушецкимъ, такимъ праведникомъ былъ

Янкель, добровольно взявшій на себя собираніе милостыни, которую затѣмъ раздавалъ бѣднымъ и убогимъ. Это былъ подвижникъ въ полномъ смыслѣ слова, жившій исключительно для тѣхъ бѣдняковъ, для которыхъ каждый грошъ былъ богатствомъ, каждый кусокъ хлѣба—пиршествомъ. Туго приходится Янкелю: нужда росла, какъ и всюду, гдѣ богатство начинаетъ быстро скопляться въ рукахъ немногихъ, а пожертвованія не увеличивались, да при томъ каждый богачъ охотнѣе жертвовалъ кагалу и раввину, такъ какъ это доставляло ему больше славы. Въ одинъ вечеръ, когда къ Янкелю пришли просить помощи евреи-переселенцы изъ Турціи, оборванные и голодные, Янкель рѣшается напомнить о себѣ Краусбергу и его компаніонамъ, изъ которыхъ каждый обѣщалъ небольшую ежемѣсячную мзду этому милостынераздавателю.

А тѣ какъ разъ собрались на скупой пиръ къ Краусбергу и съ удовольствіемъ выслушивали разсказъ молодого еврейчика, какъ онъ ловко надулъ нѣмца-техника въ Вѣнѣ. Когда непрошенному гостю указали на неумѣстность его назойливости, старикъ Янкель выпрямился, глаза его засверкали, и онъ, возвысивъ голосъ, сказалъ слѣдующее:

«Знаете ли вы, сидящіе здѣсь, въ комнатѣ, за виномъ и кушаньемъ, знаете ли вы, откуда я возвращаюсь, почему я шелъ темною ночью, ища съ помощью палки дороги?... Я былъ у вашихъ братьевъ... Откройте ваши глаза, отслоните уши, покажите свое сердце: тамъ вотъ плачутъ, стонутъ, корчатся въ голодѣ и болѣзняхъ сыны Израиля; оборванные, обнищавшіе, всюду отталкиваемые, идутъ они жизненной стезею. Голодъ пожираетъ ихъ внутренности, тѣло изнурено отъ болѣзни, языкъ присохъ къ устамъ, и нѣтъ никого, кто бы утѣшилъ, накормилъ, напоилъ, одѣлъ...»

— Янкель,—отвѣтилъ Краусбергъ,—ступай домой, завтра мы побесѣдуемъ объ этихъ дѣлахъ.

— Завтра? — иронически разсмѣялся милостынераздаватель. А знаете ли вы, что у меня теперь сидятъ несчастные изгнанники, ваши братья, съ женами и дѣтьми, они голодны, наги, бѣдны, они не могутъ ждать. Ты, Лейзоръ, сегодня отдай долгъ.

— Сегодня не дамъ, — со злостью прошепталъ онъ. — и ты ступай себѣ, Янкель.

Панъ Линдеманъ, желая придти на помощь компаніону, прибавилъ съ усмѣшкой:

— Имъ хорошо у тебя, но ты, Янкель, дурно ихъ принимаешь: ты убѣгаешь отъ своихъ гостей.

Всѣ громко засмѣялись.

Взволнованный милостынераздаватель закричалъ:

— О вы, окаменѣвшія сердца, я къ вамъ говорю, какъ къ братьямъ, а вы стараетесь отдѣлаться отъ меня грязными шуточками. Теперь я вамъ повѣдаю, что день кары, день суда Господня уже близокъ. Трепещите же, потому что руки ваши обагрены кровью, персты запятнаны несправедливостью, а уста—ложью. Іегова отмститъ на васъ и на дѣтяхъ вашихъ страданіе и плачъ своего народа. Погрязайте далѣе въ распущенности и грѣхахъ вашихъ, но трепещите, потому что день воздаянія близокъ».

Въ этой патетической тирадѣ, построенной въ восточномъ вкусѣ, звучитъ искренняя нота негодованія, а вѣдь Краусбергъ покамѣстъ обнаружилъ только холодную безжалостность къ своимъ единоплеменникамъ, принесъ имъ, такъ сказать, пока пассивное зло. Христіанское населеніе Галиціи (держимся рамокъ повѣсти г. Грушецкаго) можетъ насчитать на своемъ организмѣ очень не мало реальныхъ, осязательныхъ ранъ, нанесенныхъ нечистыми руками Краусберговъ. Гибнутъ состоянія шляхтичей Братковскихъ, разные Павлы, Яны и Кази, бросаютъ земледѣльческій трудъ, чтобы стать на положеніе почти рабочаго скота въ глазахъ хозяина-еврея, а этотъ послѣдній жирѣетъ насчетъ христіанской крови, крѣпнетъ въ своей безсовѣстности и забираетъ, наконецъ, такую силу въ руки, что съ ней не въ состояніи совладать даже широко задуманная кооперація. Такова теперь группировка общественныхъ силъ въ Галиціи. Янкель-милостынераздаватель, по крайней мѣрѣ, имѣетъ смѣлость громко возвысить голосъ противъ черствости Краусберговъ. Но что же мы не слышимъ негодующаго голоса поляковъ, которымъ, какъ хозяе-

вамъ Галиціи, пора бы заявить протестъ противъ всезахватывающей алчности палестинскихъ пришельцевъ?

2. Побѣжденные.

Едва ли будетъ нарушеніемъ исторической истины утверждать, что нѣмцы — исконный врагъ славянскаго племени, больше всѣхъ потрудившійся надъ искорененіемъ славянской самобытности. Съ желѣзнымъ постоянствомъ нѣмцы старались навязать свою культуру всякой отрасли славянства, съ которой имъ приходилось сталкиваться въ калейдоскопѣ историческихъ перемѣщеній, и всегда успѣвали въ этомъ послѣ не особенно продолжительной борьбы. Нѣмцы могутъ приписать себѣ даже заслугу, что, благодаря ихъ усиліямъ, стерты съ лица земли нѣкоторыя вѣтви славянства. Такова, напримѣръ, цѣлая группа полабскихъ славянъ, надъ которыми была одержана полная побѣда, такъ что отъ нихъ осталось только смутное историческое воспоминаніе. Однако, не всѣ еще славяне, входящіе въ составъ Германской имперіи, пришли къ сознанію превосходства нѣмецкой культуры; есть группы славянъ, попавшихъ подъ скипетръ Гогенцоллерновъ въ позднѣйшія времена, послѣ долгой самостоятельной государственной жизни. Они принесли свою общественность и не желаютъ съ ней разставаться, имъ дорогъ свой языкъ, имъ милъ унаслѣдованный отъ предковъ укладъ жизни. Тутъ борьба труднѣе, и приходится допускать нѣкоторую непослѣдовательность: дѣйствуя во имя цивилизаціи (ибо нѣмцы ея именемъ освящаютъ свой гнетъ славянъ), приходится прибѣгать къ явно насильственнымъ мѣрамъ. Какъ долго продлится эта не совсѣмъ равная борьба—предсказать трудно. Въ настоящее время она въ періодѣ полнаго разгара. Одной изъ берлинскихъ газетъ предложена была, напр., слѣдующая программа борьбы противъ поляковъ: 1) Познанское герцогство раздѣляется на четыре административныя провинціи; 2) резиденція архіепископа переводится въ Силезію; 1) въ Познани вводится диктатура; 4) польскія газеты воспрещаются; 5) прекращается всякое польское издательство; 6) офицеры и чиновники польской народности удаляются отъ службы;

7) лица польскаго происхожденія лишаются права служить вольноопредѣляющимися. Достойнымъ дополненіемъ этой программы является докладная записка, представленная правительству прусскимъ военнымъ тактикомъ генераломъ Богуславскимъ, ученикомъ Мольтке, въ которой онъ совѣтуетъ соорудить въ Познани вооруженный лагерь и надлежащимъ образомъ вооружить линію рѣки Варты, текущей изъ русскихъ предѣловъ, въ виду польской опасности. Не нужно забывать, замѣчаетъ генералъ, что Познань—все еще непріятельская страна. Поляки постоянно думаютъ о возстаніи, а это не шуточное дѣло. Прусское правительство между тѣмъ продолжаетъ съ своей стороны систематически давить поляковъ. Новѣйшее драконовское распоряженіе по учебному вѣдомству строжайше воспрещаетъ ученикамъ гимназій разговаривать между собой по-польски во время отдыха между уроками. Не слѣдуетъ при этомъ забывать, что еще въ 1886 г. въ Познани учреждена была колонизаціонная комиссія, имѣющая своей задачей скупать помѣстья у польскихъ помѣщиковъ и затѣмъ распродавать ихъ небольшими участками нѣмецкимъ колонистамъ.

Такъ обстоитъ дѣло въ Познани. Очевидно, тутъ нѣмцамъ предстоитъ еще немало цивилизаторской работы, пока удастся водворить добрый нѣмецкій духъ въ коренномъ населеніи, съ варварскимъ упорствомъ считающемъ себя поляками.

Въ болѣе благопріятномъ положеніи находится процессъ онѣмечиванія аборигеновъ-славянъ въ Силезіи — провинціи, составлявшей нѣкогда самостоятельное славянское княжество, а нынѣ, кажется, готовой къ сдачѣ въ архивъ историческихъ достопамятностей славянства. Правда, тамъ еще не окончательно угасъ огонь славянской самобытности; но онъ уже еле тлѣетъ, заливаемый сильною струею, которую направляетъ рука опытнаго пожарнаго. Отчаянныя усилія силезцевъ сохранить хотя бы языкъ свой напоминаютъ конвульсіи умирающаго, котораго коснулось уже холодное дыханіе смерти. Нѣмцы не знаютъ пощады, душащая силезцевъ рука не дрогнетъ, а видъ покореннаго, павшаго раба вызываетъ у нихъ только чувство брезгливости. Въ такомъ именно

видѣ изображаетъ современный фазисъ этой борьбы извѣстный беллетристъ Артуръ Грушецкій въ своемъ романѣ «Побѣжденные» [1]).

Центральная фигура романа — Іосифъ Новакъ, совладѣлецъ сталелитейнаго завода подъ фирмой «Графъ Бисмаркъ». Силезецъ по происхожденію, Новакъ съ молодыхъ лѣтъ былъ оторванъ отъ родины. Отецъ воспитывалъ его въ политехникумѣ, а по окончаніи теоретическихъ курсовъ Новакъ изучалъ желѣзодѣлательное производство въ нѣсколькихъ крупныхъ фабричныхъ центрахъ Англіи. Запасшись знаніями въ изобиліи во всѣхъ видахъ и формахъ, Новакъ возвращается на родину, гдѣ мечтаетъ дать этимъ знаніямъ полезное примѣненіе.

Въ этотъ-то моментъ и взвивается занавѣсъ предъ читателемъ. Дѣйствіе происходитъ на упомянутомъ заводѣ «Графъ Бисмаркъ», гдѣ въ отсутствіе молодого Новака дѣлами управляетъ другой совладѣлецъ — Рейнеръ, нѣмецъ, и нанятый имъ директоръ завода Шеуэръ, тоже нѣмецъ. Съ дивидендной точки зрѣнія оба они ведутъ дѣло блистательно, заводъ процвѣтаетъ во всѣхъ отношеніяхъ, репутація его въ торговомъ мірѣ стоитъ прочно, рынки для сбыта издѣлій обезпечены, кредитъ широкій—словомъ, получается картина полнаго финансоваго благополучія. Не совсѣмъ только ладны отношенія къ рабочимъ. Дѣло въ томъ, что какъ хозяинъ завода Рейнеръ, такъ и его директоръ—люди не безъ идеи. Они смотрятъ на себя не какъ на простыхъ только заводчиковъ, но какъ на носителей высшей культуры и ставятъ предъ собой благородную задачу — пріобщить къ этой культурѣ темный силезскій людъ, работающій у нихъ на заводѣ. Но этотъ темный силезскій людъ, конечно, по грубости сердца не только не оцѣниваетъ по достоинству просвѣтительныхъ стремленій его нѣмецкихъ благодѣтелей, не только не спѣшитъ воспринять цѣликомъ эту высокую культуру, но еще и бодается, отстаивая свой языкъ и родные обычаи, и при этомъ ропщетъ на притѣсненія. Отсюда получается рядъ конфликтовъ.

---

[1]) Artur Gruszecki. Zwyciężeni. Powiesc wspolczesna. Warszawa — Kraków. 1901.

Администрація завода, пользуясь мощнымъ содѣйствіемъ мѣстныхъ гражданскихъ властей, старается привить нѣмецкій языкъ и насадить нѣмецкую культуру въ средѣ силезцевъ-фабричныхъ насильственно, пользуясь для этой цѣли хорошо испытанной системой штрафовъ. Силезская чернь глухо ворчитъ и горитъ злобой къ своимъ притѣснителямъ, но не можетъ оказать сильнаго сопротивленія, такъ какъ всецѣло зависитъ отъ своихъ работодателей, которые вѣдь могутъ совсѣмъ лишить работы, а значитъ—и хлѣба.

Вѣсть о пріѣздѣ молодого Новака производитъ немалое волненіе въ средѣ заводскихъ рабочихъ. Все-таки это—свой человѣкъ по крови, силезецъ, а не проклятый нѣмецъ, отъ котораго добра ни въ какомъ случаѣ ожидать нельзя. Въ день пріѣзда рабочій Летоха устраиваетъ митингъ своихъ земляковъ въ портерной «Бѣлый конь». Собирается немалая толпа рабочихъ, какъ разъ возвращающихся изъ костела, гдѣ имъ пришлось выслушать проповѣдь на нѣмецкомъ языкѣ, несмотря на то, что составъ молящихся былъ чистокровно силезскій. Послѣ того какъ прибывшіе перебрали всѣ притѣсненія, какія пришлось каждому изъ нихъ перенести отъ нѣмцевъ въ ближайшемъ прошломъ (ибо борьба идетъ непрерывная и каждый почти день приноситъ что-нибудь новенькое, не говоря о денежныхъ штрафахъ, сыплющихся какъ изъ рога изобилія),—послѣ всѣхъ подобныхъ изліяній и жалобъ инициаторъ митинга держитъ рѣчь о необходимости воспользоваться пріѣздомъ молодого Новака, чтобы попытаться облегчить свою участь. Аудиторія настроена весьма пессимистически по поводу высказанной ораторомъ надежды, что у Новака, хотя воспитаннаго на чужбинѣ, могъ остаться нетронутымъ зародышъ народнаго чувства въ груди; нѣтъ, безспорно, всякое чувство сродства съ своимъ народомъ у него вытравлено; но все-таки пріѣздомъ молодого хозяина нужно воспользоваться, чтобы изложить предъ нимъ свои «скарги». Вѣдь нѣмцы несомнѣнно дремать не станутъ и постараются представить въ желательномъ для себя свѣтѣ предпринятую для истребленія силезской самобытности кампанію. Нужно поэтому предупредить нѣмцевъ и представить дѣло въ истинномъ свѣтѣ.

Велико было изумленіе молодого Новака, когда предъ нимъ депутатъ рабочихъ сталъ излагать «длинный и тяжкій» перечень обидъ, чинимыхъ фабричнымъ начальствомъ силезцамъ. Скажешь слово на родномъ языкѣ — штрафъ; лишь только сойдутся два силезца — третьимъ сейчасъ появляется нѣмецъ-шпіонъ изъ фабричной же корпораціи; не было еще примѣра, чтобы силезцу удалось выбиться изъ рядовыхъ рабочихъ хотя бы въ надсмотрщики; заводская администрація простираетъ свою попечительность даже на область частныхъ отношеній рабочихъ, карая принадлежность ихъ къ разнымъ кружкамъ (kólkam) благотворительнаго и просвѣтительнаго характера, выслѣживая ихъ собранія, закрывая читальни и библіотеки; «хорошо еще, что не забираются подъ кровать и не подслушиваютъ, на какомъ языкѣ бесѣдуешь съ женой и дѣтьми, а то и тутъ былъ бы штрафъ».

Панъ Новакъ былъ просто ошеломленъ этой безпорядочно сваленной грудой жалобъ. Ему, воспитанному въ болѣе вольномъ воздухѣ, видѣвшему болѣе человѣчную подкладку соціальныхъ отношеній, казалось непонятнымъ, какимъ образомъ въ сферу чисто-экономическихъ отношеній могутъ вноситься начала племеннаго раздора, да еще въ такомъ нестерпимомъ количествѣ. Онъ и рѣшаетъ, что рабочіе, по всей вѣроятности, сваливаютъ на заводскую администрацію вину за тѣ притѣсненія, которыя вовсе не отъ нея исходятъ. «Вы работаете,—говоритъ онъ,—вамъ платятъ за это—и конецъ. Фабрика не имѣетъ права вмѣшиваться въ личныя убѣжденія и я думаю, что все это дѣлается безъ вѣдома Оттона Рейнера, который, какъ и я, не потерпѣлъ бы подобныхъ притѣсненій. Нѣмецъ, французъ или силезецъ, въ роли фабриканта, имѣетъ право требовать отъ васъ добросовѣстной и тщательной работы. Что̀ касается вашихъ политическихъ убѣжденій, языка, обществъ, кружковъ, церкви, — все это вещи, ничего общаго не имѣющія съ фабрикой, и я ничѣмъ здѣсь не могу помочь вамъ».

Съ глубокимъ разочарованіемъ выслушала толпа эти слова, конечно, очень хорошія, но имѣвшія тотъ недостатокъ, что они были совершенно далеки отъ дѣйствительности.

въ чемъ Новаку пришлось сейчасъ же убѣдиться. Едва онъ окончилъ свою рѣчь, какъ въ портерную влетѣлъ какой-то нѣмецъ громаднаго роста и заговорилъ съ рабочими въ такомъ тонѣ, который удивилъ бы всякаго свѣжаго человѣка:

«Какъ вы смѣли задержать господина начальника, вы, проклятое силезское быдло, рвань этакая! Вы думаете, что вамъ вольно показать ваши силезскіе рога, потому что начальникъ не привезъ кнута. Я васъ научу, силезскія обезьяны! Завтра же, силезскія свиньи, выгоню васъ изъ фабрики!»

Усмиривши такимъ образомъ толпу, этотъ нѣмецъ, оказавшійся однимъ изъ надзирателей завода «Графъ Бисмаркъ», пригласилъ «пана-шефа» садиться на повозку и спокойно ѣхать далѣе, обѣщая по-свойски расправиться съ бунтовщиками. Но панъ-шефъ очнулся уже отъ изумленія, въ которое привела его вся эта сцена. Не безъ рѣзкости замѣтилъ онъ грубому нѣмцу, чтобы тотъ не торопился приводить въ исполненіе свои угрозы объ изгнаніи смѣльчаковъ, которые провинились только тѣмъ, что привѣтствовали его съ пріѣздомъ, какъ умѣли, и къ которымъ онъ покамѣстъ питаетъ только благодарность за ихъ простодушную деликатность.

Таковъ былъ первый сюрпризъ, который поднесла Новаку родная сторона въ день пріѣзда. Не долго пришлось ждать молодому капиталисту и разгадки тѣхъ странныхъ отношеній, которыя сложились въ этомъ глухомъ уголку между горстью нѣмцевъ и славянской массой. Хозяинъ фабрики Рейнеръ, желая почтить своего компаніона, устроилъ въ честь его раутъ, на который приглашены были владѣльцы нѣсколькихъ сосѣднихъ промышленныхъ предпріятій. Собрались все свои, какъ говорится, люди, вполнѣ понимавшіе другъ друга и безъ всякаго стѣсненія высказывавшіе все, что было у кого на умѣ. Говорили тосты и рѣчи въ честь героя торжества. Самою характерною въ смыслѣ нагой откровенности была рѣчь Бергера, хозяина сосѣднихъ каменноугольныхъ копей, которую мы и приводимъ сейчасъ.

«Мой любезный другъ Рейнеръ,—такъ началъ Бергеръ,— устроилъ это торжество, я полагаю, съ тою цѣлью, чтобы познакомить своего молодого компаніона Новака не только

съ виднѣйшими представителями здѣшняго общества, но также съ мѣстными отношеніями, съ которыми, по всей вѣроятности, господинъ Новакъ, вслѣдствіе своего десятилѣтняго отсутствія, не знакомъ въ достаточной степени. Поэтому я, какъ старшій товарищъ, позволю себѣ сказать нѣсколько словъ. Наша Германія, желая возвратить обратно свои области, временно захваченныя дикими восточными ордами, сооружала густые ряды оборонительныхъ крѣпостей, и разъ на нихъ появлялось нѣмецкое знамя, не было силы, которая способна была бы его заслонить или сорвать. Теперь другія времена. Общеизвѣстныя военныя усовершенствованія дѣлаютъ безполезнымъ устройство крѣпостей на возвышенностяхъ, господствующихъ надъ мѣстностью, но взамѣнъ того интеллигенція девятнадцатаго столѣтія изобрѣла иного рода оборонительныя и завоевательныя крѣпости, едва ли пожалуй не болѣе мощныя, чѣмъ стѣны, пушки и солдаты. Эти новѣйшія крѣпости—наши фабрики! Мы живемъ въ восточной окраинѣ, объ которую безпрерывно ударяютъ волны дикаго востока, но, налетая сюда, эти волны безсильно разбиваются о стѣны нашихъ фабрикъ, о высокія красныя трубы, пышущія огнемъ и дымомъ. А мы-то, господа, и представляемъ собой комендантовъ этихъ новѣйшихъ крѣпостей. Какъ бы тамъ ни было, напоръ со стороны востока все еще существуетъ,—конечно, болѣе слабый, тихій, спокойный, но существуетъ. Намъ поэтому слѣдуетъ быть чуткими, зорко сторожить за каждымъ непріятельскимъ движеніемъ и безъ милосердія душить всякую искру бунта... Это вовсе не захватъ, а только отвоеваніе нашихъ владѣній, и мы ведемъ борьбу не огнемъ и мечомъ, но цивилизаціей, культурой, которая на тысячелѣтіе древнѣе ихъ варварскихъ обычаевъ. Волей-неволей имъ придется сдѣлаться участниками нашей цивилизаціи, но подобно тому какъ комендантъ заботится о дисциплинѣ и единодушіи крѣпостнаго гарнизона, такъ и мы должны неуклонно стремиться къ объединенію этого владѣнія съ нашимъ великимъ отечествомъ. И каждому предначертанію въ этой области должна сопутствовать сильная, соображающаяся съ цѣлью и соотвѣтствующая ей исполнительная

власть. Тутъ не должно быть никакихъ колебаній, послабленій, уступокъ, мы знаемъ только своихъ, вполнѣ преданныхъ намъ, а всѣхъ другихъ сотремъ въ порошокъ. Вотъ въ чемъ наша культурная и народная миссія; кто отъ нея отступаетъ, тотъ измѣнникъ! Да погибнетъ онъ! Мы живемъ здѣсь въ условіяхъ не мира, а войны, всегда и всюду должны помнить объ этомъ и обдумывать тщательно всякое слово. Между тѣмъ ко мнѣ дошли слухи, что на заводѣ «Графъ Бисмаркъ» замѣчаются признаки какой-то порчи. Господа, это славное имя фирмы налагаетъ на васъ обязанности: «желѣзный канцлеръ» не зналъ слова — «уступка». Я провозглашаю тостъ за дружную и властную дѣятельность каждаго изъ насъ и всѣхъ вмѣстѣ».

Нѣкоторую часть воинственнаго пыла, какимъ проникнута эта рѣчь застольнаго оратора, слѣдуетъ, конечно, отнести на счетъ тѣхъ превосходныхъ винъ, которыми угощалъ своихъ гостей богатый фабрикантъ. Но если даже исключить милитарныя прикрасы, если при томъ еще отбросить ту дозу самохвальства, безъ которой нѣмецъ, кажется, и говорить не можетъ, все-таки сущность рѣчи останется довольно грозной и для силезцевъ мало утѣшительной. Хорошо, кабы нѣмецкіе фабриканты, подобно г. Комарову, воевали съ ненавистной имъ народностью только въ застольныхъ рѣчахъ послѣ посильныхъ возліяній въ дружескомъ кругу, когда человѣкъ вообще дѣлается воинственнѣе и рѣшительнѣе въ своихъ приговорахъ; но господа этого сорта, какъ извѣстно, не обладаютъ никакимъ добродушіемъ и на вѣтеръ словъ не бросаютъ. Новакъ очень скоро убѣдился, что очерченная Бергеромъ программа довольно неуклонно осуществляется въ жизни и что нѣмецкія фабрики, дѣйствительно, не чужды своеобразной культурной миссіи.

Провѣряя отчетность завода, Новакъ натолкнулся на интересныя цифры: хотя рабочая плата повысилась, но сумма полученныхъ рабочими на руки денегъ осталась на протяженіи нѣсколькихъ лѣтъ неизмѣнной. Излишекъ, какъ оказалось, ушелъ на штрафы, преслѣдующіе рабочаго на каждомъ шагу. Трудно повѣрить, но это такъ: наибольшая часть

штрафовъ наложена была за то, что рабочіе въ разговорахъ между собой объяснялись на родномъ нарѣчіи. — «Да пусть себѣ хоть по-китайски объясняются», кипятился Новакъ, «лишь бы работу свою добросовѣстно исполняли...». Но всѣ резоны, какіе приводилъ Новакъ, включая даже ссылки на общеобязательную этику, встрѣчали одинъ отвѣтъ со стороны Рейнера и директора завода: тутъ другія условія, на насъ лежитъ цивилизаторская миссія, съ которою мы и должны сообразовать этическіе взгляды. Единственное, чего могъ добиться Новакъ, это то, чтобы штрафы шли въ страховую кассу рабочихъ, а не въ общія прибыли завода.

Видя вокругъ себя столько завзятой вражды противъ силезцевъ, Новакъ рѣшилъ ближе присмотрѣться къ этому народу и узнать, въ чемъ тутъ дѣло. На заводѣ служилъ бухгалтеромъ Вальковякъ — силезецъ, женившійся на нѣмкѣ, которая держала его въ ежевыхъ рукавицахъ и строго-настрого приказала ему считать себя нѣмцемъ съ ногъ до головы. Чрезъ его-то посредство и рѣшилъ Новакъ начать свое знакомство съ нѣмецко-силезскими отношеніями. Вальковякъ, втайнѣ сочувствовавшій силезцамъ, долженъ былъ, однако, подчинять свои личныя симпатіи взглядамъ начальства. Вѣдь малѣйшее колебаніе, при установившемся режимѣ, могло стоить ему службы — при такихъ условіяхъ, конечно, приходилось всякіе душевные порывы держать подъ крѣпкимъ замкомъ. И не диво, что когда даже Новакъ заявилъ Вальковяку о своемъ желаніи побесѣдовать съ нимъ о силезцахъ, осторожный бухгалтеръ высказалъ, что объ этомъ говорить лучше всего съ глазу на глазъ. А когда это свиданіе съ глазу на глазъ состоялось, Вальковякъ облекалъ свои мысли въ столь гибкую форму, сопровождая ихъ столь дипломатичными оговорками, что Новакъ долженъ былъ разстаться съ мыслью узнать истину въ голомъ видѣ.

Приходилось добывать ее самому, собирать по частицамъ. Задавшись этой цѣлью, Новакъ сталъ какъ-бы невзначай посѣщать засѣданія всякихъ благотворительныхъ и просвѣтительныхъ кружковъ, которые, не взирая на бдительное око прусской полиціи, не только существовали, но и проявляли

весьма живую дѣятельность. Кстати сказать, любознательная экскурсія Новака въ глубь силезской массы даетъ поводъ г. Грушецкому нарисовать рядъ интересныхъ сценъ, изображающихъ эти очаги народной самодѣятельности. Какъ и всякія вообще народныя корпораціи, сложившіяся на началахъ взаимопомощи и самообороны, силезскіе кружки крѣпки внутренней связью и носятъ характеръ неподдѣльной жизненности. Распредѣленіе пособій изъ благотворительнаго фонда въ размѣрѣ четырехъ-пяти марокъ даетъ матеріалъ для продолжительныхъ споровъ о степени нужды просителей, такъ какъ эти люди знаютъ цѣну тяжко заработаннаго гроша и не склонны выбрасывать его на вѣтеръ; заявленіе объ изорванномъ кѣмъ-то номерѣ народнаго листка, взятаго изъ читальни, вызываетъ цѣлую бурю въ собраніи, и послѣ ряда негодующихъ рѣчей импровизированныхъ ораторовъ, дѣлается строгое постановленіе, карающее такой вандализмъ. Вообще тутъ нѣтъ ни одного вопроса, къ которому собравшіеся относились бы равнодушно или безучастно, все ихъ интересуетъ, потому что все близко ихъ касается. Во время той же экскурсіи Новакъ знакомится съ нѣкоторой добродѣтельной панной Ядвигой Богатъ, которая, несмотря на высокую имущественную состоятельность, не брезгаетъ простымъ людомъ, учитъ ребятъ, конечно, ихъ родному языку и, желая облегчить силезскихъ кустарей, устраиваетъ якобы комиссіонную продажу ихъ издѣлій, нерѣдко доплачивая изъ своего кармана. Фигура этой панны нѣсколько подкрашена сладенькимъ идеализмомъ и потому не вполнѣ правдоподобна; вѣроятно, создать ее потребовалось автору въ цѣляхъ удобнѣйшаго построенія фабулы.

Важнѣе же всего, что экскурсія дала возможность Новаку узнать нѣкоторые возмутительные порядки, существовавшіе на его заводѣ и касавшіеся уже не національности, а простого человѣческаго достоинства. Въ полуденный перерывъ заводъ наполняла толпа женщинъ, приносившихъ своимъ отцамъ, мужьямъ и братьямъ обѣдъ изъ дому. Чтобы предупредить возможность покражи мелкихъ издѣлій, которыя рабочіе могли тайкомъ переправлять за ограду завода черезъ

приносившихъ пищу, заводская администрація распорядилась ежедневно производить тщательный обыскъ этихъ женщинъ предъ тѣмъ, какъ онѣ съ пустыми судками оставляли заводъ. Нужно ли говорить, какой широкій просторъ открылся тутъ безстыдству заводскихъ надзирателей, которымъ поручено было производить этотъ осмотръ, и какъ жестоко должна была страдать женская стыдливость, а иногда и честь сестеръ и дочерей рабочихъ, принужденныхъ безотвѣтно подчиняться самому разнузданному произволу, основанному на сознаніи своей силы. Положеніе еще обострялось существованіемъ боевыхъ отношеній между нѣмцами и силезцами. Заводскіе надзиратели (какъ мы уже упомянули, этого высокаго положенія удостоивались только нѣмцы) не чувствовали надобности особенно церемониться съ «силезскимъ быдломъ» и стѣснять себя въ проявленіи грубѣйшихъ инстинктовъ, такъ какъ знали, что при всякомъ пререканіи не только заводская, но и обще-гражданская администрація была бы на ихъ сторонѣ и обѣлила бы самую вопіющую ихъ несправедливость. А съ другой стороны—какое сопротивленіе могли оказать женщины, когда имъ было очень хорошо извѣстно (этого не скрывали и ревизоры ихъ), что, въ случаѣ несговорчивости, мужу и отцу грозитъ опасность немедленно быть вышвырнутымъ изъ завода и потерять такимъ образомъ кусокъ хлѣба? Такъ и лились тутъ втихомолку слезы до тѣхъ поръ, пока Новакъ не сталъ случайнымъ свидѣтелемъ грубѣйшаго издѣвательства, которое позволилъ себѣ заводскій надзиратель надъ приглянувшейся ему дочерью рабочаго. Нелѣпая постановка обыска, конечно, была упразднена, хотя даже въ этомъ вопіющемъ случаѣ администрація настаивала, что слѣдовало бы окончить дѣло изгнаніемъ рабочаго изъ завода.

Экстравагантное поведеніе Новака, вздумавшаго искать сближенія со всѣми презираемымъ силезскимъ простонародьемъ, вызвало, само собою разумѣется, общее осужденіе въ кругу фабрикантовъ. Сперва Рейнеръ пытался защищать Новака передъ пріятелями, оправдывая его дѣйствія юношеской неопытностью, увлеченіемъ и тому подобными избитыми мо-

тивами, которыхъ сколько угодно имѣется у всѣхъ наготовѣ въ подходящихъ случаяхъ. Но скоро и Рейнеръ встревожился, ему стала казаться подозрительной эта участливость его молодого компаніона къ меньшой братіи, превосходившая обыкновенное барское баловство. Были пущены въ ходъ сначала дружескія увѣщанія, чтобы возвратить его на путь истины, т. е. къ спокойной эксплоататорской прижимкѣ подневольнаго пролетаріата, потомъ испробованы были злыя шуточки и ежеминутные уколы самолюбію, а когда все это не помогло, Рейнеръ перешелъ къ самому серіозному тону, выставляя Новаку всѣ опасности и неблагопріятныя послѣдствія его поведенія.

Но было уже поздно. Пробуждалось ли въ Новакѣ глубоко запрятанное чувство кровной связи съ единоплеменниками, или же его, какъ европейски воспитаннаго человѣка, возмущало это грубое варварство, которое разжирѣвшіе нѣмцы прикрывали флеромъ цивилизаторскихъ намѣреній, во всякомъ случаѣ онъ все рѣшительнѣе становился на сторону «побѣжденныхъ». Не помогли тутъ и чары прекрасной Эльзы, дочери Рейнера, которую окрестная молва нарекла будущей женой Новака и къ которой молодой негоціантъ чувствовалъ нешуточное влеченіе. Это было одно изъ серіознѣйшихъ препятствій для Новака къ открытому разрыву съ сплоченной средой нѣмецкихъ фабрикантовъ и, чтобы помочь своему герою совладать съ этимъ препятствіемъ, г. Грушецкому пришлось втиснуть въ свою повѣсть вставочный эпизодъ о путешествіи Новака въ Ченстоховъ на зовъ своего умирающаго отца—эпизодъ, очень слабо связанный съ главной нитью повѣсти, но значительно удлиннившій ее. Мы опустимъ этотъ эпизодъ и возьмемъ лишь заключительную сцену повѣсти, дополняющую картину описываемой борьбы.

Предстоящій выборъ посла въ парламентъ до послѣдней степени натянулъ струну взаимныхъ отношеній нѣмцевъ и силезцевъ. Центральный выборный комитетъ округа разослалъ циркуляръ, въ которомъ ставилъ кандидатуру какого-то барона, при чемъ просилъ единомышленниковъ о содѣйствіи въ виду того, что «по округу снуютъ силезскіе агитаторы

которые мутятъ народъ и рабочихъ и склоняютъ ихъ къ выбору силезца, каковой выборъ былъ бы для насъ стыдомъ и позоромъ». Комитетъ былъ правъ: въ совѣщаніи, устроенномъ у себя Рейнеромъ, со всѣхъ сторонъ слышались вѣсти о какомъ-то подозрительномъ движеніи среди силезцевъ, и присутствовавшій здѣсь правительственный комиссаръ поручилъ хозяевамъ фабрикъ строго слѣдить за своими рабочими, обѣщая, въ свою очередь, неослабно наблюдать за хлопствомъ, сидящимъ на землѣ. Для подавленія же этой агитаціи и обезпеченія нѣмецкому кандидату большинства, собравшіеся постановили слѣдующее рѣшеніе: объявить на фабрикахъ, что кто не будетъ вотировать за предложеннаго нѣмцами кандидата или воздержится отъ голосованія, тотъ теряетъ мѣсто, при чемъ держаться еще такого уговора, что потерявшій по такой причинѣ мѣсто рабочій не долженъ быть принимаемъ ни въ одно изъ сосѣднихъ промышленныхъ заведеній. Во время обѣда, заключившаго это совѣщаніе, когда сердца присутствовавшихъ нѣсколько взыграли, кѣмъ-то была высказана игривая мысль: а хорошо было бы вывѣдать, откуда идетъ эта пропаганда среди силезцевъ, кто ея вдохновитель, гдѣ ея главная нить. Мысль эта пришлась собранію по сердцу, и всѣ общимъ хоромъ начали упрашивать Новака—какая иронія!—принять на себя роль шпіона среди силезцевъ и вывѣдать отъ нихъ всю подноготную касательно предвыборной агитаціи, воспользовавшись своимъ силезскимъ происхожденіемъ. Новакъ, конечно, отвѣтилъ, что даже это предложеніе онъ считаетъ оскорбленіемъ себѣ, при чемъ заявилъ, что и отъ голосованія онъ намѣренъ воздержаться, такъ какъ не желаетъ участвовать въ этой комедіи парламентаризма.

Окончательный разрывъ Новака съ нѣмецкой партіей произошелъ во время избирательнаго митинга, состоявшагося на ближайшей полянѣ въ присутствіи правительственнаго комиссара. Кромѣ толпы силезцевъ, тутъ присутствовали и главари нѣмецкой партіи вмѣстѣ съ приходскимъ патеромъ, а также депутатъ силезскаго кандидата. Атмосфера была достаточно раскалена, одна за другой произносились самыя

зажигательныя рѣчи. Первымъ говорилъ адептъ силезскаго кандидата, распинавшійся за него и рекомендовавшій силезцамъ вотировать за своего единоплеменника. «Развѣ чужакъ, въ родѣ выставляемаго нѣмецкой партіей барона, пойметъ насъ?—говорилъ ораторъ. Развѣ онъ терпѣлъ съ нами? Что для него наши читальни, наши общества, преслѣдованія насъ нѣмцами? Только братское сердце можетъ восчувствовать это и отнести наши слезы на судъ парламента». Вторымъ выступилъ патеръ и сладенькимъ голосомъ предостерегалъ своихъ добрыхъ овецъ отъ этого волка, который искушаетъ ихъ и рисуетъ ихъ глазамъ привлекательную перспективу, на самомъ дѣлѣ недостижимую, такъ какъ каждый человѣкъ непремѣнно долженъ нести въ своей жизни не тотъ, такъ другой крестъ. За нимъ отъ имени нѣмецкой партіи выступилъ Рейнеръ, исчислившій всѣ благодѣянія, какія принесла силезцамъ нѣмецкая культура. «Тутъ былъ дикій край, безъ фабрикъ, машинъ, желѣзныхъ дорогъ. Вы обитали въ избахъ, крытыхъ соломой, питались чѣмъ попало, лишь бы поддержать свое существованіе. И вотъ мы пришли сюда. Оглянитесь же теперь—всюду торговля, промыслы, желѣзныя дороги, школы, богатые города, хорошо обстроенныя села—все это нашимъ трудомъ сдѣлано. И вы теперь опять хотите впасть въ варварство, темноту, нужду? Хотите избрать своего кандидата на посмѣшище всѣму свѣту? Этого мы вамъ не позволимъ—мы, нѣмцы, и тѣ изъ вашихъ, которые взялись за разумъ. Вспомните, былъ ли хоть одинъ, кто бы, воспитавшись въ нашихъ школахъ, познакомившись съ нашей цивилизаціей, возвратился потомъ къ вамъ, защищалъ бы вашъ языкъ, ваши права, о которыхъ вы разсуждаете? Укажите мнѣ хотя бы одного, и я тогда даже буду совѣтовать вамъ, чтобы вы вотировали за своего кандидата. Что, вы молчите?.. Да, потому что у васъ такихъ нѣтъ, потому что каждый интеллигентъ примыкаетъ къ намъ, долженъ примкнуть».

Глухое, тоскливое молчаніе воцарилось въ толпѣ силезцевъ послѣ этого гордаго вызова. Тяжелымъ камнемъ легла имъ на сердце мысль, что затѣвать борьбу съ этимъ тѣсно

сплотившимся міркомъ, на сторонѣ котораго и власть и деньги, имъ не подъ силу, такъ какъ каждый изъ фабрикантовъ однимъ словомъ можетъ лишить огня и воды. Отъ этого мрачнаго раздумья разбудилъ ихъ чей-то молодой голосъ — «прошу слова». То былъ Новакъ, принявшій вызовъ своего компаньона. «Рейнеръ сказалъ вамъ», говорилъ Новакъ, «что онъ самъ посовѣтуетъ вотировать за силезца, если вы ему укажете такого, который былъ въ нѣмецкихъ школахъ, познакомился съ нѣмецкой цивилизаціей, обладаетъ достаткомъ, и въ то же время возвратился бы къ вамъ, призналъ себя силезцемъ... Такъ вотъ я, Карлъ Новакъ, былъ въ нѣмецкихъ школахъ, окончилъ политехникумъ и опять возвращаюсь къ вамъ, чтобы вмѣстѣ съ вами работать, «любить вашъ языкъ, защищать ваши права, не давать васъ въ обиду, класть преграды эксплоатаціи, насиліямъ, попранію вашихъ чувствъ и пренебреженію вами, какъ народомъ вырождающимся, обреченнымъ на гибель».

Неожиданная выходка Новака вызвала бурные восторги въ средѣ силезцевъ и, конечно, самую неистовую злобу въ средѣ нѣмецкой партіи. Наступилъ, наконецъ, долго ожидаемый день выборовъ: побѣда склонилась на сторону нѣмецкой партіи; баронъ восторжествовалъ. Для Рейнера блеснула надежда, что Новакъ образумится теперь, но когда прелестная Эльза, пустивъ въ ходъ всю магическую силу своихъ глазъ, спросила его: «вы, конечно, съ нами?» придавая этому вопросу аллегорическое значеніе, Новакъ, не колеблясь, отвѣтилъ: «Нѣтъ, я останусь съ побѣжденными!»

Этимъ эффектнымъ восклицаніемъ и заканчивается повѣсть г. Грушецкаго, но, конечно, далеко не разрѣшается вопросъ объ исходѣ силезко-нѣмецкой борьбы, Выйдетъ ли какой-нибудь толкъ изъ того, что Новакъ имѣлъ смѣлость заявить свою солидарность съ народомъ, къ которому онъ принадлежитъ по рожденію? Одна ласточка весны не дѣлаетъ, и поступокъ Новака служитъ залогомъ только лишь того, что рабочимъ на его заводѣ будетъ болѣе сносно жить, чѣмъ на фабрикахъ, находящихся въ нѣмецкихъ рукахъ. Можно ставить вопросъ шире, если толковать намѣренія беллетриста

въ томъ смыслѣ, что онъ хотѣлъ обозначить нарожденіе силезской интеллигенціи, которая станетъ въ первыхъ рядахъ своего народа и, хорошо вооруженная умственно, будетъ защищать его самобытность. Никто не будетъ отрицать, что въ вопросѣ національнаго возрожденія присутствіе интеллигентныхъ силъ имѣетъ первостепенное значеніе. Однако, тутъ приходится считаться и съ другимъ факторомъ, экономическимъ, который становится все болѣе грознымъ и съ каждымъ десятилѣтіемъ приближается къ тому, чтобы пріобрѣсти въ судьбахъ человѣчества рѣшающее значеніе. Въ этомъ отношеніи всѣ шансы на сторонѣ нѣмцевъ, богатыхъ не только духовно, но и матеріально, ряды же силезскаго пролетаріата остаются открытыми со всѣхъ сторонъ для самаго гибельнаго огня—не только ружейнаго, поражающаго единицы, но и пушечнаго, валящими цѣлыми кучами. Г. Грушецкій не скрываетъ въ своей повѣсти, что нѣмцы настроены весьма воинственно и намѣрены вести этотъ убійственный огонь изъ-за своихъ хорошо защищенныхъ укрѣпленій до тѣхъ поръ, пока не заставятъ сдаться безпорядочную толпу, только защищающуюся, но лишенную средствъ нападенія. При такихъ условіяхъ предвѣщать для силезцевъ благополучный исходъ борьбы весьма трудно, и повѣсть г. Грушецкаго, быть можетъ, даже вопреки намѣреніямъ беллетриста, оставляетъ у читателя какъ бы отзвукъ клича: «vae victis!»

Александръ Свентоховскій.

«Въ искусно устроенномъ воздушномъ шарѣ, надъ которымъ работалъ острый и всесторонне образованный умъ, мы поднимаемся высоко, высоко надъ землей. Теряя непосредственную связь съ почвой, на которой обитаютъ наши братья, мы видимъ только очертанія нашихъ ближнихъ, съ каждымъ моментомъ уменьшающіяся, все болѣе расплывающіяся, потомъ остаемся только при абстрактныхъ о нихъ понятіяхъ. Мало-по-малу насъ окружаетъ иная атмосфера, болѣе чистая, чѣмъ наша земная, прозрачная, ничѣмъ не отравленная, преисполненная тиши, среди которой мы слышимъ біеніе нашихъ сердецъ, бесѣду тайныхъ нашихъ мыслей, шумъ какъ бы крыльевъ вѣчности. Но атмосфера эта дѣлается все болѣе холодной, безвѣтренной, все наше бытіе становится утонченнымъ, какъ та лодочка, въ которой мы плаваемъ... Такимъ путешествіемъ на воздушномъ шарѣ представляется творчество Свентоховскаго. Оно не можетъ быть названо крыльями человѣчества, органически сросшимися съ нимъ даже во время полета, а является совершенно оторваннымъ отъ него органомъ. Ему недостаетъ общей пульсаціи крови. Онъ не рыщетъ по землѣ, но и не удаляется отъ нея: Свентоховскій не имѣетъ въ себѣ ничего общаго съ спиритуалистами, не только какъ философъ, но и какъ поэтъ: онъ отвергаетъ весь тотъ міръ сверхъестественныхъ образовъ, въ лицѣ которыхъ неоднократно символизируютъ

свои идеи Шекспиръ Гёте, Байронъ; будучи позитивистомъ, онъ исключилъ изъ сферы творчества величайшіе вопросы бытія, безконечности, безсмертія, начала и цѣли, — всякую, словомъ, метафизику. Все, что̀ выше міра, для него не существуетъ; онъ всей душой всегда тяготѣетъ къ землѣ, ея интересамъ, усиліямъ и стремленіямъ, но глядитъ на нее изъ своей лодочки, поднявшейся такъ высоко, что онъ едва улавливаетъ формы, похожія одна на другую, затѣмъ линіи; затѣмъ тѣни, и чаще всего дѣлится своими идеями только съ собой. Неуютно въ этой его атмосферѣ, холодно, и золотыя звѣзды являются здѣсь единственными спутниками».

«Во всякомъ случаѣ, недюжиной смѣлостью и высшимъ полетомъ духа обладаетъ тотъ, кто могучимъ порывомъ и силой искусства достигаетъ такихъ высотъ; ему тѣсно, грязно, неспокойно на этой низменной землѣ, но чѣмъ дальше онъ удаляется отъ нея, тѣмъ больше она умаляется въ его глазахъ, а онъ паритъ одинокій, великій»...

Ну, сейчасъ ужъ и «великій»! Мы не думаемъ, чтобы г. Фельдманъ, которому принадлежитъ только-что приведенная нами вычурная характеристика Свентоховскаго, хотѣлъ сравнить этого писателя съ обыкновенными газетными чернорабочими, въ толпѣ которыхъ Свентоховскій, конечно, представляется великаномъ. Если же поставить его въ ряду перворазрядныхъ польскихъ художниковъ (о міровомъ значеніи таланта Свентоховскаго, конечно, смѣшно было бы и говорить), то ни о какомъ величіи не можетъ быть и рѣчи. Но достаточно и того, что Свентоховскій, какъ беллетристъ и драматургъ, — талантъ вполнѣ оригинальный, самобытный, носящій при томъ чрезвычайно своеобразную окраску. Послѣднее относится и къ выбору темъ, и къ характеру письма. Возьмись писатель съ посредственнымъ образованіемъ за тѣ темы, которыя доминируютъ у Свентоховскаго, заговори онъ похожимъ языкомъ—и нельзя ручаться, что не выйдетъ что-нибудь дикое, даже смѣхотворное. Широкое, блестящее образованіе позволяетъ Свентоховскому съ полной свободой трактовать весьма сложные психологическіе или общественные сюжеты, а въ искусствѣ фехтованія остроумными афориз-

мами и въ игрѣ софизмами онъ, пожалуй, не знаетъ себѣ равнаго въ средѣ современныхъ польскихъ писателей. Въ писательской натурѣ Свентоховскаго сильнѣе всего сказывается публицистъ. За время своей почти тридцатипятилѣтней литературной дѣятельности онъ больше всего тяготѣлъ къ публицистикѣ и въ области ея имѣетъ наибольшія заслуги. Даже беллетристической и драматической формой онъ пользуется чаще всего для освѣщенія какого-нибудь общественнаго, рѣже психологическаго, вопроса.

Свентоховскій родился въ 1849 году въ Сточкѣ (въ Подляшьѣ), гимназическій курсъ проходилъ въ Сѣдлецѣ и Люблинѣ и затѣмъ въ 1866 г. поступилъ въ Варшавскую Главную школу по филологическому отдѣленію, гдѣ получилъ дипломъ въ 1870 г. Въ исторіи польской общественности Главная школа сыграла почти такую же роль, какъ у насъ— Московскій университетъ старыхъ временъ. Молодежь, вышедшая изъ Главной школы, высоко поднимала знамя прогресса и вела проповѣдь передовыхъ общественныхъ идеаловъ. Въ описываемое время молодыя литературныя силы группировались преимущественно возлѣ еженедѣльника «Przegląd tygodniowy», къ редакціи котораго и примкнулъ Свентоховскій по окончаніи университета (въ 70-хъ годахъ школа была преобразована въ университетъ). «Przegląd» велъ борьбу съ старыми литературными направленіями, вооружаясь противъ неумѣренныхъ похвалъ, какими традиціонная критика награждала Поля, Крашевскаго, Захарьясевича, и указывая скромное мѣсто для этихъ третьестепенныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Полемика всегда была особенно по душѣ Свентоховскому, и онъ бросился въ словесную борьбу со всѣмъ пыломъ молодого воодушевленія, придалъ ей много огня и привлекъ общественное вниманіе. Дебютировалъ Свентоховскій небольшой критической статьей, въ которой разбиралъ поэму Плуга «Przyjaciele»—писателя усерднаго, но лишеннаго какой бы то ни было искры таланта. Уже въ этой первой статьѣ Свентоховскій, съ похвальною для новичка смѣлостью и зрѣлостью мысли, открыто и гордо заявилъ свои убѣжденія. «Не знаю, кого какъ, но меня ничто такъ не

смущаетъ въ нашей новѣйшей письменности, какъ эта мертвость мысли, отвращеніе ко всякому шагу впередъ, эта слезливая восторженность по отношенію къ минувшему, безсмысленное опоэтизированіе нашихъ грѣховъ, эта преднамѣренная чувствительность, это, наконецъ, пережевыванье и перекрашиваніе въ разные цвѣта старыхъ трюизмовъ» [1]).

Почти сразу же послѣ вступленія въ редакцію «Przegląd'a Свентоховскій занялъ въ немъ первенствующее положеніе. Удѣляя наибольшее вниманіе литературной критикѣ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ не перестаетъ выдвигать для печатнаго обсужденія разные общественные вопросы, которыхъ до того времени публицистика какъ-то не рѣшалась касаться. Такъ, едва ли не первымъ Свентоховскій заговорилъ о высшемъ образованіи для женщинъ, поставилъ вопросъ о семьѣ и бракѣ, о вредѣ узкаго націонализма и т. д. Въ то же время, не нокладая оружія, онъ велъ ожесточенную борьбу съ варшавской прессой, воюя противъ ея слѣпого консерватизма. «Przegląd» для этой цѣли завелъ у себя даже спеціальный отдѣлъ «Echa warszawskie», откуда летѣлъ густой дождь самыхъ ядовитыхъ стрѣлъ, заставляя журналистовъ старой фракціи безпокойно шевелиться на своихъ насиженныхъ мѣстахъ. Нужно замѣтить, что силы здѣсь были слишкомъ неравны. Польша долгое время была лишена высшаго учебнаго заведенія, поѣздка же въ заграничные университеты не многимъ была по средствамъ. Поэтому въ варшавской старой прессѣ работали люди, не имѣвшіе систематическаго научнаго образованія, обязанные своими знаніями торопливому и поверхностному чтенію. Этимъ журналистамъ трудно было мѣряться силами съ молодежью, только-что прошедшею университетскій курсъ и располагающею готовою картечью свѣжихъ фактовъ и выводовъ научныхъ, которою наносились чувствительные удары противникамъ. Пересматривая теперь эту полемику, приходится удивляться, на какомъ дѣйствительно

---

[1]) «Stara i młoda prasa». 1897 г. Въ этой любопытной книжкѣ безымяннаго автора (по его словамъ — стараго журналиста) подробно описана группировка варшавской прессы въ концѣ 60-хъ и началѣ 70-хъ годовъ и обрисованы фигуры тогдашнихъ ея представителей.

невысокомъ уровнѣ понятій стояла тогдашняя варшавская пресса, и какія азбучныя истины приходилось провозглашать питомцамъ Главной школы.

Въ исторіи варшавской прессы надолго останется памятной статья Свентоховскаго: «Мы и вы», которую польская критика считаетъ самымъ замѣчательнымъ моментомъ борьбы старой и молодой прессы. Статью эту называютъ манифестомъ молодой партіи журналистовъ; на самомъ дѣлѣ она оставляетъ впечатлѣніе ликвидаціи личныхъ счетовъ и очень непріятно поражаетъ своимъ тономъ мелкаго самохвальства. Мы, — говоритъ публицистъ, — молоды, немногочислены, не задаемся цѣлями матеріальной выгоды, не связаны обязанностью угодничества въ силу тѣхъ или другихъ отношеній, или знакомствъ, открыто заявляемъ свои убѣжденія, не боимся суда и контроля, желаемъ распространить ихъ на всѣхъ, стремимся къ расширенію труда и науки въ обществѣ, желаемъ привлечь къ работѣ новыя силы, использовать старыя, смотримъ впередъ, а не оглядываемся назадъ. Вы же — старые, многочисленные, связанные между собою тысячью невидимыхъ нитей, робко таитесь со своими мнѣніями, желаете видѣть въ литературѣ покой, неподвижность, приказываете всѣмъ глядѣть въ прошлое, почитать даже его ошибки, желаете, чтобы васъ, какъ римскихъ сенаторовъ, всегда было одно и то же число, чтобы никто не смѣлъ высказать о васъ сужденія, чтобы никто ни къ чему не стремился,—вотъ что вы считаете своей заслугой». Это еще цвѣточки, а вотъ ягодки: «Вы всѣ, которымъ въ качествѣ оборонительнаго оружія на защиту вашихъ мнѣній остались только сѣдина и морщины, должны помнить, что и для солнца есть полуденная пора. Неужели вы хотите продлить свой закатъ для того, чтобы восходъ наступилъ какъ можно позднѣе? Неужели вы станете претендовать на то, будто мы несправедливо осуждаемъ васъ? Развѣ вы признали въ насъ людей, которые желаютъ и способны работать рядомъ съ вами? Неужели вы думаете, что только вы заарендовали право чести, любовь къ добру, чувство красоты? Сохраняя за собой свободу мнѣнія, вы намъ отказываете въ правѣ голоса... Мы видимъ,

что силы оставили васъ; вы истасканы отъ годовъ труда, взоръ вашъ притупился и не можетъ обнять новыхъ перспективъ, умъ утратилъ сознаніе новыхъ потребностей, лѣнивая мысль, лишенная жизни, вращается только въ кругу устарѣвшихъ цѣлей, а новыхъ постигнуть не въ силахъ. Вамъ остается уйти съ дороги, такъ какъ вы ее лишь напрасно загромождаете» и т. д. въ томъ же родѣ.

Приведенная статья повлекала полный разрывъ между двумя литературными лагерями, а ея автору присвоенъ былъ почетный титулъ гетмана партіи, противниковъ которой онъ хлесталъ съ такой безпощадностью. Право на такой титулъ теперь начинаютъ оспаривать у Свентоховскаго. Такъ, авторъ мемуаровъ «Stara i mloda prasa», отрицая у Свентоховскаго организаторскій талантъ, необходимый для гетмана, заявляетъ, что онъ могъ только ломать, а не вновь создавать, что онъ готовъ былъ все растоптать и оплевать, лишь бы на своемъ поставить; что онъ не создалъ никакой общественной программы и занимался только мелкими литературными дрязгами. Въ числѣ обвиненій, которыя мы находимъ въ названной книжкѣ, есть еще одно очень характерное, которое помогаетъ найти, гдѣ зарыта собака. Свентоховскій, молъ, «не имѣлъ горячей любви къ тому пню, на которомъ онъ выросъ». Это, дѣйствительно, чистая правда: Свентоховскій не только самъ никогда не грѣшилъ сладенькимъ идеализмомъ по отношенію «къ родному пню», но всегда строго осуждалъ этотъ идеализмъ и въ другихъ, проявляя въ полемикѣ по данному случаю, какъ и всегда, свой рѣзкій, холодный сарказмъ. Это и объясняетъ намъ, почему польская критика, относясь въ общемъ съ почтительностью къ публицистической дѣятельности Свентоховскаго, не проявляетъ той восторженной «теплоты чувствъ», съ какою воздается поклоненіе патріотическимъ сладкопѣвцамъ. Сказать, чтобы Свентоховскій ставилъ себя совершенно въ сторонѣ отъ всѣхъ національныхъ вопросовъ, нельзя, но онъ трактовалъ эти вопросы съ такой отвлеченной высоты, что его близорукимъ читателямъ казалось, будто онъ намѣренно отстраняетъ отъ себя эти вопросы, какъ не заслуживающіе

серіознаго вниманія. Само собою разумѣется, что когда на него налеталъ густой «дымъ отечества» въ видѣ трескучихъ патріотическихъ самовосхваленій, Свентоховскій только брезгливо морщился. Идеалъ польской общественности этотъ публицистъ видѣлъ не въ идиллическихъ красотахъ невозвратнаго прошлаго, а въ свободномъ развитіи всѣхъ сторонъ народнаго духа по пути прогресса и обще-европейской цивилизаціи. Тотъ упрекъ, будто бы Свентоховскій не выработалъ никакой общественной программы, совершенно неоснователенъ. Въ польской публицистикѣ онъ былъ однимъ изъ рѣдкихъ представителей западничества, и этого ему не могли простить его близорукіе собратья. Быть можетъ, въ данномъ случаѣ не безъ вліянія осталось отношеніе Свентоховскаго къ вопросамъ вѣроисповѣднымъ: онъ не только не былъ «добрымъ католикомъ», что̀ вмѣняется каждому поляку въ строгую обязанность, но самымъ безпощаднымъ образомъ высмѣивалъ религіозный фанатизмъ и узкую нетерпимость католическаго духовенства и его сторонниковъ. Вообще отъ всѣхъ статей Свентоховскаго по вопросамъ національнымъ и вѣроисповѣднымъ вѣетъ холодомъ, потому что имъ руководилъ только умъ, а порывамъ сердца онъ воли не давалъ.

Въ 1874 г. Свентоховскій поступилъ въ Лейпцигскій университетъ, гдѣ въ 1876 г. получилъ докторскую степень за сочиненіе: «Ein Versuch die Entstehung der Moralgesetze zu erklären». Въ 1878 г., разставшись съ «Przegląd'омъ», Свентоховскій основалъ собственную газету «Nowiny», гдѣ велъ постоянный фельетонъ подъ заглавіемъ: «Письма изъ Парагвая». Наконецъ, съ 1881 г. онъ началъ издавать еженедѣльникъ «Prawda», въ которомъ велъ фельетонъ подъ заглавіемъ: «Liberum veto».

Нападки на публицистическую дѣятельность Свентоховскаго встрѣчаются только въ томъ случаѣ, когда рѣчь идетъ о системѣ его воззрѣній. Что̀ же касается собственно литературной стороны его статей и фельетоновъ, то всѣ одинаково превозносятъ его блестящій языкъ и замѣчательную полемическую ловкость. Даже тѣ, которые никакъ не хотятъ признать въ немъ первой скрипки въ журнальномъ оркестрѣ,

не могутъ не согласиться, что, безспорно, онъ былъ первой саблей въ своемъ войскѣ. Вступать въ единоборство съ Свентоховскимъ всегда было рискованно, и противникамъ приходилось оставлять поле сраженія съ значительными поврежденіями. Діалектическимъ искусствомъ Свентоховскій владѣетъ въ совершенствѣ, а его холодное остроуміе жжетъ хуже всякаго огня. При оцѣнкѣ публицистической дѣятельности Свентоховскаго какъ-то упускается изъ виду та его заслуга, что онъ, будучи всегда въ курсѣ новѣйшихъ научныхъ завоеваній, старался развить въ польскомъ обществѣ (довольно беззаботномъ на этотъ счетъ) вкусъ къ наукѣ, возбудить интересъ къ ея успѣхамъ, торопился знакомить съ ея новѣйшими выводами (между прочимъ, онъ перевелъ на польскій языкъ «Очерки Англіи» Тэна и «Исторію философіи» Ланге). Съ мнѣніями Свентоховскаго могутъ не соглашаться, но съ ними всегда принуждены считаться: голосъ его, какъ самаго просвѣщеннаго среди варшавскихъ журналистовъ, звучитъ всегда такъ внушительно, что къ нему невольно прислушиваются всѣ. За время своей продолжительной журнальной дѣятельности Свентоховскому пришлось исписать горы бумаги [1]), но даже врагамъ его не пришлось разыскать, чтобы онъ гдѣ нибудь сказалъ пошлость или нелѣпость.

Первыя беллетристическія пробы Свентоховскаго появились въ приложеніи къ газетѣ «Nowiny», а въ 1879 г. вышли отдѣльной книжкой подъ заглавіемъ «O życie». Три помѣщенныя въ этой книжкѣ новеллы («Демьянъ Цапенко», «Хава Рубинъ» и «Карлъ Кругъ») тогда же перевелъ на русскій языкъ и хвалебно комментировалъ г. Сементковскій (въ сборникѣ «Польская библіотека»). Кстати сказать, это была первая и едва ли не единственная попытка познакомить русскую публику съ этимъ, заслуживающимъ полнаго нашего вниманія, писателемъ. Эти три разсказа представ-

---

[1]) Сухой перечень заглавій его статей, помѣщенный въ юбилейномъ сборникѣ «Prawda», которымъ польскіе литераторы почтили Свентоховскаго, по случаю исполнившагося въ 1895 г. 25-лѣтія его писательской дѣятельности, занимаетъ 10 печатныхъ листовъ мельчайшаго петита.

ляютъ, въ сущности, беллетристическій комментарій на публицистическую тему, на что вскользь указывалъ и г. Сементковскій. Одно время варшавская журналистика забила тревогу, что въ Польшѣ замѣчается наплывъ чужеземцевъ, которые-де отбиваютъ хлѣбъ у коренныхъ жителей, понижаютъ плату за трудъ, вообще раскрываютъ ротъ на тотъ кормъ, который долженъ наполнять единственно польскій желудокъ. Тутъ разумѣлись, главнымъ образомъ, евреи, которымъ и въ самомъ дѣлѣ нигдѣ, кажется, такъ хорошо не живется, какъ въ Польшѣ, и прусскіе чернорабочіе, одно время, дѣйствительно, предпринявшіе Drang nach Osten и замелькавшіе въ Польшѣ. Противъ этихъ-то жалобъ и выступилъ со своими разсказами Свентоховскій, старающійся нарисовать обратную сторону медали. Какова судьба этихъ пришельцевъ на польской землѣ? А вотъ какова. Демьянъ Цапенко — «изъ Лубы, Каменецъ-Подольскаго уѣзда, Подольской губерніи, пограничной стражи, завихотской бригады, третьей роты, перваго отдѣла ефрейторъ», какъ онъ самъ о себѣ рапортуетъ, падаетъ подъ выстрѣломъ контрабандиста, который мстилъ ему за его вѣрность долгу и служебную ревность. «Бѣдный Цапенко, я прощаю тебѣ, что ты хотѣлъ быть моимъ братомъ и работать вмѣстѣ съ нами» — напутствуетъ этого горемыку Свентоховскій. Далѣе, Хаву Рубинъ, несчастнѣйшую еврейку, торгующую съ основнымъ капиталомъ въ три рубля, убиваетъ изъ мести Франекъ, вмѣсто котораго почтовый чиновникъ сталъ поручать ей разносить корреспонденцію по домамъ обывателей. «Бѣдная Хава», восклицаетъ въ заключеніе своего разсказа беллетристъ, «я прощаю тебѣ, что ты хотѣла трудиться съ нами и нашимъ хлѣбомъ кормить своихъ дѣтей». Наконецъ, Карлъ Кругъ, онѣмечившійся силезецъ, пришедшій служить въ Варшаву каменьщикомъ, становится жертвой злобы рабочаго Цапли, по милости котораго онъ сваливается съ третьяго этажа на мостовую и убивается на смерть. «Бѣдный Кругъ», заявляетъ опять беллетристъ, «я прощаю тебѣ, что ты хотѣлъ работать у насъ и быть нашимъ братомъ». Такимъ образомъ Свентоховскій, въ отвѣтъ на жалобы журналистовъ, выдви-

гаетъ принципъ всеобщаго братства народовъ, а своей заключительной фразой, очевидно, иронизируетъ надъ отношеніемъ польскаго общества къ чужеземцамъ, по отношенію къ которымъ оно не прочь высказать даже соболѣзнованіе, если имъ пришлось попасть подъ колесо. Среди другихъ разсказовъ Свентоховскаго эти три отличаются тою особенностью, что въ нихъ фундаментомъ послужилъ бытовой матеріалъ: жизнь героевъ изображена со всѣми мелочами домашней обстановки, семейныхъ и сосѣдскихъ отношеній и т. д., что впослѣдствіи Свентоховскій совершенно пересталъ дѣлать. Оцѣнивая ихъ съ художественной стороны, г. Сементковскій надѣляетъ ихъ всевозможными достоинствами: «Герои этихъ очерковъ выхвачены изъ жизни и при томъ съ такимъ талантомъ, что они, какъ живые, стоятъ передъ вами... Тонкая наблюдательность, прекрасное изложеніе, сценки, полныя юмора и добродушія, вѣрный психологическій анализъ,— все это дѣлаетъ изъ очерковъ г. Свентоховскаго настоящіе перлы». Не раздѣляя восторговъ г. Сементковскаго, мы все-таки должны признать, что этими разсказами Свентоховскій доказалъ свое полное умѣніе владѣть беллетристической формой изложенія. По тону и колориту они близко напоминаютъ разсказы Болеслава Пруса: тотъ же утонченный, обнаруживающій рисовку, складъ рѣчи, образовавшійся, нужно полагать, отъ фельетоннаго навыка, та же непрерывная струйка юмора—не совсѣмъ добродушнаго, вопреки увѣренію г. Сементковскаго, та же намѣренная недосказанность и игра намеками и недомолвками.

Въ болѣе оригинальной оправѣ выступаетъ талантъ Свентоховскаго въ серіи разсказовъ, имѣющихъ общее заглавіе: «Трагикомедія правды» и въ полу-фантастическихъ «Сказкахъ» (Bajki). Здѣсь Свентоховскій отступаетъ отъ общепринятаго шаблона конструкціи разсказа, желая, очевидно, расчистить поболѣе простора для освѣщенія намѣченной идеи. Всѣ мелко-житейскіе аксессуары здѣсь отсутствуютъ, и беллетристъ сосредоточиваетъ вниманіе исключительно на изслѣдованіи тѣхъ мельчайшихъ извилинъ человѣческаго духа, гдѣ прячутся затаенныя мысли и побужденія, съ которыми

человѣчество стыдится показаться на бѣлый свѣтъ. Указанная группа разсказовъ объединяется одной общей идеей. Они посвящены разоблаченію той лживой условности, которою опутало себя человѣчество, желая казаться чище и благороднѣе, чѣмъ оно есть на самомъ дѣлѣ. Свентоховскій дышитъ какимъ-то страстнымъ, почти аскетическимъ порывомъ къ голой, неприкрашенной правдѣ и какъ бы наслаждается своимъ издѣвательствомъ надъ пошлыми усиліями человѣчества задернуть эту жестокую правду жалкой бутафорской подѣлкой изъ выдуманной правды. Сознательно или безсознательно кривя душой, каждый торопится заявить о своей преданности правдѣ и брезгливо поморщится при одномъ упоминаніи о лжи. Писатель не только возмущается тѣмъ, что въ большинствѣ случаевъ этимъ увѣреніямъ—грошъ цѣна, и что каждый съ совершенно легкимъ сердцемъ предпочтетъ идти кривымъ путемъ, чтобы тайкомъ отъ чужого глаза достигнуть той или другой нечистой цѣли. Главная же сила его удара направлена на легкомысліе, съ которымъ всѣ, толкуя о правдѣ и лжи, даже не различаютъ точно границъ той и другой; вся кровь кипитъ въ немъ при видѣ лицемѣрія, которымъ переплетены сплошь отношенія человѣчества къ правдѣ и лжи. Своими разсказами Свентоховскій какъ бы хочетъ сказать: правда такъ тяжела для вашихъ тщедушныхъ плечъ, такъ ярка для вашихъ больныхъ глазъ, такъ чиста и прекрасна по сравненію съ вашимъ извращеннымъ вкусомъ, что вы не въ силахъ даже глядѣть на нее прямо; такъ лгите ужъ, по крайней мѣрѣ, добросовѣстно, усердно, смѣло, но такъ и знайте, что вы лжете; это будетъ гораздо честнѣе той пошлой трусости, съ которою вы, говоря одно, дѣлаете другое. Всѣ эти мысли высказаны Свентоховскимъ съ незаурядной силой діалектики, не лишенной, впрочемъ, нѣкоторой позировки. Діалогъ, служащій у Свентоховскаго любимой формой развитія мысли, построенъ слишкомъ вычурно, лишенъ естественности; писатель упускаетъ изъ виду, что въ такомъ родѣ могутъ вести между собою бесѣду только люди, на своемъ вѣку достаточно походившіе возлѣ всякой философской премудрости; въ устахъ же простыхъ смерт-

ныхъ эта выспренняя бесѣда имѣетъ такой видъ, точно это актеры говорятъ заученныя роли. Все это, однако, не препятствуетъ читателю любоваться блестящимъ каскадомъ остроумныхъ сближеній, мѣткихъ афоризмовъ, неожиданныхъ логическихъ парадоксовъ, которыми обмѣниваются противники, по подсказу беллетриста рѣшающіе какой-нибудь хитросплетенный вопросъ. Какъ и въ области публицистики, Свентоховскій здѣсь не даетъ простора никакому чувству; даже любовь фигурируетъ у него подъ строгимъ контролемъ холоднаго разсудка («Два философа», «У могилы»), отъ котораго опадаютъ всѣ ея цвѣты.

Изъ числа драматическихъ произведеній Свентоховскаго [1]) наибольшаго вниманія заслуживаетъ его драматическая трилогія: «Отецъ Макарій», «Аврелій Вишаръ» и «Регина». Сдѣлать главнымъ дѣйствующимъ лицомъ драмы ксендза, имѣющаго нелегальную семью, — шагъ очень смѣлый, если имѣть въ виду установившуюся въ польской литературѣ традицію хранить благоговѣйное молчаніе на счетъ всего, что соприкасается съ вѣрою и костеломъ. Польская критика усматриваетъ въ этой драмѣ даже протестъ противъ целибата католическаго духовенства; тенденція въ этомъ смыслѣ есть, но къ ней одной нельзя сводить все идейное содержаніе драмы. Чрезъ всю трилогію красною нитью проходитъ одна мысль: какъ тѣсно и душно живется въ сѣрой человѣческой толпѣ тѣмъ людямъ, которые хотятъ оставаться людьми, сохраняя человѣческое достоинство не только напоказъ, но въ поступкахъ и мысляхъ своихъ. Свентоховскому поэтому приходится брать людей сильныхъ духомъ, обладающихъ несокрушимой волей и укладывающихъ свою жизнь въ заранѣе намѣченныя рамки. Такимъ является въ трилогіи, прежде всего, отецъ Макарій, въ теченіе многихъ лѣтъ подавляющій въ себѣ горячую отцовскую любовь къ Аврелію и Цециліи и въ старости посвящающій свои силы апостольскимъ подвигамъ среди дикарей о. Мадагаскара. Первая сцена третьяго акта (въ кельѣ о. Макарія) показываетъ, какое постоянное

[1]) Они подписаны псевдонимомъ „Влад. Оконскій“.

духовное одиночество приходилось испытывать ему среди ограниченныхъ умственно и нравственно товарищей, подобныхъ брату Яцентію. Въ то время, какъ о. Макарій подъ сильнымъ наплывомъ чувства готовъ раскрыть сердце предъ братомъ Яцентіемъ, спрашивая его: «Признайся, можетъ быть, у тебя есть дѣти?» — у того только и находится отвѣтъ: «Ксендзъ Макарій, я ничѣмъ не вызвалъ подобнаго подозрѣнія. Развѣ я ужъ такой преступникъ?»...

Не менѣе сильнымъ характеромъ обладаетъ Регина, какъ обнаруживаетъ исповѣдь ея передъ о. Макаріемъ. Вокругъ имени ея кружится густой столбъ сплетни, создавшейся только потому, что Регина хотѣла быть свободною, руководиться въ своихъ поступкахъ не мелочными и лицемѣрными предписаніями толпы, а слѣдовать сознательно выработанной программѣ. Свѣтъ не можетъ простить ей независимости. «Свѣтъ думаетъ, что только тѣ женщины отдаляются отъ него, которыя хотятъ пасть», — говоритъ Регина. — «Поэтому различные ястребы, привыкшіе видѣть въ нашей свободѣ стремленіе къ пороку, начали слетаться вокругъ меня, въ томъ разсчетѣ, что я лишь для того стремилась жить свободной, чтобы стать ихъ добычей». Одинъ изъ этихъ «ястребовъ», Ксаверій Ястржембецъ, потерпѣвшій неудачу въ своихъ нечистыхъ планахъ относительно Регины, пытается обманомъ увлечь дочь о. Макарія Цицелію, которую пріютила у себя Регина. Замыселъ этотъ не удается, и ксендзъ Макарій, питавшій ранѣе общераспространенныя подозрѣнія относительно Регины, а теперь убѣдившись въ ихъ несостоятельности, благословляетъ союзъ ея со своимъ сыномъ Авреліемъ. Такъ заканчивается личная драма этихъ недюжинныхъ натуръ, возникающая на почвѣ борьбы чувства съ опутывающими его цѣпями, которыя созданы человѣческимъ недомысліемъ и жестокосердіемъ.

Сюжетъ второй драмы: «Аврелій Вишаръ» развивается на общественной подкладкѣ. Съ благословенія о. Макарія и подъ сильнымъ вліяніемъ жены своей Регины, Вишаръ устраиваетъ писчебумажную фабрику на новыхъ основаніяхъ съ предоставленіемъ участія въ прибыляхъ всѣмъ рабочимъ.

Напрасно его главноуправляющій, посѣдѣвшій на фабричной службѣ Морскій, предостерегаетъ его отъ такого рискованнаго шага, который онъ считаетъ похожимъ на то, какъ если бы кто вздумалъ жарить картофель на бочкѣ пороха. Вишаръ поступаетъ по-своему. Результаты получаются вполнѣ понятные. Конкурренты очень незамысловатыми финансовыми комбинаціями достигаютъ того, что фабрика заканчиваетъ годовой оборотъ безъ прибылей, и озвѣрѣлые, обманувшіеся въ своихъ жадныхъ разсчетахъ рабочіе поджигаютъ фабрику Вишара. Въ огнѣ гибнетъ и хозяинъ. Такимъ образомъ въ этой общественной борьбѣ побѣда остается на сторонѣ представителей эгоизма. Драматургъ, однако, далекъ отъ мысли предоставить торжество началу корысти только въ силу того соображенія, что въ средѣ человѣчества остается господствующимъ принципъ: «своя рубашка ближе къ тѣлу». Его драма представляетъ собою обстоятельный общественно-экономическій трактатъ, гдѣ данъ полный сводъ доказательствъ несостоятельности системы, избранной Вишаромъ. Развитію этихъ доказательствъ посвященъ весь діалогъ между Вишаромъ и Морскимъ, а также рядъ сценъ, въ которыхъ выведены погубившіе молодого идеалиста его конкурренты по промыслу. Свентоховскій очень умно сдѣлалъ, что въ числѣ этихъ конкуррентовъ вывелъ такихъ людей, какъ графъ Сциборъ: человѣкъ добрый и гуманный, готовый первымъ подать руку помощи Вишару, онъ поддерживаетъ устроенный противъ Вишара синдикатъ лишь въ силу непоколебимаго принципіальнаго убѣжденія, что затѣя его есть общественное зло. Да и самъ Крейслеръ (глава синдиката) дѣйствуетъ не въ силу одной только жадности захвата: онъ убѣжденъ, что торжество системы Вишара повлечетъ за собой промышленный крахъ, который вызоветъ обнищаніе тѣхъ же рабочихъ. Такимъ образомъ противниками добросердечной фантазіи Вишара руководитъ не одно ничтожное чувство денежной алчности, но сознаніе превосходства извѣстной соціально-экономической программы, которой они убѣжденно слѣдуютъ. На чьей сторонѣ авторъ? Свентоховскій проявилъ значительное искусство, чтобы скрыть свою личную расположенность въ

спорномъ дѣлѣ Вишара съ Крейслеромъ и К°. Какъ бы усиленно подчеркивая свое безпристрастіе, Свентоховскій не щадитъ своего діалектическаго таланта, чтобы вложить въ уста противниковъ Вишара солиднѣйшіе, трудно опровержимые доводы. И Морскій, и графъ Сциборъ — люди богатые не только личнымъ опытомъ, но и широкимъ научнымъ знаніемъ. Только по основной мысли всей трилогіи «Безсмертныхъ душъ», вторую часть которой составляетъ «Аврелій Вишаръ», мы догадываемся, что эти непрактичные новаторы милѣе драматургу, чѣмъ научно-непогрѣшимые Крейслеры.

Послѣ трагической кончины мужа Регина переѣзжаетъ на о. Мадагаскаръ, гдѣ ксендзъ Макарій основалъ миссіонерскую станцію. Изображенію ихъ дѣятельности, борьбы и гибели посвящена третья часть трилогіи — драма «Регина». Горизонтъ здѣсь еще шире: драматическая коллизія построена на основѣ борьбы разныхъ національностей за право обладанія этимъ кускомъ земли и его черными аборигенами, представляющими собою такую хорошую рабочую силу. Желая привлечь на свою сторону громадное нравственное вліяніе, какое умѣлъ снискать о. Макарій среди негровъ своимъ безкорыстіемъ, представители соперничающихъ силъ— французъ Андре, англичанинъ Мортонъ и папскій легатъ ксендзъ Феликсъ пытаются поочередно утилизировать нравственныя силы миссіонера, предлагая взамѣнъ свое покровительство. Но Макарій хочетъ остаться независимымъ, подчиненнымъ только Богу и Его закону, за что̀ и платится жизнью. Регина сама принимаетъ ядъ. Въ предсмертномъ монологѣ она высказываетъ мысль, что ихъ жизнь не безрезультатна. Регина заявляетъ, что и она вѣритъ въ безсмертіе душъ, хотя и не такъ, какъ понималъ его о. Макарій. «Если въ природѣ не уничтожается самый малѣйшій атомъ, хотя бы онъ отдѣлился отъ міровой связи, то равнымъ образомъ человѣческія мысли и чувства навѣки останутся въ духовномъ мірѣ. Что̀ вышло изъ нашихъ душъ, то всегда пребудетъ. Гала, Ваника, всѣ тѣ, которыхъ коснулось наше благодѣтельное вліяніе, продолжатъ жизнь нашу за гробомъ и передадутъ нить ея послѣдующимъ поколѣніямъ... Бѣгите

же, мои мысли, въ далекія времена и раждайте новыя»... Однако эта вѣра въ безсмертіе душъ, надежда на побѣду болѣе чистыхъ и благородныхъ началъ человѣческаго духа не заглушаетъ горькихъ размышленій Регины при взглядѣ на свою прошлую жизнь. «Когда я хотѣла жить одинокой, меня прокляли; когда я хотѣла принять на себя справедливую оцѣнку человѣческаго труда, меня сдѣлали несчастливой; когда я принялась здѣсь прогонять ночь варварства, дикость страстей, нужду и неправду, меня осудили на гибель. Что это—родъ ли человѣческій дѣйствительно такъ ничтоженъ, или же только ничтожество его является такимъ смѣлымъ, а честность такой боязливой?» Драматургъ вложилъ одну изъ задушевнѣйшихъ своихъ мыслей въ это восклицаніе Регины; она проскальзываетъ и въ разсказахъ, очевидно, преслѣдуя его неотступно.

Главнѣйшимъ недостаткомъ драматическихъ произведеній Свентоховскаго, по взгляду критики, является однообразіе діалога: всѣ дѣйствующія лица говорятъ у него однимъ и тѣмъ же языкомъ,—лучше сказать, говоритъ за нихъ самъ авторъ. За этимъ упрекомъ нужно признать значительную основательность. Позволимъ себѣ замѣтить, однако, и то, что Свентоховскій, задаваясь цѣлью освѣтить какую-либо сложную психологическую или соціальную проблемму, поневолѣ принужденъ прибѣгать къ содѣйствію лицъ, въ интеллектуальномъ отношеніи выдѣляющихся изъ общаго уровня. При такихъ условіяхъ утонченная округленность оборотовъ рѣчи, украшаемой при томъ разными эффектными завитушками, не даетъ слишкомъ рѣзкаго диссонанса.

Наиболѣе характерною особенностью какъ беллетристическихъ, такъ и драматическихъ произведеній Свентоховскаго является сухая абстрактность фигуръ и положеній. Поэтому-то талантъ его чувствуетъ себя наиболѣе въ своей родной стихіи, напримѣръ, въ драматическихъ отрывкахъ «Духи», гдѣ для рѣшенія поставленныхъ проблеммъ авторъ пользуется алгебраическимъ способомъ, распредѣляя роли между условными обозначеніями чувствъ и страстей. Увеличивая идейную цѣнность произведеній Свентоховскаго, ука-

занная особенность сильно умаляетъ художественное значеніе ихъ: въ нихъ нѣтъ красотъ пейзажа, которыми бы могъ любоваться глазъ, нѣтъ тепла, которымъ могло бы согрѣться сердце читателя. Ни разсмѣшить, ни разжалобить Свентоховскій не умѣетъ; въ его произведеніяхъ слишкомъ много угрюмой мысли, острыхъ, горькихъ сомнѣній, да при томъ часто раздается хлопанье бича сатиры. Изгнавши изъ своей повѣсти и драмы все, что даетъ пищу радости, счастію, смѣху, Свентоховскій взялся за другую тяжелую, неблагодарную задачу—будить мысль и совѣсть. Быть можетъ, по этой именно причинѣ Свентоховскій не пользуется особенными милостями, такъ называемой, широкой публики: общество вѣдь не особенно любитъ, если кто-нибудь вздумаетъ прерывать его сладкую полудремоту.

О драмахъ Пржибышевскаго.

Въ первыхъ числахъ февраля 1903 г. польской драматической труппой Болеславскаго дано было въ С.-Петербургѣ нѣсколько спектаклей. При обыкновенныхъ условіяхъ гастроли этой труппы, посѣщающей столицу уже не въ первый разъ, могли бы заинтересовать только польскую колонію, хотя и она, насколько можно было судить по прошлогоднимъ гастролямъ той же труппы, не проявляетъ въ такихъ случаяхъ особаго энтузіазма, какой приличествовалъ бы этому стойкому въ своемъ патріотизмѣ народу; только первый спектакль собиралъ полный залъ, дальнѣйшіе же давались при унылой пустотѣ, и приходилось умозаключать, что петербургскіе холода значительно остудили пылкую польскую кровь. На этотъ разъ дѣло обстояло иначе: каждое изъ представленій происходило при переполненномъ театрѣ, публика была не сплошь польская, среди нея можно было видѣть лицъ, присутствіе которыхъ само по себѣ знаменуетъ экстраординарность спектакля и серіозный интересъ пьесы. Дѣло объясняется тѣмъ, что труппой давались пьесы новѣйшаго препрославленнаго польскаго писателя Станислава Пржибышевскаго, о сверхъестественномъ талантѣ котораго польская пресса успѣла уже накричаться до хрипоты. Мало того: пьесы г. Пржибышевскаго давались «подъ личнымъ артистическимъ управленіемъ» самого автора, впервые посѣщающаго Петербургъ; по этой причинѣ ртуть поднялась еще на

нѣсколько градусовъ выше... Въ день открытія спектаклей г. Пржибышевскій помѣстилъ въ петербургской польской газетѣ «Kraj» любопытное письмо; прочитавши его, вы будете согласны, что оно заслуживаетъ вниманія во всѣхъ отношеніяхъ. Приводимъ его цѣликомъ:

«Лѣтъ около десяти тому назадъ—и даже нѣсколько болѣе—предпринята была коренная реформа театра и актерской игры. Если не ошибаюсь, первый сигналъ данъ былъ изъ Мейнингена. Не смотря однако на огромныя заслуги, какія ему принадлежатъ и всегда будутъ принадлежать, въ отношеніи постановки групповыхъ сценъ, полнаго изгнанія со сцены такъ называемыхъ статистовъ и замѣны ихъ опытными актерскими силами, — не смотря на ту великую и весьма важную заслугу, что онъ впервые научилъ актера, что одна улыбка его, всякое малѣйшее движеніе, мимолетное появленіе на сценѣ такъ же важно, какъ самая сильнѣйшая, расчитанная на эффектъ роль—Мейнингенъ все-таки погрѣшилъ въ томъ, что все вниманіе сосредоточилъ на группѣ, и мало или почти вовсе не обращалъ вниманія на индивидуальность автора».

«Наступила реакція; свободные театры выростали въ Европѣ словно грибы послѣ дождя».

«Въ первое время представлялось, что свободный театръ хотѣлъ обойти права слишкомъ суровой цензуры и въ замкнутомъ кругу избранныхъ рельефнѣе оттѣнить индивидуальность автора, которую до тѣхъ поръ приходилось приспособлять ко вкусу публики и къ уровню въ общемъ мало воспитаннаго зрителя».

«Но мнѣ кажется, что это не была реакція, возникшая къ пользѣ автора, а скорѣе революція артистовъ, направленная противъ обезличенія и нивеллировки индивидуальности.

«Я былъ свидѣлелемъ созданія свободнаго театра въ Берлинѣ подъ названіемъ «Freie Buhne», съ истиннымъ восхищеніемъ смотрѣлъ на удивительныя вещи, которыя сдѣлалъ Линдбергъ въ Скандинавіи въ своемъ свободномъ театрѣ, и съ интересомъ смотрѣлъ на театръ Antoine и Lugué-Poe

въ Парижѣ и всюду наблюдалъ стремленіе руководителя — дать свободу личности. И въ Польшѣ дѣлались попытки создать что-либо подобное; объ этомъ думалъ Людовикъ Щепанскій, когда основалъ въ Краковѣ «Życie»; очень долго думалъ объ этомъ такъ безгранично преданный, такъ беззавѣтно посвятившій себя искусству человѣкъ, какъ Тадеушъ Павликовскій; долго и пространно размышлялъ объ этомъ и я, но все это прошло безрезультатно. И не потому, чтобы общество было мало-интеллигентнымъ—напротивъ, польское общество является безспорно наиболѣе культурнымъ во всей Европѣ, оно чрезвычайно чуткое, внимательное ко всему, что представляется новымъ и возвышается надъ обыкновеннымъ уровнемъ—а только вслѣдствіе недостатка энергіи, и что важнѣе всего—помилуй Богъ! — вслѣдствіе недостатка средствъ.

«Г. Болеславскій задался тою же мыслью, которая давно бродила въ Польшѣ, и теперь осуществляетъ ее».

«Я охотно принялъ его предложеніе, такъ какъ вѣрю въ искренность его артистическихъ намѣреній, вѣрю въ дружину, которую онъ собралъ вокругъ себя и которую выловилъ изъ самыхъ захолустныхъ провинціальныхъ угловъ».

«На первый взглядъ страннымъ могло бы показаться, что директоръ труппы, желая пустить пыль въ глаза Петербургу, не поискалъ актеровъ на перворазрядныхъ сценахъ. Я, наоборотъ, вижу въ этомъ разумный умыселъ артиста, который хочетъ создать новый театръ съ помощью новыхъ силъ. Онъ явился истиннымъ мученникомъ своего призванія и при томъ не изъ корысти, а единственно съ цѣлью убѣдить публику, что онъ не гистріонъ и не клоунъ, а истинный артистъ, призванный къ тому, чтобы созданную мыслью автора сцену представить публикѣ такимъ образомъ, чтобы самая невѣроятнѣйшая вещь казалась безспорной дѣйствительностью».

«Именно въ провинціи можно еще найти людей съ горячимъ сердцемъ и горячей любовью къ искусству, людей, которые, несмотря на голодъ, холодъ и страшную нужду, устремляютъ взоръ на яркое солнце великаго идеала. Китай-

щина «драматическихъ школъ», лѣнивый и вольготный отдыхъ на комфортабельныхъ тюфякахъ, какой предоставляютъ столичныя сцены, не успѣли еще атрофировать ихъ мозгъ и охладить сердце».

«Изъ такого-то матеріала создалъ Антуанъ свой «Théatre libre», Линдбергъ свою прямо превосходную труппу понасобиралъ съ улицы, Отто Брамъ создалъ таковую же изъ полуактеровъ, изъ такъ называемыхъ десятиразрядныхъ актеровъ и актрисъ, и, однако, каждый изъ нихъ сдѣлалъ гигантскій шагъ впередъ, создалъ образецъ, по которому перевоспитывается китайщина столичной сцены».

«Руководствуясь вотъ именно такою мыслью, г. Болеславскій старался впервые создать что-либо въ этомъ родѣ и для польской драмы. Такова цѣль труппы г. Болеславскаго, руководительство которой онъ поручилъ мнѣ. Мы приступаемъ къ дѣлу исполненные увѣренности, что общество всѣми силами поддержитъ наши попытки, а изъ этихъ мелкихъ кусочковъ быть можетъ со временемъ, если хватитъ средствъ у насъ и силы окрѣпнуть, создастся что-нибудь столь же свѣтлое, какъ театръ Станиславскаго. Далекій это путь, но его можно скорѣе пройти, если мы встрѣтимъ поддержку».

И какой еще далекій! Можно сказать, еще и перваго шага не сдѣлано по этому пути. Стараясь «всѣми силами поддержать» попытку г.г. Болеславскаго и Пржибышевскаго, я аккуратно посѣщалъ спектакли и видѣлъ... самую ординарную труппу, самую ординарную постановку, а исполненіе, какъ вообще бываетъ, было разнообразное, т. е. одни играли сильнѣе, другіе слабѣе, одна пьеса шла стройно, живо, бодро, другая—спотыкаясь и пошатываясь; одни знали роль хорошо, другіе говорили съ запинкой; и здѣсь, какъ всюду, публика первыхъ рядовъ съ досадой принуждена была внимать змѣинному шипѣнію суфлерской будки (что̀ совсѣмъ ужъ не вяжется съ «яркимъ солнцемъ великаго идеала»), тогда какъ до заднихъ рядовъ долетало со сцены не болѣе половины словъ. Словомъ сказать, игру этой «дружины», «выловленной изъ захолустнѣйшихъ угловъ провинціи», можно

было слушать хотя и съ удовольствіемъ, но безъ особеннаго восторга; духъ отъ этой игры не захватывало и, сказать по совѣсти, г. Пржибышевскому рано было корить такъ презрительно «китайщину столичныхъ сценъ». Его труппа могла бы еще многимъ кой-чѣмъ позаимствоваться отъ столичныхъ сценъ себѣ на пользу, а затѣмъ уже идти по новому пути...

Пьесы г. Пржибышевскаго (ихъ дано было всего четыре) оказались гораздо интереснѣе исполненія.

Г. Пржибышевскій давно уже объявленъ реформаторомъ польской литературы. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что въ области драматическаго творчества г. Пржибышевскій менѣе отступаетъ отъ общепринятыхъ, традиціонныхъ формъ, чѣмъ въ своихъ беллетристическихъ произведеніяхъ. И нельзя сказать, чтобы его драмы отъ этого сколько-нибудь проигрывали.

Первою шла драма «Золотое Руно» («Zlote runo»), уже знакомая публикѣ по прошлогоднимъ гастролямъ труппы г. Болеславскаго. Въ общемъ это вещь очень недурная, слушаешь ее съ интересомъ, неослабѣвающимъ ни на одну минуту. Хотя всѣ дѣйствующія лица (за исключеніемъ эпизодическаго «незнакомца» и, понятное дѣло, слуги) имѣютъ одинаково близкое отношеніе къ драматической коллизіи, которая развертывается въ пьесѣ, однако, центральное мѣсто хочется отдать Рущицу. Даже для близко окружающихъ фигура этого человѣка представляется нѣсколько загадочною, а его рѣчи — странными и не совсѣмъ понятными. Рущицу пришлось пережить въ прошломъ глубокую личную драму, которая не перестаетъ давить его всю послѣдующую жизнь. Его другъ, узнавъ объ измѣнѣ жены своей съ нимъ, Рущицемъ, пустилъ себѣ пулю въ лобъ, и Рущицъ имѣлъ назиданіе видѣть страшный трупъ тотчасъ же послѣ убійства, съ отскочившимъ кускомъ черепа, когда по лицу струилась тоненькими ниточками кровь, а широко открытые глаза глядѣли съ укоромъ и ужасомъ. Эта картина такъ и осталась предъ глазами Рущица на всю жизнь. Необъяснимой загадкой остается для Рущица вопросъ, почему на него свалилась эта тяжкая мука; вѣдь нѣтъ его вины въ томъ, что

онъ полюбилъ жену своего друга, нельзя и ее винить, что она отвѣтила ему любовью. Еще въ старину поляки совершенно правильно утверждали, что надъ любовью не имѣетъ силы ни власть гетмана, ни даже короля. «Więc niema winy jest tylko kara» («нѣтъ вины, а есть только наказаніе») — повторяетъ Рущицъ свою, очевидно, выстраданную мысль. Заднимъ умомъ крѣпокъ бываетъ не только русскій человѣкъ; оглядываясь на прошлое, Рущицъ приходитъ къ выводу, что за минуты украденнаго счастья ему пришлось заплатить не въ примѣръ дороже, чѣмъ это счастье стоило, и что, пожалуй, лучше было бы, если бы этого счастья онъ вовсе не бралъ. Но тутъ же ему приходится признать, что это невозможно: въ такіе моменты человѣкъ не способенъ бываетъ остановиться на минуту, думать и взвѣшивать. Точно ураганъ налетитъ, схватитъ и понесетъ, не давая опомниться.

Отъ связи съ женой трагически покончившаго друга у Рущица есть сынъ, носящій фамилію номинальнаго отца, Густавъ Рембовскій. Рущицъ перенесъ на него всю любовь, живетъ его радостями и страданіями, исполняетъ его прихоти. Можно представить тревогу Рущица, когда онъ видитъ, что его любимый Густавъ дѣлаетъ тотъ же шагъ, за который такъ тяжело расплачивается самъ Рущицъ. Нужно замѣтить, что дѣйствіе происходитъ въ «лѣчебномъ заведеніи», устроенномъ Рущицомъ по мотивамъ того же характера, по которымъ московскіе и нижегородскіе купцы отливаютъ стопудовые колокола въ монастыри. Какой-то червячокъ гложетъ сердце, нельзя ли его «этимъ» успокоить?.. Съ женою доктора Лонцкаго, завѣдывающаго этимъ заведеніемъ, завязываются у Густава интимныя отношенія, которыя тоже увѣнчиваются рожденіемъ ребенка. Докторъ, впрочемъ, хотя знаетъ объ этой связи и ненавидитъ Густава всѣми силами души, не собирается застрѣливаться, а ограничивается тѣмъ, что подыскиваетъ себѣ другое мѣсто. Густавъ повидимому, въ свою очередь не принимаетъ близко къ сердцу этой связи, такъ какъ преспокойно женится на Инкѣ, которую крѣпко любитъ. Одинъ лишь Рущицъ мучается новой тоской—что-то

изъ этого выйдетъ, такъ какъ по опыту знаетъ, что месть все-таки неизбѣжна.

Въ эту-то душную атмосферу вступаетъ Инка, молодая, чистая душой, жаждущая радости, смѣха, веселья. Вступаетъ—и вся вскорѣ съеживается: при видѣ Рущица на нее нападаетъ какой-то безотчетный страхъ, мужъ, вѣчно угрюмый, задумчивый, часто раздражительный (прежняя связь все-таки извѣстный осадокъ въ душѣ его оставила) мучаетъ ее своимъ тяжелымъ характеромъ. Инкѣ становится тяжело съ этими людьми.

Въ это-то время къ нимъ пріѣжаетъ погостить далекій родственникъ Инки, молодой литераторъ Пржеславскій, когда то любившій Инку и ею любимый. Старая любовь всегда, говорятъ, сохраняетъ свои права и... въ драму вводится третья измѣна. Инка рѣшается отдаться любимому человѣку не безъ борьбы, не хочетъ обманывать мужа, который такъ сильно ее любитъ. Но литераторъ доказываетъ, что тутъ обмана не будетъ: вѣдь Инка выходила замужъ, не любя Густава, а не переставала любить его, Пржеславскаго. Стало быть, обманъ былъ тогда, когда она согласилась выйти замужъ, теперь же, отдавшись ему, она только исправитъ этотъ обманъ. Наконецъ, хорошо — пусть даже Густавъ не вынесетъ того удара, какой они ему готовятъ; но вѣдь если для счастья требуется совершить даже преступленіе, то предъ этимъ нельзя останавливаться; поступить иначе было бы трусостью. Побѣжденная не столько его доводами, сколько жаждой любви и счастья—Инка сдается...

Всю эту игру ясно какъ на ладонѣ видитъ одинъ только Рущицъ, по части любви обладающій даромъ почти ясновидѣнія. Сперва онъ пробуетъ разными аллегоріями и намеками не допустить парочку до полнаго сближенія, но когда узнаетъ, что то, чего онъ такъ боялся, уже свершилось, то впадаетъ въ полное отчаяніе: нѣтъ сомнѣнія, что Густавъ послѣ этого не захочетъ жить... Онъ пробуетъ внушить Инкѣ мысль, что «jeżeli nie można klamac, to trzeba milczec» («если нѣтъ силъ лгать, то нужно молчать»), но Инка подъ вліяніемъ Пржеславскаго объявляетъ мужу все.

Рущицъ былъ правъ: Густавъ не имѣетъ силъ жить. Къ концу послѣдняго дѣйствія авторъ подсыпаетъ въ пьесу крѣпкаго перцу, чтобы получше взвинтить нервы зрителя: на сцену выводится «неизвѣстный», долженствующій олицетворять несущіяся вихремъ обрывки мыслей Густава въ послѣдніе часы. Приближаясь крадучись въ полутемной комнатѣ къ потрясенному горемъ Густаву, неизвѣстный тихимъ голосомъ разсказываетъ, какъ незамѣтно подкрадывается къ человѣку несчастіе: сперва высматриваетъ жертву, притаившись, затѣмъ пробирается ползкомъ, подкарауливаетъ и, наконецъ, бросается. Послѣ ухода неизвѣстнаго Густавъ застрѣливается.

Такимъ образомъ счастія—этого «золотого руна», къ которому такъ страстно стремится человѣчество, г. Пржибышевскій въ своей пьесѣ не позволилъ достигнуть никому. Не знаемъ, впрочемъ, какъ отнесся къ заключительному выстрѣлу литераторъ—человѣкъ онъ вообще очень странный и нѣсколько, пожалуй, «моветонъ» въ томъ смыслѣ, какой придаютъ этому понятію гоголевскіе чиновники, во всякомъ случаѣ, Инка счастливой не будетъ, а при такихъ условіяхъ ея близость едва-ли дастъ много услады Пржеславскому. Хуже всѣхъ будетъ доживать свой вѣкъ Рущицу, такъ какъ у него въ головѣ крѣпкимъ гвоздемъ засѣла мысль, что и Густавъ явился искупительной жертвой его... не вины, а какого-то грознаго предопредѣленія. Ибо—нѣтъ вины, а есть только кара, которая будетъ тянуться до седьмого поколѣнія.

Тотъ же мотивъ служитъ темой и второй драмы г. Пржибышевскаго — «Для счастія» («Dla szczęścia»). Тенденція автора здѣсь выражена еще ярче, чѣмъ въ «Золотомъ рунѣ». Своей пьесой авторъ какъ бы кричитъ публикѣ: если вы думаете, что возможно построить новое счастіе на обломкахъ разбитой любви, то вы жестоко ошибаетесь. Мысль, положимъ, не новая, но выражена она въ пьесѣ такъ ярко, звучитъ такъ могуче, что невольно покоряетъ зрителя. Въ газетной рецензіи мы въ свое время имѣли случай отмѣтить одинъ техническій промахъ, быть можетъ не замѣченный авторомъ, сосредоточившимъ все вниманіе на центральной

мысли пьесы, но сразу же бросающійся въ глаза зрителю. Именно, въ драмѣ «Для счастія» всего лишь четыре дѣйствующихъ лица, среди которыхъ и разыгрывается коллизія, вслѣдствіе чего получается впечатлѣніе, будто бы дѣйствіе происходитъ гдѣ-то внѣ условій времени и пространства Между тѣмъ по заявленію самого автора, «дѣйствіе происходитъ въ большомъ городѣ», и трудно предположить, чтобы за все время дѣйствія въ квартиру Млицкаго не заглянулъ, кромѣ Зджарскаго, ни одинъ человѣкъ.

Начинается дѣйствіе тѣмъ, что литераторъ Млицкій, безъ памяти влюбившись въ Ольгу Агрелли, собирается порвать съ Еленой, съ которой вотъ уже два года онъ прожилъ въ нелегальномъ бракѣ и которая беззавѣтно предана ему. Человѣкъ по натурѣ мягкій, довольно малодушный и колеблющійся, Млицкій никакъ не имѣетъ силъ сдѣлать рѣшительный шагъ. А тутъ слезы и отчаяніе Ольги, угрызенія собственной совѣсти... Подливаетъ масла въ огонь и пріятель Млицкаго Зджарскій, роль котораго вполнѣ опредѣляется лишь къ концу пьесы... Спервоначалу кажется, что это — богатый опытомъ искренній другъ Млицкаго, жалѣющій его и Елену и желающій предостеречь его отъ неразумнаго шага, который счастія ему не дастъ, а сдѣлаетъ мученикомъ. Вѣдь Ольгу Агрелли онъ знаетъ, она прошла чрезъ много рукъ: что, кромѣ муки, дастъ Млицкому вѣчно сверлящая въ мозгу мысль, что его жена принадлежала раньше уже многимъ? Послѣ діалога съ Еленой (сильное мѣсто пьесы) дѣло нѣсколько проясняется: Зджарскій самъ безумно любитъ Ольгу Агрелли, ради любви не останавливается предъ самымъ пошлымъ преступленіемъ (обокралъ разъ пріятеля, чтобы добыть средства для заграничной экскурсіи), а она всегда поступала съ нимъ, какъ съ собачкой: то приласкаетъ, то оттолкнетъ; наконецъ, окончательно прогнала отъ себя, осудивъ на злую муку безплоднаго раскаянія, такъ какъ Зджарскій, ради Агрелли, тоже когда-то бросилъ любимую и любившую его чудную дѣвушку. Въ разсказѣ Зджарскаго чуется гроза; видно, что это — желѣзный характеръ, способный безъ остатка, безъ оглядываній и колебаній от-

дать себя какой-нибудь разъ намѣченной цѣли; видно, что этотъ человѣкъ способенъ такъ же сильно ненавидѣть, какъ и любить!

Млицкій, наконецъ, рѣшился. Предсказаніе Зджарскаго сбывается въ точности: онъ мучаетъ Агрелли ревностію къ ея прежнимъ обладателямъ. Сбывается и другое предсказаніе Зджарскаго: Елена бросается въ рѣку. Съ этимъ извѣстіемъ, держа его, точно кинжалъ за пазухой, заранѣе наслаждаясь местью, является къ новобрачнымъ Зджарскій. Месть дѣйствительно ужасна: въ покойницкой онъ далъ адресъ Млицкаго, чтобы туда доставили трупъ Елены. Но и этого мало Зджарскому: «сударыня, наши счеты еще не кончены» — заявляетъ онъ Агрелли предъ уходомъ. Судите о душевномъ состояніи Млицкаго, когда предъ занавѣсомъ слышны тяжелые шаги людей, несущихъ по лѣстницѣ трупъ Елены! Да, Зджарскій умѣетъ мстить...

У Млицкаго слишкомъ много совѣсти и слишкомъ мало характера, чтобы быть счастливымъ послѣ того эпизода, который служитъ развязкой пьесы. А если бы на мѣсто Млицкаго и Агрелли поставить людей съ желѣзной волей, которые заранѣе знали бы, что ихъ счастіе можетъ быть куплено только цѣною преступленія,—были бы они счастливы? Нашли бы силы забыть прошлое, отдаться блаженству вполнѣ, не омрачая его запоздалымъ раскаяніемъ? Разумѣется при этомъ — люди съ тонкой душевной организацiей, а не дубовые пни, которымъ ни любовь, ни совѣсть не знакомы.

Поставивъ такой вопросъ въ драмѣ «Снѣгъ», авторъ не нашелъ силъ дать на него ясный отвѣтъ. Правда, и вопросъ не легкій...

Панъ Тадеушъ, которому надоѣла широкая, нервная жизнь большихъ городовъ, женится на Бронкѣ и поселяется въ деревнѣ, гдѣ отдается охотѣ, занятіямъ живописью и тихимъ радостямъ семейной жизни. Бронка — полу-ребенокъ, любитъ всей душой мужа и полными глотками пьетъ счастіе. Почти одновременно къ этой четѣ пріѣзжаютъ погостить братъ Тадеуша Казиміръ—скелетообразная фигура, растратившая

всѣ силы души и тѣла — и институтская подруга Бронки Ева, которую когда-то любилъ панъ Тадеушъ—натура, поражающая своею нравственною мощью. Ева имѣетъ смѣлость смотрѣть правдѣ прямо въ глаза и, оставшись наединѣ съ Тадеушемъ, выражаетъ радость, что онъ ее любитъ такъ же страстно, какъ и раньше любилъ: всѣ картины и этюды, всѣ мелочи домашней обстановки показываютъ, что панъ Тадеушъ безсознательно дышитъ только ею, живетъ памятью о ней. Панъ Тадеушъ пробуетъ горячо протестовать, но по мѣрѣ того, какъ онъ сильнѣе и сильнѣе кипятится, для зрителя становится очевиднымъ, что это въ немъ кипитъ страсть къ Евѣ...

Между тѣмъ трупообразный Казиміръ замогильнымъ голосомъ признается своей belle soeur въ любви и при этомъ спѣшитъ прибавить, что онъ никогда—о, нѣтъ! никогда—не позволитъ себѣ и мысли, чтобы Бронка отвѣтила ему тѣмъ же, а если бы она вздумала не ограничиться платоническою любовью, то онъ заранѣе ставитъ свое veto противъ всякихъ соблазнительныхъ попытокъ съ ея стороны. Бронка не придаетъ особеннаго значенія этому признанію, такъ какъ вниманіе ея начинаетъ обращаться на другую сторону. Женскій инстинктъ подсказываетъ ей, какого рода чувство питаютъ другъ къ другу ея мужъ и подруга, и съ ней довольно быстро происходитъ перемѣна, очень умѣло изображенная авторомъ: изъ наивной полу-институтки она выростаетъ въ женщину не ниже ростомъ Евы. Но уже поздно! Нѣтъ никакого сомнѣнія, что ея Тадеушъ всей душой принадлежитъ Евѣ. Въ то время, какъ эта парочка отправилась побродить по парку, Бронка рѣшается утопиться и приглашаетъ Казиміра поддержать ей компанію. Тотъ охотно соглашается, тѣмъ болѣе, что ему, повидимому, нечего дѣлать въ этомъ мірѣ. Предъ окончаніемъ пьесы авторомъ выводится на сцену полу-символическая фигура няни Бронки, долженствующая, кажется, играть ту же роль, что и «неизвѣстнаго» въ «Золотомъ рунѣ». Нянька, повидимому, выведена для сильнѣйшаго запечатлѣнія въ памяти зрителя тяжелой развязки. Двѣ жизни погибаютъ сразу; «теперь я тутъ останусь», заявляетъ

нянька предъ занавѣсомъ. Она, дѣйствительно, надолго остается въ памяти зрителя, какъ угрюмое привидѣніе, поставленное авторомъ сторожить эти могилы, будить въ прохожемъ чуткій ужасъ души предъ неразрѣшимой загадкой, въ чемъ тайна счастія и зачѣмъ міру дано такъ много страданія?

Какъ отнесутся къ трагическому концу Бронки панъ Тадеушъ и Ева, когда возвратятся изъ своей прогулки? Хватитъ ли у нихъ мужества спокойно перешагнуть чрезъ трупъ этого чистаго существа, чтобы затѣмъ безмятежно отдаться своему счастію? Авторъ не захотѣлъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Призывая Тадеуша покинуть деревенскую тишину, броситься въ водоворотъ жизни, стремиться къ борьбѣ, къ подвигу, Ева съ непередаваемой силой чувства говоритъ ему: «какъ бы я тогда тебя любила!» Она и тогда не скрывала отъ себя, что если она возьметъ Тадеуша, то Бронка перестанетъ жить. И однако она звала Тадеуша за собой... Безспорно, это двѣ сильныя натуры. Но чуется, что и нянька не спроста произнесла свое роковое: «и я тутъ останусь». Во всякомъ случаѣ не безъ борьбы достанется имъ счастіе, и будетъ оно отравленное счастіе: за каждымъ поцѣлуемъ они будутъ пугливо озираться по сторонамъ, не смотритъ ли «нянька», этотъ страшный призракъ темнаго прошлаго...

Четвертая драма г. Пржибышевскаго «Мать» имѣетъ съ предыдущими тремя только то общее, что нить дѣйствія наматывается тоже на измѣну, случившуюся задолго до поднятія занавѣса. Жена богатаго фабриканта, Ванда Оконская, вступила въ связь съ управляющимъ фабрики Боровскимъ. Провѣдавшій про это мужъ ея отправилъ свою душу въ лучшій міръ при помощи ружейнаго выстрѣла, но предъ самоубійствомъ покончилъ свои земные счеты довольно коварнымъ образомъ, разославъ всѣмъ друзьямъ одновременно предсмертное оповѣщеніе съ правдивымъ изложеніемъ причины своего героическаго поступка. Дѣйствія драмы сводится къ тому, что пріѣхавшій изъ за-границы сынъ Ванды Конрадъ влюбляется въ дочь Боровскаго Ганку и выражаетъ твердое намѣреніе на ней жениться. Старая парочка, не прерывавшая комфортабельной близости и послѣ устроен-

наго мужемъ сюрприза, пришла въ понятный ужасъ и рѣшительно воспротивилась такой комбинаціи. У юноши Конрада начинаетъ постепенно проясняться правильный взглядъ на отношенія матери и Боровскаго. Шибко подвигаетъ дѣло къ развязкѣ пріятель Конрада, владѣющій тайной, въ которую отецъ Конрада посвятилъ своихъ друзей. Авторъ пытается ослѣпить публику цѣлымъ фейерверкомъ эффектовъ въ видѣ развязки: Конрадъ отрекается отъ матери, пріятель его поджигаетъ фабрику, за что получаетъ одобреніе молодого хозяина, Ганка бросается въ пламя.

Этотъ черезчуръ шумный конецъ еще болѣе подчеркнулъ шаблонность и пустоту пьесы, въ которой нѣтъ ни типовъ, ни психологіи, ни серіознаго замысла.

Въ сценическомъ отношеніи пьесы г. Пржибышевскаго нѣсколько вялы, въ нихъ мало дѣйствія; этотъ недостатокъ выкупается интересомъ діалога, всегда живого и занимательнаго. Къ числу особенностей драматическаго творчества г. Пржибышевскаго слѣдуетъ отнести и то, что авторъ выводитъ не типы, а характеры; въ пьесахъ почти нѣтъ бытового матеріала, за то много психологіи, очень тонко разработанной.

«Jakie to jest życie dziwne!» (какъ таинственна жизнь) часто восклицаютъ дѣйствующія лица во всѣхъ четырехъ описанныхъ нами пьесахъ. Намъ думается, что въ этомъ восклицаніи и сказывается основная мысль драмъ г. Пржибышевскаго. Жизнь часто ставитъ человѣку жестокую дилемму, въ которой оба «aut» одинаково страшны. Хочешь не хочешь, а выбирать надобно. Тутъ-то и случается, что въ результатѣ у человѣка «вся душа обращается въ одну сплошную рану», какъ выражается о себѣ одинъ изъ героевъ г. Пржибышевскаго. И надобно отдать справедливость молодому автору: онъ ловкій, талантливый хирургъ, очень умѣло вскрываетъ эти «сплошныя раны» души и умѣетъ искусно и занимательно демонстрировать ихъ предъ зрителемъ.

Свѣжіе побѣги.

Первыя пробы начинающаго беллетриста, не смотря на неизбѣжныя техническія несовершенства, бываютъ въ большинствѣ случаевъ все-таки интересны со стороны богатства и новизны содержащагося въ нихъ бытового матеріала. Мы охотно миримся съ неловкостью формы, съ громоздкостью и угловатостью архитектуры, съ наивностью фабулы произведенія; все это выкупается интересомъ тѣхъ новыхъ наблюденій, которыя удалось автору сдѣлать въ безбрежномъ морѣ людскихъ отношеній, а главное — неподдѣльною свѣжестью чувства, которымъ вѣетъ всегда отъ первыхъ пробъ пера. Говоря такъ, мы, конечно, имѣемъ въ виду такія произведенія, въ которыхъ при всѣхъ внѣшнихъ недостаткахъ чувствуется искра таланта; въ гораздо большей пропорціи среди произведеній начинающихъ авторовъ попадаются издѣлія ремесленническаго характера, въ которыхъ напрасно стали бы мы искать мысли и чувства, но о такихъ произведеніяхъ и рѣчи поднимать не стоитъ.

Повѣсть Podniebie, принадлежащая перу начинающаго польскаго беллетриста Эдуарда Пашковскаго [1]), представляетъ интересъ не только потому, что въ ней авторъ обнаружилъ задатки хорошаго дарованія. Она заслуживаетъ вниманія еще и потому, что авторъ пытается здѣсь обрисовать нѣко-

[1]) Edward Paszkowski. Podniebie. Z kroniki czwartego pietra. Lwów. 1901.

торыя новѣйшія теченія польской общественной жизни и выводитъ на сцену типы, сложившіеся въ самое послѣднее время. Авторъ, повидимому, хочетъ стать въ ряды беллетристовъ, уловляющихъ вѣянія времени.

Въ добрый часъ! Судя по первому опыту, автору доступенъ довольно широкій горизонтъ наблюденій, а уже одно это много значитъ;

Центральной фигурой своей повѣсти авторъ хотѣлъ сдѣлать молодого шляхтича Стефана Дашевскаго; желая нарисовать идеальный типъ, авторъ, однако, съ излишнимъ усердіемъ возвеличилъ своего героя и поставилъ его на такую высоту, на которой стоятъ только моменты, а не живые люди. Вышла, словомъ, довольно блѣдная фигура, и вниманіе читателя, находя мало интереса въ этомъ человѣкѣ, вмѣщающемъ по волѣ автора такъ много достоинствъ, отвлекается къ живымъ людямъ, у которыхъ поменьше благороднаго блеска, но побольше правды.

Беллетристъ вводитъ насъ въ тѣсно-сплоченную семью сотрудниковъ газеты «Ruch». Всѣ они — славные, что называется, ребята, живущіе на подобіе птицъ небесныхъ, мало заботящіеся о постоянномъ кровѣ и житейскомъ достаткѣ и, если вѣрить автору, душой преданные своему изданію и тѣмъ принципамъ, которые оно проводитъ. Что собственно за изданіе представляетъ изъ себя «Ruch», подъ какимъ флагомъ оно плыветъ, какого рода пищу преподноситъ читателямъ—изъ повѣсти не удается выяснить. Одинъ изъ главнѣйшихъ сотрудниковъ «Ruch»'а—Вѣрушъ—говоритъ объ этомъ изданіи въ слѣдующемъ тонѣ: «какимъ способомъ мы еще держимся съ этимъ «Ruch»'омъ, я и самъ понять не могу. На насъ ополчаются со всѣхъ сторонъ, взысканія сыплются одно за другимъ, а мы, можете себѣ представить, то-есть собственно Янекъ (такъ называютъ сотрудники редактора Пацлавскаго), сами же помогаемъ. Янекъ, увлекшись иногда чортъ знаетъ чѣмъ, помѣщаетъ статьи въ такой формѣ, что любой болванъ сумѣетъ сдѣлать изъ нея орудіе въ свою пользу. Горжицкаго выкурили, потому что онъ началъ играть въ космополитическую дудку, а первый попавшійся оселъ

изъ Собачьей Вульки кропаетъ корреспонденціи въ такомъ духѣ, что ни одинъ изъ насъ не согласился бы съ нею, и все-таки она благополучно проходитъ. И только чрезъ недосмотръ. Хлещутъ какого-нибудь дурака, а «Ruch» рубцы получаетъ... Въ карманѣ, естественное дѣло, пустота». Когда собесѣдникъ пробуетъ выразить сожалѣніе, что дѣла идутъ такъ плохо, Вѣрушъ энергически протестуетъ. Вовсе не плохо! Есть много вѣры, не чувствуется запаха рубля. «Подумайте только, вѣдь всѣ сотрудники—бѣдняки, сохнутъ съ голоду, почти гибнутъ и все-таки тащатъ этотъ «Ruch» на своихъ плечахъ. При этомъ возьмите во вниманіе еще и то, что все это — талантливѣйшіе въ Варшавѣ люди, каждое изданіе приняло бы ихъ съ распростертыми объятіями и вымазало бы имъ рты саломъ по уши. Очень легко говорить обществу непріятныя истины съ полной мошной и сытымъ брюхомъ.:. Но вы взгляните на нихъ и не дѣлайте вывода, что дѣла идутъ плохо, потому что рискуете сказать глупость». При этомъ Вѣрушъ фанатически преданъ той мысли, что «Ruch» оказываетъ громаднѣйшее вліяніе на общественную мысль, а когда ему возражаютъ, что болѣе чѣмъ ограниченное число подписчиковъ едва-ли позволяетъ мечтать о такой крупной роли изданія, Вѣрушъ замѣчаетъ: «сила наша не въ числѣ подписчиковъ, даже не въ числѣ прочитанныхъ кѣмъ-либо экземпляровъ «Ruch»'а. Развѣ вы не видите, какъ наши принципы съ каждымъ годомъ все болѣе втискиваются въ столбцы прессы, какъ эта бестія проникается духомъ демократизма. Вы думаете, быть можетъ, что это происходитъ благодаря вліянію печатаемыхъ вами филиппикъ? Глупости!.. «Ruch» очень много сдѣлалъ, но совершенно другимъ способомъ... Мы все время выкапывали и теперь выкапываемъ новыя силы, «Ruch» никогда не прибѣгалъ къ помощи существующихъ газетныхъ силъ, потому что самая честная изъ этихъ силъ уже развращена, не можетъ имѣть той независимости и искренности въ провозглашеніи своихъ мнѣній, которыя при нашихъ условіяхъ необходимы... Вотъ мы и разыскиваемъ новыя силы и такая сила у насъ работаетъ... Работаетъ годъ, работаетъ другой, а потомъ эту силу начи-

наетъ донимать грѣшная плоть, которой хочется къ хлѣбу маслица, а къ мясу—лакомства. Этого у насъ трудно найти. Маслица Млечко не признаетъ... Тогда эта сила тихонько тащится въ другую редакцію... Но — во-первыхъ: она стыдится своего отступничества и то и дѣло оглядываевся на насъ; во вторыхъ: рыбка попалась на крючокъ, нѣсколько лѣтъ работы въ «Ruch»'ѣ оставили въ мозгу такого субъекта неизгладимые слѣды, которые дѣлаютъ изъ него піонера нашихъ мыслей»...

Все это очень пріятно слышать. Не можетъ быть спора, что беллетристъ описываетъ вещи, въ Варшавѣ всѣмъ хорошо знакомыя. Остается констатировать, что это бодрое молодое теченіе дѣйствительно начинаетъ просачиваться въ польскую прессу и понемногу начинаетъ оздоровлять ее. Чего же лучше, если это оздоровленіе совершается на почвѣ демократическихъ началъ, о которыхъ въ Польшѣ такъ долго не было ни слуху, ни духу?

Не менѣе интересно и пріятно отмѣтить, что люди, несущіе на своихъ плечахъ «Ruch», вышли изъ среды старой шляхты. Шляхтичъ въ роли проповѣдника демократическихъ принциповъ—явленіе въ высшей степени рѣдкое, а когда оно пріобрѣтаетъ массовый характеръ, то становится даже знаменательнымъ. Такъ думаемъ не только мы, но того же мнѣнія держится и графъ Илличъ, шляхтичъ стараго закала, котораго судьба случайно столкнула съ кружкомъ молодежи изъ «Ruch»'а. Это вообще одна изъ лучшихъ фигуръ повѣсти по законченности и цѣльности своей. Илличъ вѣрилъ въ мощность славянской расы и геніальность польской шляхты и часто любилъ говорить, что изъ кислаго сока дѣлается сладкое винцо. Онъ вѣчно брюзжалъ, вѣрилъ въ себя и въ людей. Никогда никому не позволилъ себя обмануть, потому что вмѣстѣ съ вѣрой у него соединялась удивительная осторожность и зоркость, почти подозрительность. Въ то время, когда иные разорялись, онъ ухитрился еще увеличить свое состояніе.

Вотъ этого-то Иллича не совсѣмъ пріятное дѣло привело въ редакцію «Ruch»'а: ему предстояло вызвать на дуэль одного изъ сотрудниковъ за оскорбленіе своего родственника. Изъ

послѣдующихъ объясненій Илличъ съ нескрываемымъ удивленіемъ узнаетъ, что въ числѣ присутствующихъ сотрудниковъ есть не мало представителей знакомыхъ ему старыхъ шляхетскихъ фамилій. При прощаніи онъ со свойственнымъ ему прямодушіемъ высказываетъ вслухъ свое удивленіе, что въ редакціи, ведущей противъ шляхты довольно острую борьбу, такъ много есть шляхетскаго элемента, и заканчиваетъ рѣчь слѣдующимъ образомъ:

— «Это, сударь мой, удивительно и знаменательно. Вашей газеты, правду сказать, я совсѣмъ не знаю, но вполнѣ увѣренъ, что она, сударь мой, въ своемъ родѣ выдающаяся вещь. Шляхтичъ польскій, сударь мой, это такой дьяволъ, что если онъ за что нибудь возьмется съ сердцемъ и душой, то всѣхъ, сударь мой, превзойдетъ въ этомъ. Это, сударь мой, чрезвычайно геніальная раса, эта самая польская шляхта. Она, сударь мой, все можетъ сдѣлать, если захочетъ, все»...

Душой редакціоннаго кружка является Вѣрушъ, — тотъ самый, который такъ своеобразно оцѣниваетъ общественную роль своего дѣтища. Оказывается, что въ существѣ дѣла онъ довольно справедливо признаетъ за «Ruch»'омъ морально-воспитательное значеніе для начинающихъ авторовъ. Онъ забылъ только сказать, что источникомъ этихъ согрѣвающихъ и просвѣщающихъ лучей является онъ самъ. Это мы узнаемъ изъ одушевленнаго разсказа одного изъ дѣйствующихъ лицъ, обязаннаго Вѣрушу своимъ развитіемъ, даже всѣмъ складомъ своей личности.—Старая это исторія—говоритъ этотъ господинъ Дашевскому, — работа Вѣруша... Вѣрушъ!... Отдаете ли вы себѣ отчетъ, сколько въ каждомъ изъ васъ есть этой работы Вѣруша, его мыслей, брошенныхъ когда-то на самое дно вашего самосознанія? Могучій умъ, святая, кристально чистая душа, сердце, настроенное въ столь высокомъ тонѣ, что никто изъ насъ не въ состояніи оцѣнить его!... Старая это исторія!.... Не разъ цѣлыми часами я лежалъ на его грязной постели, а онъ шагалъ на пространствѣ нѣсколькихъ квадратныхъ саженей своей конурки и говорилъ... Онъ говорилъ, а я лежалъ и испытывалъ какое-то высшее блаженство. Старые горизонты летѣли

къ чорту, предъ очами рисовались новыя перспективы, раскрывался чудный свѣтъ, я просто захлебывался въ этой небывалой свѣжести воздуха, который этотъ человѣкъ вдивалъ мнѣ въ грудь... И онъ такъ же говорилъ съ каждымъ, онъ не признаетъ столь ограниченной интеллигентности, съ которой онъ считалъ бы несообразнымъ подѣлиться содержаніемъ своей души»...

Только-что переданный монологъ очень близко напоминаетъ разсказъ Лежнева о Покорскомъ въ «Рудинѣ». Конечно, содержаніе этихъ бесѣдъ, должно быть, значительно измѣнилось (гегельянцевъ теперь и сыскать трудно), но результатъ ихъ, очевидно, одинъ и тотъ же, и Вѣрушу принадлежитъ та же миссія зажигать священный огонь въ груди молодежи, что и Покорскому.

И по характеру они близко подходятъ другъ къ другу. Вѣруша г. Пашковскій рисуетъ идеалистомъ чистѣйшей воды. «Этотъ критикъ, психологъ, поэтъ, одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ современныхъ умовъ ютился гдѣ-то на вышкѣ безъ всякой надежды, чтобы средства когда-нибудь позволили ему поселиться хотя этажемъ ниже и надѣть незаплатанный сюртукъ». Работа въ «Ruch'»ѣ, какъ мы знаемъ, не давала маслица къ хлѣбу, и Вѣрушъ отдавался ей съ увлеченіемъ совершенно бызкорыстнымъ, поддерживая свое скудное существованіе переводами.

Въ нѣсколько другомъ вкусѣ, но такую же свѣтлую фигуру представляетъ собой докторъ Прондковскій, связанный тѣсно съ тѣмъ же кружкомъ. Онъ почти ничего не говоритъ, но много дѣлаетъ, съ утра до вечера заглядывая въ тѣ дыры, гдѣ обитаетъ страшная нищета. Пріятели начинаютъ опасаться, что этакъ онъ скоро уходитъ себя, и просятъ Дашовскаго взять его съ собой въ деревню отдохнуть, при чемъ одинъ изъ нихъ характеризуетъ этого столь рѣдкаго по нынѣшнимъ временамъ эскулапа слѣдующимъ образомъ:

«Это совершенно исключительный человѣкъ. Языкомъ не мелетъ, а свою линію ведетъ и какъ ведетъ! Онъ, можетъ быть, одинъ только вноситъ настоящую жизнь въ наши благотворительныя учрежденія. Черезъ его посредство хотя нѣ-

которая частица щедротъ нашей псевдо-филантропіи достигаетъ до дѣйствительной бѣдноты. Лѣчитъ, даетъ совѣты, спасаетъ, вылавливаетъ такіе экземпляры городской нищеты, о которой нашъ раздушенный благотворительный спортъ не читывалъ даже въ повѣстяхъ. Жаль, если такой человѣкъ преждевременно надорветъ свои силы»...

Прондковскій — не единственный представитель кружка, отдающій свои силы непосредственно общественной дѣятельности. Такую же готовность проявляютъ еще трое, замышляющіе ѣхать въ Бразилію для оказанія всякой помощи польской крестьянской эмиграціи. Эта поѣздка служитъ предметомъ постоянныхъ дебатовъ, выясняющихъ кое-какія подробности аграрныхъ отношеній въ современной Польшѣ. Наибольшимъ авторитетомъ въ этихъ спорахъ пользуется голосъ Бржозовскаго, который думалъ быть врачомъ, но потомъ бросилъ медицину, жилъ уроками и составлялъ популярныя книжки для народа. Происходя изъ народа, отлично зная сельскій бытъ, Бржозовскій смотрѣлъ на вещи прямо и совершенно не раздѣлялъ идеализма Вѣруша.

Когда Дашовскій замѣчаетъ, что затѣваемая поѣздка въ Бразилію не раціональна, такъ какъ и на родинѣ рукъ мало, и что лучше было бы приложить усилія у себя, чтобы облегчить положеніе деревни, Бржозовскій машетъ рукой. Онъ не согласенъ, чтобы можно было что-нибудь сдѣлать для облегченія деревни именно въ настоящее время, когда землевладѣльцы начинаютъ превращаться въ сельско-хозяйственныхъ промышленниковъ и когда отношеніе ихъ къ крестьянамъ все болѣе приближается къ типу отношеній фабриканта къ рабочей силѣ. Впослѣдствіи, конечно, все это исправится и войдетъ въ желательную колею, но это будетъ не скоро и будетъ сдѣлано руками уже послѣдующихъ поколѣній. Теперь же онъ, Бржозовскій не намѣренъ сидѣть сложа руки и ждать у моря погоды; онъ хочетъ попробовать, не удастся ли помочь хоть тѣмъ несчастнымъ голышамъ, которые переплываютъ за океанъ и тамъ гибнутъ. Ихъ тысячи, это дѣло принимаетъ широкія рамки. Интересно отмѣтить, что Бржозовскій смотритъ на шляхту нѣсколько иначе, чѣмъ графъ

Илличъ. Онъ держится мнѣнія, что шляхта не въ силахъ облегчить положеніе деревни, хотя бы и хотѣла этого. «Вѣдь вотъ вы изъ той же касты—обращается онъ къ Дашовскому—и при томъ же не изъ худшихъ. Что же вы, спрошу васъ, успѣли сдѣлать? Ничего... И ничего не сдѣлаете, ничего не въ состояніи будете сдѣлать, потому что очень ужъ заманчиво пахнетъ для васъ прошлое, такъ называемое доброе старое время,—потому что очень много въ васъ есть кастоваго эгоизма и лѣни»...

Справедливость требуетъ сказать, что пессимизмъ Бржозовскаго не вполнѣ основателенъ, а въ частности по отношенію къ Дашовскому Бржозовскій оказался лжепророкомъ. Если вѣрить беллетристу, Дашовскій принадлежитъ къ числу тѣхъ «хорошихъ уродовъ», какъ говорила гончаровская бабушка, въ душѣ которыхъ отсутствуетъ эгоизмъ. Пріѣхавши въ свое родовое помѣстье, онъ попросилъ своего управляющаго, взятаго по рекомендаціи хорошо знакомаго намъ Вѣруша, дать полный и безпристрастный отчетъ, какъ обстоятъ дѣла въ крестьянскомъ мірѣ. Управляющій нарисовалъ ужасающую картину, которая производитъ тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что онъ все время говоритъ дѣловымъ, сухимъ тономъ.

— Вы хотите знать правду? — начинаетъ управляющій. Плохо... Многолюдство, нужда, невѣжество, а вмѣстѣ съ этимъ — кулачество, пьянство, деморализація, преступность, въ области которой первое мѣсто занимаетъ повсемѣстное воровство. Населеніе увеличилось, а земли не прибавилось. На хозяйскомъ грунтѣ, гдѣ въ эпоху освобожденія крестьянъ стояла одна хата, тамъ теперь стоитъ три хаты. Тѣснота, грязь, ссоры, а такъ какъ въ ближайшемъ мѣстечкѣ обыкновенно свилъ себѣ гнѣздо подпольный адвокатъ-жидокъ, то процессы идутъ непрерывно, и на нихъ это голодное и глупое стадо окончательно разоряется... Вы понятія не имѣете о томъ безотрадномъ невѣжествѣ, которое окончательно давитъ этихъ бѣдняковъ... Вчера я повстрѣчался на вокзалѣ съ возвращающимся изъ судебной палаты Семеномъ Грабаремъ; онъ проигралъ процессъ, котораго и не могъ выиграть ни-

коимъ образомъ, задолжалъ по-уши, а забастовать и не думаетъ... Поддразниваемый Гольдфарбомъ изъ Бубнова, онъ твердитъ, что за сенатомъ еще «святѣйшій синодъ», а въ слѣдующей инстанціи — апелляція «къ тремъ королямъ»... Вы представляете себѣ, что это значитъ?.. Тройственный союзъ является источникомъ доходовъ для Гольдфарбовъ изъ Бубнова!.. Грабарь за кусокъ земли готовъ жену свою продать, а Гольдфарбъ за пару рублей смастеритъ ему просьбу о чужой землѣ къ тройственному союзу средней Европы... Все это крайне печально... Въ хатѣ тѣснота, грязь, ѣдятъ плохо; семейныя отношенія мерзки, деморализація возрастаетъ съ каждымъ днемъ... А народъ хорошій, сердечный, въ основѣ даже благородный... Плохо, милостивый государь, невозможно глупо и, если хотите, грустно... Смотря, кто какъ на это смотритъ... Говорить о патріархальномъ родовомъ началѣ въ крестьянствѣ—абсурдъ! Это совершенно похоже на то, какъ если бы бонна, на глазахъ у которой дерутся дѣти, сидѣла бы себѣ спокойно и утѣшалась: какъ я добра, какъ я добросовѣстно выполняю обязанности; рубашки на дѣтяхъ чистыя, булокъ изъ ихъ кармановъ я не забираю... Это глупое сравненіе, но вы меня понимаете. Плохо дѣло, отвратительно плохо»!..

Выслушавъ этотъ разсказъ и освѣдомившись о цифрѣ чистаго дохода, приносимаго имѣніемъ, Дашовскій даетъ распоряженіе, чтобы изъ пяти тысячъ Мястовскій (управляющій) высылалъ ему полторы, а остальными распоряжался по усмотрѣнію для улучшенія быта крестьянъ. Становится очень досадно, когда подумаешь, что о такихъ распоряженіяхъ приходится читать только въ романахъ, а въ жизни подобныхъ примѣровъ что-то не слыхать. Беллетристъ, впрочемъ, говоритъ обо всемъ этомъ очень увѣренно и въ концѣ повѣсти приводитъ даже письмо Мястовскаго къ своему патрону съ отчетомъ, откуда узнаемъ, что ему покамѣстъ удалось добиться выселенія подпольнаго адвоката Гольдфарба изъ Бубнова. Что жъ, и это недурно. Даже и то хорошо, что теперешніе шляхтичи оставляютъ въ своихъ имѣніяхъ управляющими Мястовскихъ, у которыхъ есть кусочекъ че-

ловѣческаго сердца. Деревнѣ будетъ легче жить съ такими людьми.

Предстоящій отъѣздъ въ Бразилію трехъ лицъ изъ кружка «Ruch'a» даетъ поводъ автору ввести читателя ближе въ кругъ отношеній, существующихъ между членами этой литературной семьи. Хотя это временная разлука, но друзья побаиваются, чтобы кружокъ не распался при столь значительной убыли, и стараются тѣснѣе сплотить остающихся. Мы узнаемъ это изъ бесѣды Олецкаго съ Бялекомъ. Бялекъ—художникъ, отправляющійся въ Бразилію, даетъ рядъ наставленій своему ближайшему другу, вмѣстѣ съ которымъ онъ жилъ въ послѣднее время у Дашовскаго. Олецкій — начинающій драматургъ, пьеса котораго только что нашумѣла, милѣйшій и безпутнѣйшій человѣкъ. Друзья дразнятъ его Гауптманомъ. У Дашовскаго онъ поселился по той простой причинѣ, что ему отказали на прежней квартирѣ за неплатежъ денегъ. Сцена начинается тѣмъ, что Олецкій, въ виду приближающагося отъѣзда друга, тоже собирается переселяться и укладываетъ въ сундучокъ свои немногочисленные пожитки.

«Олецкій старается увѣрить себя, что онъ—свинья, такъ какъ уже второй мѣсяцъ пользуется чужимъ помѣщеніемъ, и потому постановилъ еще сегодня съѣхать; въ существѣ дѣла, однако, источникомъ собачьяго настроенія является приближающійся отъѣздъ Бялка въ Америку, такъ какъ Олецкій любитъ Бялка, хотя не хочетъ признаться въ этомъ, и потому старается сорвать злость на какой-нибудь посторонней причинѣ».

Бялекъ у окна заканчиваетъ какую-то картину.

Долгое время господствуетъ молчаніе, а когда Бялекъ съ Олецкимъ находятся вмѣстѣ и молчатъ, то такая тишина предвѣщаетъ обыкновенно бурю.

— Гауптманъ!—отзывается, наконецъ, Бялекъ.

— Обезьяна!—отвѣчаетъ Олецкій.

И снова молчаніе.

— Къ чему это ты свое богатство разшвырялъ по всему полу?—спрашиваетъ Бялекъ.

— Я съѣзжаю.

— Кто это вбилъ тебѣ въ башку? Пустяки говоришь, почтеннѣйшій...

— Вбилъ или не вбилъ, а я съѣзжаю. Довольно ужъ съ меня, песъ его возьми!

— Не съѣдешь, покамѣстъ я не уѣду.

— А вотъ нарочно сегодня же переѣду на Іерусалимскую, гдѣ Кроняжъ нашелъ мнѣ отличную канурку.

Бялекъ пожимаетъ плечами и равнодушно растираетъ краски, а потомъ, закуривши папироску, отходитъ отъ картины и начинаетъ ее разсматривать.

— Гауптманъ!—отзывается снова.

— Оставь, Бялекъ!

— Рада бы душа въ рай, да лѣнь на землѣ держитъ!—усмѣхается Бялекъ.

— Перестань!—повторяетъ Олецкій.

— Не перестану. Если я говорю тебѣ—Гауптманъ, это значитъ, что тебѣ предстоитъ быть Гауптманомъ, и что ты былъ бы имъ, еслибъ не шельмовская лѣность, которая обѣими лапами держитъ тебя за чубъ.

— Не хочу вовсе быть Гауптманомъ, потому что не могу имъ быть,—угрюмымъ голосомъ защищался Олецкій.

— Молчи и слушай. Я уѣзжаю.

— Ну, и поѣзжай къ бѣсу!

— Уѣзжаю не менѣе какъ на годъ...

— Хоть бы и на триста лѣтъ...

— Глупый! Береги Огія. Поселись вмѣстѣ съ нимъ и береги, чтобы парень не свихнулся.

— Да зачѣмъ же мнѣ беречь Огія, когда онъ уѣзжаетъ въ провинцію? Тоже сказалъ...

— Ему не слѣдуетъ уѣзжать, — продолжаетъ Бялекъ. Не для того мы десять лѣтъ жались въ кучку, чтобы теперь, когда достигаемъ плодовъ, нашъ умъ и совѣсть летѣли къ нечистому. Огію еще раненько уѣзжать. Если выбросить молодого щенка преждевременно на улицу, онъ непремѣнно опаршивѣетъ. У Огія нѣтъ еще соотвѣтственной силы. Понимаешь?

— Все равно и здѣсь опаршивѣетъ,—говоритъ Олецкій. Съ бабами возится, и онѣ его заѣдятъ...

— Береги его!—продолжаетъ рисовать Бялекъ.

— Ничего не подѣлаешь. У Огія-шельмы есть еще душокъ невинности, а бабы любятъ это, смакуютъ съ наслажденіемъ. И чѣмъ больше испорчена баба, тѣмъ съ большимъ наслажденіемъ она смакуетъ это. Такой человѣкъ покою ей не даетъ. А ты вѣдь самъ по опыту знаешь, что бальзаковскія дамы наиболѣе опасны для такихъ поросенковъ, какъ Огій. Страхъ, сколько вреда онѣ намъ приносятъ,— сокрушенно вздыхаетъ Олецкій.

— Поселись вмѣстѣ съ нимъ и береги его,—повторяетъ Бялекъ.

Олецкій минуту смотритъ на Бялека, потомъ быстро соскакиваетъ съ дивана, толкаетъ ногой сундучокъ и обозленнымъ голосомъ говоритъ:

— Шарлатанъ и лжецъ!

— Мебели не надо портить,—спокойно замѣчаетъ Бялекъ.

Олецкій весь красный грозно морщитъ брови.

— И къ чему это ты, Бялекъ, плетешь басню объ Огіѣ, когда ты въ немъ вполнѣ увѣренъ? Ты думаешь — Огій талантливъ, Огій разсудителенъ, Огій трудолюбивый парень, только къ женскому полу слабость имѣетъ... Если Олецкій поселится съ Огіемъ и будетъ остерегать его отъ женщинъ, то Огій, въ свою очередь, будетъ заохочивать его къ работѣ, будетъ воздѣйствовать на него примѣромъ и такъ далѣе... Просто, одна подлость, какъ этотъ Бялекъ лжетъ!

— Ты поселишься съ Огіемъ, — продолжаетъ тѣмъ же спокойнымъ тономъ Бялекъ.

— Никогда!

— А я тебѣ говорю, ты поселишься съ нимъ, потому что ты любишь Огія, Огій любитъ тебя, вы оба съ Огіемъ любите меня, а всѣ мы, сколько насъ есть въ кучкѣ, любимъ... Вѣдь ты знаешь, что мы любимъ!.. Satis...

Кружку «Ruch»'а угрожаетъ опасность еще и съ другой стороны. Группа богачей купила львовское изданіе «Swit»

и закидываетъ сѣти, желая переманить къ себѣ талантливую молодежь изъ «Ruch»'а. Мотивы выставляются самые благовидные. «Вы посмотрите, что у насъ дѣлается, — говоритъ одинъ изъ этихъ богачей. Вѣрушъ вѣчно терпитъ голодъ и не можетъ ничего создать, потому что его ростовщики душатъ, Олецкій могъ бы писать прекрасныя драмы, а вмѣсто того теперь кропаетъ жалкую газетную стряпню, младшій Блоцкій — безспорный талантъ, а вотъ увидите, что наши «Figaro» поглотятъ его безъ остатка, потому что парень, вмѣсто того, чтобы работать надъ собой, принужденъ работать на себя, средствъ нѣтъ, чтобы выбиться, и онъ погибнетъ, если не придутъ къ нему на помощь».

Задачи этого новаго изданія вырисовываются съ большею опредѣленностью, чѣмъ мы видѣли относительно «Ruch»'а. Графъ Лятальскій — одинъ изъ собственниковъ «Swit»'а — говоритъ такъ: «Я вашего всеобщаго равенства не боюсь, да и правнуки мои не будутъ имѣть нужды бояться; съ другой, однако, стороны свѣтъ на одномъ мѣстѣ не стоитъ, мы до сихъ поръ дремали, когда все шло впередъ. Это — фактъ, и я считаю его для насъ, для аристократіи, вреднымъ... У насъ есть выработанный вѣками опытъ, дипломатическая проницательность, чувство мѣры, элементъ холодной разсудительности, которой всегда не хватаетъ толпѣ... По моему мнѣнію, мы не имѣемъ права держать мертвымъ такой капиталъ; вмѣсто того, чтобы стонать и жаловаться, намъ слѣдуетъ захватить возжи въ свои руки, тѣмъ болѣе, что у насъ есть и матеріальныя средства и вліяніе довольно значительное. Всѣмъ этимъ нужно воспользоваться и снова занять соотвѣтствующее нашимъ традиціямъ положеніе». Другой собственникъ поетъ еще лучше: «Мы хочемъ привлечь къ работѣ такія сферы, которыя имѣютъ въ рукахъ могущественное оружіе — матеріальныя средства, употребляемыя теперь въ высшей степени непроизводительно. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы желаемъ создать такой органъ, который давалъ бы возможность настоящимъ талантамъ развиваться, независимо отъ газетной телѣжки, которая ихъ гнететъ теперь и извращаетъ».

Беллетристъ опускаетъ занавѣсъ раньше, чѣмъ «Swit» народился, и что выйдетъ изъ этого изданія—покамѣстъ не извѣстно.

Подмѣченныя авторомъ Podniebie признаки поворота польской общественной жизни заслуживаютъ полнаго вниманія. Есть намеки на то, что въ польской націи открывается родникъ демократическаго настроенія, интеллигенція начинаетъ обращать взоры на народъ, которому живется такъ плохо. Даже аристократія начинаетъ пробуждаться, сбрасывать свою величавую неподвижность, хочетъ смѣшаться съ толпой. «Въ душу ихъ закрадывается какая-то тревога; это совѣсть начинаетъ въ нихъ просыпаться»—такъ характеризуетъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ это настроеніе аристократіи. Конечно, на ея сторонѣ сила денегъ и могущество власти, и если она пожелаетъ принять участіе въ созидательной общественной работѣ, то это участіе можетъ быть и плодотворнымъ, и значительнымъ. Но не ей будетъ принадлежать главнѣйшая заслуга, если когда-нибудь настанетъ полное обновленіе началъ, характеризующихъ польскую общественность. Первый толчокъ данъ не изъ пышныхъ палаццо, а изъ бѣдныхъ чердачковъ, гдѣ ютятся Вѣруши и Прондковскіе. Даже систематическій голодъ не заглушаетъ въ нихъ живой любви къ страдающему брату. Авторъ устами Дашовскаго признаетъ, что «этотъ кружокъ молодыхъ работниковъ во всякомъ случаѣ успѣлъ уже достигнуть весьма важныхъ результатовъ и что горсть этихъ силъ, производительно работающихъ на общественномъ поприщѣ, все болѣе разростается и тихо, безъ кричащей рекламы, распространяетъ свои мнѣнія и принципы въ средѣ общества». Къ сожалѣнію, мы не можемъ раздѣлять такого оптимизма: если вспомнить, какъ крѣпко проникнула старая шляхетская закваска во всѣ поры польскаго общественнаго организма, то слѣдуетъ признать, что этой горсти предстоитъ еще очень долгій и тернистый путь, пока удастся достигнуть настоящихъ результатовъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ [1]).

[1]) *Статьи и замѣтки, вошедшія въ настоящую книгу, напечатаны были первоначально въ „Новомъ Журналѣ Иностранной Литературы“ за 1898—1903 г.*

Изданія Товарищества «Литература и Наука».

(Спб., 2 рота, д. 2).

В. Ѳ. Боцяновскій. Максимъ Горькій. Критико-біографическій этюдъ. Съ портретомъ и факсимиле М. Горькаго. Изд. 2-е, переработан. Спб., 1903, ц. 60 к.

Его же. Леонидъ Андреевъ. Критико-біографическій этюдъ. Съ портретомъ и факсимиле Л. Андреева. Спб., 1903, ц. 40 к.

А. Е. Воскресенскій. Общинное землевладѣніе и крестьянское малоземелье. Спб., 1903, ц. 1 р. 25 к.

Авторъ — убѣжденный противникъ крестьянской общины. Какъ человѣкъ, близко знакомый съ крестьянствомъ и собравшій много самостоятельнаго матеріала объ общинномъ землепользованіи, онъ освѣщаетъ вопросъ со сторонъ, мало затрагивавшихся въ нашей литературѣ. Его книгу нельзя обойти при обсужденіи нынѣ столь жгучаго вопроса объ общинѣ.

А. М. Ловягинъ. О преподаваніи географіи. Спб., 1903, ц. 40 к.

Его же. Очерки отечествовѣдѣнія и сравнительной географіи. Спб., 1903, ц. 80 к.

Н. И. Коробка. Личность и общество въ русской литературѣ начала XIX в. Спб., 1903, ц. 60 к.

С. А. Адріановъ. „На днѣ“ М. Горькаго. Критическій набросокъ. Спб., 1903, ц. 20 к.

М. С. Боцяновская. Библіотека указателей. Вып. I. Указатель къ „Дневнику“ проф. А. В. Никитенки и „Воспоминаніямъ“ И. Панаева. Спб. 1903. ц. 50 к.

Печатается:

Бороздинъ, А. К. проф. Очерки русскаго религіознаго разномыслія.

имѣются на складѣ всѣ изданія

РУССКАГО БИБЛІОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

Литературный Вѣстникъ.

ИЗДАНІЕ

РУССКАГО БИБЛІОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

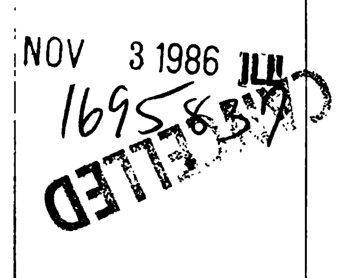
Цѣна за полный годовой комплектъ (8) книжекъ—5 р., ц. отдѣльной книжки— 1р.

ПОЛЬСКІЯ КНИГИ.

Въ магазинѣ «Литература и Наука» (Спб. 2 р., д. 2) можно пріобрѣтать книги на польскомъ языкѣ, издаваемыя въ Варшавѣ, Краковѣ и др. городахъ. На складѣ имѣется всѣ изданія Яна Фишера въ Варшавѣ.

Въ провинцію книги высылаются съ наложеннымъ платежомъ.

Типо-Литографія А. Э. Винеке, Екатерингофскій проспектъ, 15.


NOV 3 1986